

# ДЕНЬ ПОЭЗИИ

1969

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1969



# **ДЕНЬ ПОЭЗИИ**

**1969**

**Издательство  
Советский  
Писатель  
Москва  
1969**

**Редакционная  
коллегия:**

**Владимир Соколов —  
главный редактор;**

**Евгений Винокуров,  
Олег Дмитриев,  
Семен Кирсанов,  
Станислав Куняев,  
Анатолий Софронов,  
Булат Окуджава,  
Владимир Цыбин;**

**Вадим Кожин,  
Валентин Португалов,  
Евгений Храмов,  
Игорь Шкляревский —  
составители.**

**ДЕНЬ ПОЭЗИИ**

**1969**

**1**



## **Николай Тихонов**

### **Герберт Уэллс в России**

Уэллс сидел, смущение осилив,  
Мудрец, посоя от Запада всего,—  
Глаза прищурил перед ним, Россия  
Заговорила, выслушав его.

Тьма за окном грознее все и гуще,  
А собеседник говорил о том,  
Как жизнь народа расцветет в грядущем,  
Наполненная светом и теплом.

Как будто бы страны он слушал душу,  
Уэллс запомнит этот день и час,  
Как будто бы впервые в мире слушал  
Прекрасный утопический рассказ.

Но вспомнил грязь, детей голодных руки,  
Всех бедствий за углом девятым вал,—  
Там холод, смерть искусства и науки,  
Безграмотные нищие, развал...

— Как справитесь вы с вашим отставаньем,  
Во мгле слепой, никак я не пойму...—  
Российским фантастическим мечтаньем  
Весь разговор представился ему.

Простился, шел, пожав плечами, к двери,  
Иронии во взгляде не тая,  
И мозг фантаста отказался верить  
Простому реализму бытия.

...Он снова в мире, где тепло и чисто,  
Где и шутя не могут намекнуть,  
Что именно в России этой мгlistой  
Нашли рычаг — жизнь мира повернуть.

Что именно в России — так уж вышло,  
Превыше всех больших и малых правд,  
Что именно отсюда к звездам вышним  
Взлетит победно первый космонавт.

## Говорят ленинградцы



Чего бы нам пророки ни вещали,  
Но, перед кем мы ни были в долгу,  
Исполнили, как деды завещали,—  
Мы Ленинград не отдали врагу!

Легенды снова сделали мы былью,  
А враг наш был смертелен, но не нов,  
Мы первые его остановили  
В Европе, потрясенной до основ.

Лишь четверть века мирно миновало,  
А кажется, уже прошли века,  
И Ленин так же, как тогда — сначала,—  
Нам с башни говорит броневика.

Гремят салюты и веселий струны,  
Лежат снега светлее серебра,  
А белой ночью комсомолец юный  
О подвигах мечтает до утра..

Лес хорош, прохладен, светел,  
Засвечаются сосен свечи,  
По верхушкам ходит ветер,  
Лес трепещет птичьей речью,  
Весь наполнен свежим, новым,  
Звонким, пряным и густым  
Стиховым зеленым словом.  
Над костром веселый дым,—  
Точно в бездну тысячелетий  
Небу шлют земли сыны  
Жертву, первую на свете,—  
И в воде отражены  
И костер, и лес, и дети,  
Словно изображены  
Первым мастером весны,  
Что на все сейчас ответил.



Какое уже на войне любованье?  
Великая тяжесть труда,  
Дорог и сражений чередованье,  
Могилы, из жести звезда.

Но мы понимали того генерала,  
Что крикнул в смертельном аду,  
Увидев в атаке народ свой бывалый:  
— Смотри, молодцами идут!

## Степан Щипачев

### Ноябрьский дождь

Дождь идет, деревья моет,  
Крыши моет в ноябре.  
Приближается Седьмое,  
Красный день в календаре.

Дождь идет, брусчатку моет.  
Осень свой берет размах.  
Приближается Седьмое.  
Мокнут флаги на домах.

Приближается Седьмое.  
Дождь омыл и чей-то стих,  
Как когда-нибудь омоет  
Шар земной от слез людских.

### Да здравствует жизнь!

О старости я много строк написал  
и много о смерти, но хватит, хватит!  
«Да здравствует жизнь!» — я сегодня сказал  
соседу по койке в палате.

Да здравствует жизнь! До последних дней  
ее, лишь ее прославлять мне отныне,  
и строчка последняя будет с ней,  
если и оборвется на половине.

## **Ярослав Смеляков**

### **Портрет В. И. Ленина**

На свете снимка лучше нету,  
чем тот, что вечером и днем  
и от заката до рассвета  
стоит на столике моем.

Отобразен на снимке этом,  
как бы случайно, второпях,  
Ильич с сегодняшней газетой  
в своих отчетливых руках.

Мне, сыну нынешней России,  
дороже славы проходной  
те две чернильницы большие  
и календарь перекидной.

Мы рано без того остались  
(хоть не в сиротстве, не одни),  
кем мира целого листались  
и перекладывались дни.

Всю сложность судеб человеческих  
он сам зимой, в январский час,  
переложил на наши плечи,  
на души каждого из нас.

Ведь все же будет вся планета  
кружиться вместе и одна  
в блистанье утреннего света,  
идушем, как на снимке этом,  
из заснеженного окна.

### **Мой учитель**

Был учитель высоким и тонким,  
с ястребиной сухой головой,  
жил один, как король, в комнатенке  
на втором этаже под Москвой.

Никаким педантизмом не связан,  
беззаветный его ученик,  
я ему и народу обязан  
тем, что все-таки знаю язык.

К пониманью еще не готовый,  
слушал я, как открытье само,  
слово Пимена и Годунова  
и смятенной Татьяны письмо.

Под цветением школьных акаций,  
как в подсушок, я брал сгоряча

динамитный язык прокламаций,  
непреложную речь Ильича.

Он вошел в мои книжки неплохо.  
Он шумит посильней, чем ковыль,  
тот, что ты создавала, эпоха,—  
большевистского времени стиль.

Лишь сейчас, сам уж вроде бы старый,  
я узнал из архивов страны,  
что учитель мой был комиссаром  
отгремевшей гражданской войны.

И ничуть не стесняюсь гордиться,  
что на карточке давней в Москве  
комиссарские вижу петлицы  
и звезду на прямом рукаве.



## **Баллада Волховстроя**

Сюда с мандатом из Москвы  
приехали без проездных  
в казенных кожанках волхвы  
или в шинельках фронтовых.

А в сундучках у них лежат  
пять топоров и пять лопат.

Тут без угара угоришь  
и всласть напаришься без дров.  
Пять топоров без топорищ  
и пять лопат без черенков.

Но в эти годы сущий клад  
пять топоров и пять лопат.

Так утверждался новый рай,  
а начинался он с того,  
что люди ставили сарай  
для инструмента своего.

И в нем работники хранят  
пять топоров и пять лопат.

Когда Ильич в больших снегах  
ушел туда, где света нет,  
и свет померк в его очах,—  
отсюда хлынул общий свет.

Я слышу, как они стучат,—  
пять топоров и пять лопат.

## **Павел Железнов**

### **Наш молот**

*Памяти Ф. Шкулёва*

Наверно, помнит каждый мой ровесник,  
как в дни разрухи деды и отцы  
шагали на субботник иль воскресник  
с железно-звонкой песней «Кузнецы».

Мы пронесли ее сквозь чад пожара,  
когда на запад с боем шли вперед,  
когда по всем полям земного шара  
редела мгла, слабел фашистский гнет.

Сегодня породнились в поднебесье —  
далекий серп, светящийся в ночи,  
и молот наш, вошедший в герб и в песни,  
кующий миру к счастью ключи!

## Людмила Татьяничева

### Самолет, похожий на Икара

Маленький,  
Отважный —  
В небе хмуром  
Он над Красной площадью  
Летел.  
На него с улыбчивым прищуром  
Ленин  
Завороженно глядел.  
Как ваятель  
В камне неприметном  
Открывает чудо красоты,

Ленин видел  
В самолете этом  
Реактивных лайнеров черты.  
Тех, что в клубах  
Пламени и пара  
Мчатся вдаль,  
Не ведая преград...  
Самолет,  
Похожий на Икара,  
Завершал торжественно  
Парад.

### Враги

Их укрывали  
Злоба и мгла.  
Они убивали  
Из-за угла.  
Огнем и железом  
Мучили нас.  
Из черных обрезов  
Целили в глаз.  
Бандитская шашка  
Свистела, как бич.  
Раненный тяжко,  
Упал Ильич.  
Дуло нагана,  
Выстрел в упор...  
Во мне эта рана  
Болит до сих пор.  
Годы минули,  
Но боль велика.  
Вошла эта пуля  
В нас  
На века.  
Хватило нам силы  
Отчизну сберечь.  
Врагов не щадил  
Карающий меч.  
Мы не забыли  
Шакальи шаги...  
Враги у нас были.  
Были враги!

## Андрей Алдан-Семенов



Бугрился зеленый песок,  
Клубился, как гейзер на дне.  
Печально шумел вересок...  
И ты обернулась ко мне.  
Веселые точки улыбок  
В глазах заплясали твоих.  
— Сейчас самородок найти бы,  
Один бы найти на двоих...

Молчала над речкою осыпь,  
Угрюмо вздыхал водоем,  
Звенел вересок на утесе,  
Да тетерев щелкал крылом.  
А вот он, землю исчервлен,

Водою изглоданный, спит.  
Он спит, в человеческий череп  
Рукой человеческой вбит.

И ты наклоняешься молча,  
Но в пальцах невольная дрожь,  
И желтое в пене молочной  
На край водоема кладешь.

Ни грусти в тебе и ни злобы,  
А рядом шумит вересок...  
Удар!

И летит желтолобый,  
Как мертвая жаба, в песок!



Надолго отбуянили метели,  
И все опять  
раскованно и чисто.  
Настоянный  
на запахе смолистом,  
Слоится воздух  
хрупкого апреля.  
Он душу будоражит.  
Он зовет  
В хрустящие чащобы краснотала,  
Там голосом  
из синего металла  
Мелодии  
вызванивает лед.  
Еще в ногах  
не убраны холсты  
Ночных снегов,  
и наст еще как бубен,  
И сок еще в березах безпробуден,  
Но в голове шумит от высоты,  
От воздуха,  
от запахов,  
от прутьев,  
И мир уже  
как будто  
покорен...  
А журавли роняют  
сладкий стон  
На сонные  
лесные перепутья.

## Мargarита Алигер



В мире, где живет глухой художник,  
дождик не шумит,

не лает пес.

Полон мир внезапностей тревожных,  
неожиданных немых угроз.

А вокруг слепого пианиста  
в яркий полдень не цветут цветы:  
мир звучит встревоженно и чисто  
из незримой плотной пустоты.

Лишь во сне глухому вдруг приснится  
шум дождя и звонкий лай собак.

А слепому — летняя криница,  
полдень,

одуванчик или мак.

...Все мне снится, снится сила духа,  
странный и раскованный талант.  
Кто же я, художник ли без слуха  
или же незрячий музыкант?



Ты обижен или недоволен?

Чем, однако?

На какой же срок?

Говорят, ты одинок и болен.

Очень болен. Страшно одинок.

Ты не шлешь записок из больницы.

Ты не просишь:

помни обо мне.

За полночь никто не постучится,

увидав огонь в моем окне.

Люди. Обязательства. Работа.

День за днём...

Но на закате дня

все же я дойду до поворота,—  
может быть, ты ждешь еще меня.

## Колыбельная

Спи! — ты во сне красивей.

Спи! — ты во сне добрее.

Спи! — ты во сне счастливей.

Спи! — ты во сне мудрее.

Спи! — ты во сне никого не обидишь

и не прибавишь себе года.

Спи! — ты, быть может, во сне увидишь  
то, чего наяву не увидишь уже никогда!

## Ласточки

Прелестной женщины усталая рука  
листает книгу в старом переплете,  
а взгляд следит, как ласточки в полете  
морских глубин касаются слегка.  
Она прелестна, но неловко ей,  
наверное,— под взглядами людей,  
собою, как машиною, владея,  
всю жизнь свою...

Ее любил злодей.

А что она?

Любила ли злодея?

Спроси ее, она смолчит в ответ.

Да так смолчит, что, право, мы не смеем  
и спрашивать.

Давно злодея нет.

Он побежден давно другим злодеем.

А женщина сучит все ту же нить

и все конца не может уловить...

Ах, боже мой!

Ах, до чего устала...

И все-таки во что бы то ни стало,

во что бы то ни стало жить и жить!

А если так, все средства хороши!

Жить значит жить,

и к черту мертвечину!

Любить!

Кого?!

Не все ль равно?!

Мужчину!

Пускай не по заслугам, не по чину.

Какими только силами души?

Откуда взять их?

Ах, да все равно!

Проходят годы.

Боль все глуше, глуше...

О чем же вы?

Все минуло давно.

Забвение врачует даже души.

Какие души?

Может, в том и суть,

что нет души в прелестной этой плоти?

И женщина, как ласточка в полете,  
морских глубин касается чуть-чуть.

# Белла Ахмадулина

## Заклинание

Не плачьте обо мне! Я проживу —  
счастливой нищей, доброй каторжанкой,  
озябшею на севере южанкой,  
чахоточной да злой петербуржанкой  
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —  
той хромоножкой, вышедшей на паперть,  
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,  
и этим, что малюет божью мать,  
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —  
той грамоте наученной девчонкой,  
которая в грядущести нечеткой  
мои стихи, моей рыжея челкой,  
как дура будет знать,— я проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —  
сестры помилосердней милосердной,  
в военной бесшабашности предсмертной,  
да под звездой моею и пресветлой —  
уж как-нибудь, а все ж я проживу!



*А. Н. Корсаковой*

Весной, весной, в ее начале,  
я опечалившись жила.  
Но там, во мгле моей печали,  
о, как я счастлива была,  
когда в моем доме любимом  
и меж любимыми людьми  
плыл в небеса опасным дымом  
избыток боли и любви.

Кем приходились мы друг другу,  
никто не знал, и все равно —  
нам, словно замкнутому кругу,  
терпеть единство суждено.

И ты, прекрасная собака,  
ты тоже здесь, твой долг высок  
в том братстве, где собрат собрата  
терзал и пестовал, как мог.

Но в этом трагедийном действе  
былых и будущих утрат  
свершался, словно сон о детстве,  
спасающий меня антракт,

когда к обеду накрывали,  
и жизнь моя была проста,  
и Александры Николавны  
являлись странность и краса.

Когда я на нее глядела,  
я думала: не зря, о нет,  
но для таинственного дела  
мы рождены на белый свет.

Не бесполезны наши муки,  
и выгоды не сосчитать —  
затем, что знают наши руки,  
как холст и краски сочетать.

Не зря обед, прервавший беды,  
готов и пахнет, и твердят  
все губы детские обеты  
и яства детские едят.

Не зря средь праздника иль казни,  
то огненны, то вдруг черны,  
несчастны мы или прекрасны  
и к этому обречены.

## Болезнь

О боль, ты — мудрость. Суть решений  
перед тобою так мелка,  
и осеняет темный гений  
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах  
был разум мой высок и скуп,  
но трав целебных поределых  
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,  
я, с точностью того зверька,  
принюхавшись, нашла свой выход  
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!  
О, всех простить, всем передать  
и нежную, как облученье,  
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!  
При вас лишь, в бедности моей,  
я плакала от смутной веры  
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!  
Пусть вы протянуты к тому,  
что лишь моей любви и муки  
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!  
Вы были мне укор и суд.  
Все мои горестные плачи  
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!  
Целую наспех все уста!  
Во мне, как в мертвом теле круга,  
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,  
как в белых дребезгах перин,  
и уж не тягостен мой локоть  
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.  
Жду одного: на склоне дня,  
охваченный болезнью схожей,  
пусть кто-нибудь простит меня.



Так дурно жить, как я вчера жила,  
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу  
и пошлости нетрезвая жара  
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах  
нести две влажных черноты в глазницах  
и пребывать не сведеньем в умах,  
а вожделенной притчей во языцах.

Довольствоваться роскошью беды —  
в азартном и злорадном нераденье  
следить за увяданием звезды,  
втемьяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,  
понуришь шею среди пекл безводных,  
ст скудных скверов отвращать лицо,  
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:  
без тех, без лучших, мыкалась по свету,  
а без себя? — не велика печаль!  
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин  
и снова выжить, как это ни сложно,  
под доблестной защитой мужчин,  
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем приручать беду,  
но хитрой слепотою дальновидной  
надеяться, что будет ночь в саду  
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,  
чьей выгоде мое спасенье сладко,  
коль мне дано по окончанье дня  
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река  
готовы выдать тайну вековую,  
и с первобытной меткостью рука  
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша  
спешит служить и жертвовать длиною.  
И так свежа суровая душа,  
словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,  
всему чужой, иноязыкий идол,  
царю во тьме огромностью лица,  
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,  
пред новым днем не знаю сожаленья  
и медленно стираю прядь со лба  
для пущего удобства размышленья.



## Зима на юге

Зима на юге — далеко зашло  
ее вниманье к моему побегу.  
Мне — поделом. Но югу-то за что?  
Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь глядеть, как мучатся в саду  
растений недобитые подранки.  
Гнев севера меня имел в виду,  
я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?  
Сил не было иметь температуру,  
которая бездомью моему  
не даст замерзнуть спяну или сдуру.

Прыжок мой, понукаемый бедой,  
повис над морем, если море это:  
волна, недавно бывшая водой,  
имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,  
мороз кончины им сулят прогнозы.  
Не твой ли ямб, любовь моей души,  
шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне, теплицы красоты!  
Я удалюсь и все это улажу.  
Зачем влекла я в чуждые сады  
судьбы своей громоздкую поклажу?

Мой ад — при мне. Я за собой тяну  
суму моей печали неказистой.  
Так альпинист, взмывая в тишину,  
с припасом суеты берет транзистор.

И впрямь — так обнаглеть и занестись,  
чтоб дисциплину климата нарушить!  
Вернулась я, и облегает кисть  
обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,  
лишила юг опалы снегопада.  
Сладчайшего цветения прилив  
был возвращен воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.  
Краса мурашек серебрит мне спину.  
И, в сущности, я польщена весьма  
влюбленностью зимы в мою ангину.

## Александр Балин

### Баллада о латышском стрелке

Знаю,—  
был он латышским стрелком  
В те самые годы,  
когда  
Вытряхивались из товарняков  
Полынные толпы солдат.  
«Долой!»  
«Домой!»  
А закат не линял,  
И надрывался ревком...  
Пер паровоз на восток порожняк,  
Пехота пылила пешком.  
Питер.  
Ленина спорый шаг...  
Штык боль под ребро вогнал.  
Вливалась тропа в большевистский  
большак  
Под «Интернационал».  
Июльской Москвой молчаливым  
броском,—  
Лют пулеметчик,  
пьян...  
Три пули столкнулись с латышским  
стрелком,  
Но выжил товарищ Ян.  
...Немногословен,  
как все латыши,  
Отец не рассказывал мне,  
Как Дон уронил его в камыши  
На той,  
на мятежной войне...  
Взбухали на скулах порой желваки,  
И в пальцах крошился мел,  
И замолкали ученики,—  
Душой он кривить не умел.  
Не умел он преподносить  
Доходчиво матерьял...  
Пахать бы ему,  
сеять,  
косить,  
А он в ШКМ \* застрял.

Да только тянулись к нему,  
не совру,  
Крестьянские пареньки.  
Ничто не валилось из батькиных рук  
В часы непонятной тоски.  
Теперь я его понимаю,  
когда  
Сам сеял,  
сам воевал...  
Лодки «работал» отец,  
невода,  
Печи русские клал.  
А впрочем,  
о быте и о тоске  
Теперь вспоминать на кой?  
Разве могла в таком мужике  
Тоска быть просто тоской?  
Наверно,  
раны скулили к дождям,  
Тем более,  
что одна  
Пуля,  
что посылалась в вождя,  
У сердца сидела она.  
...Такие вот в жизни бывали дела.  
Коль жить,  
надо жить горячо...  
Батька стоит у моего стола  
И руку кладет на плечо.  
И говорит мне:  
«На Рузу б теперь...  
Помнишь?  
Ушица с дымком.  
Верь,—  
я умер большевиком...»  
Верю,  
и ты мне,  
сын мой,  
поверь:  
Дед твой был латышским стрелком.

<sup>1</sup> ШКМ — школа крестьянской молодежи.

## Эдуард Балашов

### Гонец



Я бежал на далекий костер.  
Он летел на ветру, словно знамя.  
Вдаль замерзшие руки простер,  
Но не грело далекое пламя.

Потускнели чувства и светила.  
Мир ночной и холоден и мглист.  
Там — комета искру обронила.  
Здесь — береза обронила лист.

Исчезала, терялась тропа.  
Коченели в снегу рукавицы.  
Донеслось, как отпела труба  
Смертный бой у последней границы.

Ничего никто не понимает.  
И не в силах никогда понять,  
Почему живут и умирают,  
Почему нельзя не умирать.

И ни звука. Все тот же простор,  
Леденящая сердце округа.  
Никого, лишь холодная вьюга.  
И в ночи одинокий костер.

Все полно неведомого смысла.  
Каждый неожидан поворот.  
Вдруг волной начертанное смыло.  
Не вернулся, кто ушел в полет.

О, как много мне этой степи,  
Ровной, чистой  
  для скромной могилы!  
Собираю последние силы,  
Чтоб победную весть принести.

Начинать все сызнова жестоко.  
Но душа покоя не дает,  
Что над нами вольно и высоко  
Небо одинокое живет.



Лес изнемог.  
Он вспыхнул, чтоб сгореть,  
Не помня прошлого,  
Грядущего не зная.  
Он весь в огне от края и до края.  
Пора пришла.  
И нечего жалеть.  
Когда среди разгула, суеты  
Его могуществу грозит упадок,  
Лес сохраняет строгость и порядок,  
Льет ровный свет добра и красоты...  
И я стою  
С деревьями в строю.  
Сплетая руки с гибкими ветвями.  
Я с миром по весне заговорю,  
Переменяя листья со словами.



*А. Передреву*

Уходит друг, и песня умолкает.  
Как жить без друга? Как без друга жить?  
Он знает все, о чем никто не знает,  
И не простит, чего нельзя простить.

Как опустела бедная округа!  
Что делать мне? Как мне помочь ему?  
Не дай мне бог остаться жить без друга  
И умереть без друга одному!

■ ■ ■

Отмели метели.  
По кругам прошли.  
Слышу еле-еле  
Пение земли.

До весны далече.  
Да поди ж ты, вот —  
Веселее речи,  
Чище небосвод.

И луне в привычку,  
Выйдя из тенет,

Подносить, как спичку,  
В тонких пальцах свет.

И душе все больше  
Хочется тепла.  
И нет мочи дольше  
Отставлять дела.

Белая бумага.  
Легкая рука.  
Ах, какое благо  
Первая строка!

■ ■ ■

Как равнодушен снег ко мне,  
К деревьям, крышам, к тишине.

Равно ему, куда лететь по свету  
В слепом неведенье и в зыбком сне,  
Он кружит надо мной, послушный ветру,  
Как самый первый и последний снег.

Но я в саду за белою оградой  
Слежу медлительный, томительный полет.  
За все, за все я благодарен саду  
И небесам, откуда снег идет.

Последняя снежинка долетает.  
Прекрасней всех! В неведомых лучах  
Что ждет ее, она о том не знает.  
Искрится вся и тает на глазах.

■ ■ ■

Я не жду тебя, но ты  
Все равно ко мне приходишь.  
Что же ты во мне находишь?  
Что во мне находишь ты?  
Только я тебе сказать  
Не могу тех слов высоких,  
Словно небо,  
Светлооких:  
Душу надо расковать.  
Потому, что у души  
Есть свои земля и небо  
И в ее полях

для хлеба  
Перепаханы межи.  
И леса ее дремучи,  
И овраги на пути...  
Ты зазря себя не мучай,  
Не ходи ко мне.  
Прости.

■ ■ ■

Независимость, зависть —  
Два понятия боли.  
Зависть зреет, как завязь.  
Независимость — поле.

Выйду в поле, где ветер,  
Где колышутся травы,  
Где один я на свете  
Без печали и славы.

А завидовать стану  
Только первому снегу,  
Журавлиному стану  
Да хорошему человеку.

## Михаил Беляев



Август наливается прохладой.  
Чаще с трав слетают семена.  
И настороженной тишина,  
Словно солнцу яркому не рада.

Вижу:  
По осиннику бежит  
Белкой осмелевшей позолота.  
Веселиться стало неохота —  
Осень в каждом листике сквозит.

Осень просыпается во всем.  
И грибы, знать, потому полезли,  
Что дожди туманные воскресли  
И стоять в них  
Можно  
Нагишом.

И стоять  
И можно мыть до хруста  
Сильные упругие тела.  
Осень мне на плечи налегла.  
Пахнет зелень, вянущая грустно.

Зелень словно тихое дыханье:  
Замечаешь, если сядешь к ней.  
Желтизна все ярче, все тесней.  
Белые маячат расстоянья...



Друзья мои клены!  
Вас нету в живых,  
Простите моим поселянам,  
Что вас в переулках, косых и кривых,  
Срубили на топливо рано.

Что рано огонь заплясал на коре  
В своей красно-синей рубашке,  
Что мало вы, клены, в селе детворе  
Сготовили сока и кашки.

Ну что было делать, когда холода  
Ордою в Орел завернули?

Земля даже летом  
От пепла седа:  
Как порох дома полыхнули.

Ребята кротами ползли в погреба.  
Им холодно было раздетым.  
В убежищах  
Жаркая ваша щепка  
Была словно солнышко летом.

Друзья мои клены!  
Сгорела война,  
Когда вы, метаясь, горели,  
Деревни разбиты.  
Земля ледяна.  
Но вы детвору обогрели.

## Елена Благинина

### Постой, постой

...Еще не допит  
Подробностей хлебок.  
Г. О.

Хозяйка печь так долго топит,  
Нехитрый месит колобок...  
Постой, постой, еще не допит,  
Еще... подробностей хлебок.

Ты знаешь, небо так свинцово  
На берегу крутой зимы.  
Постой, постой, услышу ль слово,  
Что не навек расстались мы?

Что я, в тиши своей бесславной,  
Покой лукавый разлюбя,  
Еще, мой спутник своенравный,  
Быть может, обниму тебя.

И вместе мы осушим чашу  
Скорбей грядущих и невзгод.  
И, может быть, на старость нашу  
Разлуки тень не упадет.

1941

### Снегиренок

Еще ничто живое не проснулось  
В захладавшем накрепко дому,  
А утро еле-еле прикоснулось  
К сознанию и сердцу моему.

И было мне прикосновенье это  
Куда милее молодого сна,  
Затем что полный трепетного света  
Стоял денек у моего окна.

Разлив зари был так предельно тонок,  
Что живописец бы не взял его.

И прыгал красногрудый снегиренок  
У самого окошка моего.

Он останавливался на минутку  
И прыгал дальше — простенький,  
родной.

Он тоже радовался первопутку,  
Овеянному свежей белизной.

Теперь пойду я по земным дорогам,  
Хлебну ветров, увижу даль и ширь,  
И будет мне пленительным залогом  
Простого счастья — маленький снегирь.

### Суздаль

В звуке — СУЗДАЛЬ — узда и даль,  
Удаль, ад, и лад, и слеза...  
Темноликих спасов печаль,  
И заступниц кротких глаза.

И юродивых бормот-вздор,  
Гомон звонниц и цвель бойниц,  
И доселе слышимый хор  
Непорочных отроковиц.

## Памяти Владимира Комарова

Сын мой — здоровый-живой  
Сел в корабль огневой.  
Полетел в черноту,  
За земную черту,  
И не вернулся оттуда —  
Чадо моё,  
Чудо!

И о нем — не слова,  
С л а в а будет греметь.  
Ну, а я как трава  
Вечно буду шуметь:  
— И не вернулся оттуда,  
Чадо моё,  
Чудо,  
Дитя моё,  
Чистое самое!

## Пушкин

Ты был со мной, когда от слога к слогу  
Я шла, на ощупь пробуя дорогу,  
К познанию, к терпению, к труду,  
Дорогу, по которой и иду.

Ты был со мной, когда младая сила  
Во мне раскрыла радостно крыла.  
Она по всем страстям земным водила  
И в зрелость точно в храмину ввела.

Как много я, как страшно виновата!  
Пойми, прости и отпусти вину!  
Побудь со мной у скромных врат заката,  
Не покидай, не оставляй одну.

Тускнеет море блещущего света,  
И скоро в очи ночи хлынет мгла...  
Как хорошо, что по земле поэта  
Ходила, пела и в нее легла!



## Виктор Боков

### Закопанская встреча

#### Зима

*Юрию Бойковскому*

Закопанская зима,  
Закопанский колокольчик  
Заливается, хохочет,  
Словно он сошел с ума.

Серый конь призывно ржет.  
Долго он гляделся в торбу,  
А теперь воротит морду,  
Есть не хочет, только пьет.

Значит, дай ему простор,  
Дай серебряную сбрую,  
Чтоб лететь напропалую,  
Мчать вперед во весь опор.

Как он легок на рыси!  
Берегись! Задавит с маху,  
Перед ним дрожат от страха  
Закопанские такси.

Конь — цены такому нет!  
Комья снега бьют о санки:  
Берегитесь, варшавянки,  
Может вывалить на снег.

День-день-день — какая даль!  
Как сердечко замирает,  
Как к сердечку прижимает  
И целуется гураль!

## Снег

Мне нравится снег закопанский.  
Он чистый. Опрятный. Крестьянский.

Снег в Кракове мятый и рыжий,  
А здесь он спортивный и лыжный.

Снег в Кракове вялый, томленный,  
А здесь он как сахар пиленный.

Он к пани на плечи садится,  
И пани сияет, гордится.

А снег потихонечку тает,  
Наверно, о чем-то мечтает.

О чем? Ну конечно, о встрече,  
Понравились плавные плечи.

Понравились брови как дуги.  
Снег дышит в предчувствии выюги.

Он медленно кружится, вьется,  
В нем сердце влюбленное бьется!

## Прогулка

«Приземлиться или нет?» —  
Снег раздумывает.  
Что же делает поэт?  
Он разгуливает.

По душе ему январь,  
Снегу хочется.  
Он уходит, как гураль,  
В одиночество.

Воздух пьет в горах, как спирт  
Неразбавленный.  
Горный лес загадкой спит  
Неразгаданной.

«Взвиться, что ли, в облака,  
Стать снежинкою?»  
Хорошо и здесь пока,  
Ты держи меня!

Ты держи меня, земля,  
С корнем, с комелем,  
Я повсюду твой земляк —  
В Татрах, дома ли.

Снег раздумывает: «Лечь  
На татранский луг?»  
Ну, о чем быть может речь?  
Приземляйся, друг!

## Встреча

В Закопанах мягкая зима.  
Дым идет из труб, но не торопится.  
Плотно на земле сидят дома,  
Дружно городские печи топятся.

От руки седого звонаря  
Колокольный звон летит над городом.  
Ты идешь, себя боготворя,  
Но отнюдь не бога, пани гордая.

Я вчера заметил твой кожух,  
Сшитый по последней моде, с изыском.

Я с утра весь день за ним хожу  
И волнуюсь от возможной близости.

Сядем, пани, в сани и — айда!  
На простор, под звон и смех бубенчика.  
Этого не будет — ты горда,  
Я не так уж горд, но я застенчивый.

Это так! И остается нам,  
Подчинясь робости и гордости,  
Разойтись по разным сторонам,  
Не меня жительства и подданства.

*Закопане, 1969*



## Исаак Борисов



Я гром увещевал, чтоб не внушал он страх,  
Чтоб зря не грохотал, оставил мир в покое.  
Сказали мне тогда: «На разных языках  
С ним говоришь, чудак». Поди оспорь такое!

И много лет спустя, утратив юный пыл,  
Я стал терпимее ко скрежету земному  
И понял: мой язык — не он помехой был,  
Но слишком тихо я внушал молчанье грому.

*Перевод с еврейского М. Петровых*



Брожу, как в дрёме, принимая луг.  
Безудержно степные травы пахнут,  
И полог ночи надо мной распахнут,  
И дробь росы рассыпана вокруг.

Волна стучит в откос береговой,  
И вспышкой белой чайка озаряет  
Окрестный мир, что до сих пор  
скрывает,  
Кто я ему — последыш иль старшóй...

*Перевод А. Кафанова*

## Анатолий Брагин

### Яблоки

Этим летом,  
Как к напасти,  
Яблок — сила родилось,  
Даже яблоки на части  
Разрывало.  
Словно гроздь,  
Обливной и осыпной  
Куст навис над головой.

То белы,  
А то с загаром,  
То малы,  
То велики...

Все завалены базары,  
Все затарены мешки...  
Все наелись...  
Не хотят!  
Наземь яблоки летят!

На плечах корзинок горы —  
Еле девушки ползут,  
И за пазухой, как воры,  
По два яблока несут  
Самых спелых...  
Высший сорт!  
«Что глазеешь,  
Лысый черт?!»

### Крановщица

Я невзрачная бабенка:  
Слабы мышцы,  
Тонки жилы,  
Я могу поднять ребенка  
И ведро воды от силы...

Только нет такого крана,  
Чтоб свалить помог бы с бабы  
Груз заботы постоянной  
И годочков пять хотя бы

## Давид Бромберг



Обычен, прост,  
не величаво,  
а, как отец меня жуя,  
чуть-чуть прищурившись лукаво,  
глядит Ильич с календаря.

А время мчаться не устало —  
листок слетел, за ним — еще...  
Но не утратило  
и малой  
знакомой черточки  
лицо.

Над ним бессильно время даже!  
И вижу я в календаре —  
все тот же взгляд,  
улыбка та же,  
все та, как в грозном Октябре.

*Перевод с еврейского  
Владимира Цыбина*

## Часы Ленина

В той комнате светлой, куда спешат,  
чтоб сердцебиенье эпохи постичь,  
среди разных предметов  
часы лежат,  
те, что когда-то носил Ильич.  
На заседанье ЦК,  
к детям, к гостям,  
в дождь проливной и в холод лютый,  
сверяя время по тем часам,  
он  
являлся точно минута в минуту.

Кажется —  
застыла стрелка часов,  
останавливается,  
затаив дыханье, народ...  
И слушает — в грохоте грозных годов  
по ленинским часам  
время идет!

Потому что вера людей горяча,  
идут и идут, и лица сияют,  
потому что они  
по часам Ильича  
время и сердцебиенье сверяют!..

*Перевод Владимира Цыбина*

## Владимир Бурич



Земля  
сама себя лечит  
травами,

прикладывает подорожник  
к незаживающим  
ранам дорог.

### Бессонница

Слушаю  
сердцебиенье подушки.

Вижу  
зеркала  
беззвучное эхо.

Думаю  
о рыбах  
доисторического океана  
с идеей человека  
во чреве.

## Нина Бялосинская

### Апрель

*Варе*

Тень взрослой птицы на стене  
в спокойном правильном полете,  
как локоток на повороте —  
то угловата, то кругла.

Выходит город из весны.  
Полузеленый,  
полуголый.  
Голодный каменный птенец —  
бескрылый клюв разинут слепо.

Но взрослой птицы по стене  
живая тень восходит в лето.

Открыты двери на балкон.  
Седьмой этаж.  
Простое небо  
у глаз.

Над уровнем реки —  
седьмой —  
над уровнем гудрона.

Выносит в небо, вопреки  
крутой топорности бетона.

Сюда ведет скрипучий лифт  
в спокойном правильном полете.  
И вы когда-нибудь придете  
сюда —  
в квартиру, где для птиц,  
как небеса, открыты стены  
и где выходим постепенно  
друг в друга мы  
из наших лиц.

## Константин Ваншенкин



Артист, выходя на сцену,  
Живя на глазах у всех,  
Жестокую платит цену  
За призрачный свой успех.

На каждое восхождение  
Потрачено столько сил!  
И даже на наслаждение,  
Которое ты вкусил.

За землю, за хлеб и воду,  
За старый отцовский кров,  
За счастье и за свободу  
Обильно пролита кровь.

Ничто не дается даром —  
Ни молодость, ни строка.  
Победа одним ударом,  
По совести, так редка.

Сутулимся в муках роста.  
Под грузом спина хрустит.  
...Ах, все, что далось вам просто,  
Пускай вас не обольстит.



Редактор был так важен  
И все-таки в ответ  
Негромко молвил: «Ваши  
стихи увидят свет...»

Он не назвал мне сроки,  
Но я в секунду ту  
Свои представил строки  
На пристальном свету.

Над снежною равниной  
Увидел белый свет,  
Катящийся лавиной —  
Конца и края нет.

Слепящую стихию,  
Не свет, что лишь в окне,  
А свет на всю Россию,—  
И жутко стало мне.

## На бульваре

Мальчишка больно уж удал,  
Несется с палкой по бульвару.  
Кричит, споткнулся и упал.  
Прислушивается к удару.

Вскочил — и землю палкой бьет.  
Сурова скорая расплата.  
Отец, сощурясь, пиво пьет:  
— Сынок, она не виновата.

Отец не ведает о том,  
Что на Руси за весть худую  
Бивали колокол кнутом,  
В Сибирь ссылали зачастую.

В конце аллеи даль светла.  
Согласный блеск листвы и лака.  
На сером пластике стола  
Оранжевы руины рака.

Видны сквозь желтое стекло  
В пивной бутылке спайки пены.  
С ветвей уже листок смело,  
Как знак идущей перемены.



На том же месте много раз  
Лопата землю здесь долбила.  
Могила каждая сейчас —  
По сути, братская могила.

И крест буквально на кресте,  
А коль учесть, что путь наш краток,  
Обидно — жили в тесноте  
И вновь теснись внутри оградок.

Давно ль успели поместить,  
Тревожат их на том постое.  
И нам, живым, охота жить  
Не вообще, а на просторе.

А если уж лежать во тьме,  
За гранью выданного срока,  
То под сосною, на холме,  
Откуда всё видеть далеко.



## Круговорот

Монотонность колесного гуда.  
Мы глядим на мелькающий лес  
И порою, как будто оттуда,  
Видим свой проходящий экспресс.

В мире осень стоит золотая.  
Машут дети, скрываясь из глаз,  
И грохочет состав, пролетая  
Мимо них и чуть-чуть мимо нас.

Ничто совсем не прекращается,  
И вам приятно это очень.  
Одно в другое превращается:  
Зима в весну и лето в осень.

Дождь — в снег! — тогда снежки вы лепите.  
Снег — снова в дождь, стучащий тонко.  
Ночь — в день, утенок гадкий в лебедя,  
И лебедь в гадкого утенка.

## Рассказ за соседним столиком

Вернулся в городок,  
А мне сказал наш завуч:  
«Уже второй годок  
Петрова вышла замуж».

И вся моя семья  
Ее не извинила,—  
Мол, Танька-то твоя  
Как подло изменила.

Шла, помню, у пруда  
И вздрогнула сначала,  
А подошла когда,  
То так она сказала:

«Прости, дружок, меня,  
Что не сдержала слово,  
Но ведь не знала я,  
Увидимся ли снова.

Моя, солдат, вина —  
Не выполнила долга,  
Но только ведь война  
Тянулась больно долго...»

Не смог смириться я,  
А все ж не подал виду  
И начал жить, тая  
Ту горькую обиду.

## Медведь

Прошел косолапо  
Под низкий еловый шатер.  
Он в сказках растяпа,  
Он в жизни силен и хитер.

Он хищник породой,  
Хозяин обширнейших мест.  
Однако с охотой  
Личинок и ягоду ест.

Мед любит до стона,  
Его он всему предпочел.  
Могучий сластена,  
В душе презирающий пчел.

А склоны пологи.  
Снежку подсыпает опять.

Он в темной берлоге,  
Великий любитель поспать.

Плати чистоганом  
За то, чтоб увидеть весной,  
Как рядом с цыганом  
Он топчется в пляске смешной

Пред всей деревушкой,  
А в цирке — боксер и жокей,  
На роликах, с клюшкой  
Под хохот играет в хоккей.

Не нужно быть богом,  
Чего-то добиться дабы.  
Обходится боком  
Уменье вставить на дыбы.

# Сергей Васильев

## Родник

*Памяти Николая Асеева*

Нету Асеева. Нету.  
Нету.

Зови не зови...

Рыщет по белому свету  
оклик сыновней любви.  
Где же он, добрый наставник,  
где же он, труженик злой,  
крёстный дебатов недавних,  
с редкой своей похвалой?  
Некому взять меня в клещи  
за онемевшим столом,  
с ласковым ропотом вещим  
жару задать поделом.  
Нету ни скрипа калитки,  
ни перещелка замка,  
ни запоздалой открытки,  
ни затяжного звонка.  
Затканы в сумерки, сиры,  
недоуменно глядят  
окна московской квартиры  
на равнодушный закат.  
Может, зайти наудачу:  
«Вот я!» — и вся недолга?  
Может,  
уехал на дачу?  
Может,  
махнул на бега?  
Нету на Каме, на Волге,  
нету у курских холмов...

Замерли чинно на полке  
пять тяжелых томов.  
Ну-ка, возьми из-за створки  
в руки любой из пяти,  
сядь и от корки до корки  
с тихим вниманьем прочти.  
Хлынут с отверстой страницы

и завладеют тобой  
вдумчивых красок зарницы,  
кованых звуков прибой.  
Трогай,

лови,

соучастуй,  
жадною грудью вбирай  
гомон хмельной и гривастый,  
полнящий жизнь через край.  
Чуешь, как утренней ранью,  
дивно свежа и легка,  
снегом,

полянью,

геранью

терпкая пахнет строка?  
Как набегают кругами  
то холодище, то зной,  
то нестерпимое пламя,  
то низовик ледяной?

Слышишь, как в дымке предгорья,  
словно летя на пожар,  
вскачь подпевают полозья  
говору синих гусар?  
Веришь, как, трогая хвою,  
сквозь колчаковский заслон  
в темь уползает тайгою  
храбрый Проскаков Семен?  
Видишь, как в рост, по-бойцовски  
(время ему нипочем!)  
к Пресне идет Маяковский,  
день подпирая плечом.  
Где же Асеев?

Далече...

Лишь в тишине, как впервой,  
бьется родник его речи,  
плещется голос живой.

## Лариса Васильева



Мне полночи песни певали,  
к рассвету дорога звала.  
Была я счастливой?  
Едва ли  
несчастлива в жизни была.

В минуту предсмертную вспомню  
не горечь минувших потерь,  
а то, как горячему полдню  
открыла тяжелую дверь,

вошел он и сжег без остатка  
все то, чем могла дорожить,  
и вышел. Осталась загадка:  
как дальше-то буду я жить,

без гордости, спеси и даже  
без страха о завтрашнем дне...  
И небо подобием чаши  
в моем голубело окне.



Восходят над туманами года,  
и звон в ушах от гуда-перегуда,  
и я иду,  
не ведая куда,  
чтоб воротиться,  
ведая откуда.

А мне еще метаться и гореть,  
и обжигаться предвесенним снегом,  
и, женщиной родившись,  
умереть  
испытанным, суровым человеком.



То ли птица пронесится мимо,  
то ли сон погасает у век.  
В этом мире не все объяснимо —  
сам себя не поймет человек.

Звездочеты не знают, откуда  
и зачем этот огненный шар,  
и тревожное лунное чудо  
с переплеском русалочьих чар.

Я стою у разверзнутой бездны,  
где внизу остывают века,  
где уроки веков бесполезны  
для глядящих на них свысока.

Я не знаю, что будет со мною,  
хоть привыкла загадывать впрок:  
то ли туча пройдет стороною,  
то ль гроза упадет на порог.

## Петр Вегин

### Игры

Зима — как смена декораций  
в спектакле вечном. Мы с тобой  
до кончиков озябших пальцев  
старинной заняты игрой.

Давай оттаем понемногу  
и осознаем в теплоте,  
что те же наши монологи,  
но мы с тобой уже не те.

На этих стареньких подмостках,  
где мир любил и проклинал,  
закапав роль январским воском,  
хочу играть, как не играл.

Того, что мы вчера играли,  
нельзя сегодня повторять.  
Не надо думать о провале,  
иначе лучше не играть!

Ты видишь — этот снег бесценен,  
и бег оленей мускулист,  
и жизнь подобна вечной сцене  
без занавеса и кулис,

где мы с тобой не двое встречных  
в непогрешимом январе,  
а Двое Вечных — двое вечно  
принадлежащие игре —

любви, ошибок и находок,  
видений, случаев, свечей,  
игре людей и ледоходов,  
поветрий, ветра и ветвей...

Я все пойму и все приемлю  
и, замусолив роль до дыр,  
целую маленькую землю —  
святое место наших игр.

### При лучине

Любимая, темно, не ушибись...  
Вот так случилось,  
что свет погас и подсказала жизнь  
зажечь лучину.

И вот светло, не раздражая глаз,  
горит лучина,  
не поименно освещая нас,  
а просто — Женщину с Мужчиной.

Ну, сколько было люстр и фонарей,  
прожекторов — едва не разлучили...  
Но было ли когда-нибудь светлей,  
чем при лучине?

От нас двоих одна ложится тень.  
В деревне мы. Нет, эта фраза лжива —  
нет городов и нету деревень,  
мы — в жизни,

где свет стремится ярче полыхать,  
а нужно столько,  
чтобы понять — себя, других. Понять,  
и только.

Как все священо, что освещено  
потрескивающей лучиной —  
и пушкинских времен веретено,  
и случаи, и судьбы, и причины.

Давно такого не было, давно.  
Я помню день, в который ты  
случилась —  
как будто бы внутри меня светло  
зажглась лучина.

Лучина — деревенская свеча,  
чему никто не мог, нас научила.  
Нам сладок дым отечества. Сейчас  
вплетается в него дымок лучины.



## Андрей Вознесенский

### Стрела в стене

Тамбовский волк тебе товарищ  
и друг,  
когда ты со стены срываешь  
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,  
с плеча откинется рука.  
Стрела задышит, не насытись,  
как продолжение соска.

С какую женственностью лютой  
в стене засажена стрела.  
В чужие стены и уюты.  
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене, в каркасной  
стойке,  
во всем, что в силе и в цене.  
Вы думали — век электроники?  
Стрела в стене!

Над украшательскими нишами,  
темна вдвойне,  
ультиматумативно нищая  
стрела в стене!

Горите, судьбы и державы,—  
стрела в стене!  
Тебе от слез не удержаться  
наедине, наедине...

Шахуй, оторва попадучая!  
И я скажу:  
«У, олимпийка». И подумаю:  
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка,— добавлю,—  
скифка...»  
Ты скажешь:  
«Фиг-то!..»

### Бой петухов

Петухи!  
Петухи!  
Потуши!  
Потуши!..  
Спор  
шпор.

Кукаре —  
кукарехнулись!  
Кухарка.  
Харакири.  
Хррр...

Какое бешеное счастье,  
хрипя воронкой горловой,  
под улюлюканье промчатся  
с оторванною головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,  
по пояс в дряни бытия,  
по горло в музыке восхода  
забыться до бессмертия.

Через заборы, всех беся,—  
на небеса!

Там, где гуляют грандиозно  
коллеги в музыке лугов,  
как красные  
аккордеоны,  
с клавиатурами хвостов.

О лабухи Иерихона!  
Империи и небосклоны.  
Зареванные города.  
Серебряные голоса.

(А кошка, злая как оса,  
не залетит на небеса.)

Но по ночам и к мщенью требует  
с асфальтов,  
жилисто-жива,  
как петушиный орден с гребнем —  
оторванная голова.



Лист летящий, лист спешащий  
над походочкой моей —  
воздух в быстрых отпечатках  
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся  
эти светлые следы,  
что желают? что толкуют?  
ах, лети,  
лети,  
лети...

Вот нашла — в такой глуши,  
в ясном воздухе души!

### Тоска

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,  
забреду ли в вечернюю деревушку —  
будто душу высасывают насосом,  
будто тянет вытяжка или вьюшка.

Или ноет какая вина запущенная?  
Или женщину мучил — и вот наказание?  
Сложишь песню — отпустит,  
а дальше — пуще.  
Показали дорогу, да путь заказали.

Точно тайный горб на груди таскаю —  
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,  
я забыл, какое твое дыханье,  
подари мне прощенье,  
коли виновен,  
а простивши — опять одари виною...

### Шутливый набросок

Живу в сторожке одинокой,  
один-один на всем свету.  
Еще был кот членистоногий,  
переползающий тропу.

Он, в плечи втягивая жутко  
башку, как в черную трубу,

вещал, достигнувши желудка,  
мою пропашную судьбу.

А кошка — интеллектом уже.  
Знай выпускала деток в свет,  
углами загибая  
ушки  
им, как укладчица конфет.



## Николай Глазков

### Мое отношение к болезни

Когда начинается листва бронзоветь  
И хмурая осень в окошки стучится,  
Находятся люди, что любят болеть,  
И люди, которые любят лечиться.

А я не такой, как они, оптимист,  
И если терзает меня грипп повальный,  
То десятидневный больничный свой лист  
Рассматривать не могу, как похвальный!..

Нетрудоспособен... Хорошего тут  
Не вижу, мечтая о новых работах.  
Мне жаль прерывать незаконченный труд,  
Однако болезнь для меня и не отдых.

Мне хочется хворь свою преодолеть,  
Охотно ее уступаю тем лицам,  
Которые смело готовы болеть  
И любят со знанием дела лечиться!

### Первопуток

Пал первый снег, и с ним упала  
Температура в городе.  
Хорошего, конечно, мало  
В осенне-зимнем холоде.

Но почему-то люди рады  
И, проходя по улице,  
Не очень чувствуют прохладу —  
Снежинками любят.

Оптимистичны эти люди,  
Зима им предназначена,  
А я не радуюсь простуде,  
На первопутке схваченной.

А я не рад дороге снежной,  
Печально мне от холода,  
Хотя зима и неизбежна  
И выглядит так молодо!

### Баллада о мозолях

Читал и в прозе, и в стихах  
Довольно часто, между прочим,  
О тех мозолистых руках,  
Присущих якобы рабочим.  
О тех мозолях трудовых  
Слагались целые легенды.  
Одна беда: слагали их  
Заядлые интеллигенты!

А мне не нравятся слова,  
В которых я не вижу толка.  
Я, знаете, пилил дрова,  
Колол дрова довольно долго.  
За это деньги получал:  
Не за пустяк — за труд тяжелый;  
И вот тогда не замечал  
Я на своих руках мозолей!

На Волге я родился, рос —  
Грести люблю, грести умею,

Ходил на веслах много раз —  
От них мозолей не имею.  
Я лет, наверно, с десяти  
Узнал. Не знаете вы, что ли?  
У неумеющих грести  
Бывают на руках мозоли!

Могу признать, что иногда,  
Как на заводе, так и в поле,  
От непривычного труда  
Бывают все-таки мозоли.  
Мозоли существуют, да  
(Хорошего в том мало очень!),  
Но иногда, а не всегда —  
И не нужны они рабочим!

Да здравствует полезный труд,  
В котором радость и раздолье;  
Но у рабочих атрибут  
Все ж мускулы, а не мозоли!

## Мое пятидесятилетье

Тридцать, сорок, даже сорок девять  
Отмечал, как праздникам был рад.  
Эти юбилеи все не те ведь,  
Их куда серьезней Пятьдесят!..

Ощущаю эту годовщину  
Не как предыдущие лета,  
А как величавую вершину  
Странного и дивного хребта.

И с высот пятикилометровых  
Сквозь туманы снежных облаков

Старых вижу я друзей и новых,  
Но не мной придуманных врагов.

Вижу кой-какие достиженья,  
Но не ставлю им отметки пять —  
Промахи свои и заблужденья  
Различаю, чтоб не повторять!

Путь трудов насущных не закончен,  
Главного еще я не свершил..  
Зрелость — не пора зимы и ночи,—  
Новых следует достичь вершин!

## Художник революции

Купанье красного коня  
Изобразил он живописно,  
И если спросят у меня:  
— А конь такой бывает в жизни?..

Я отвечать не стану: — Нет!..—  
Поскольку конь изображенный —  
Конь революции, и цвет  
Того коня краснознаменный!

Художник чувствовал Октябрь  
До взятья Зимнего задолго,

А чуть он красный цвет ослабь  
Того б не выразил восторга!..

Изобразил он Ильича  
Правдиво, смело и тревожно.  
В своих работах величав  
Был революции художник.

Творил он от большой души,  
Талантливо и благородно,—  
Вот потому и хороши  
Петрова-Водкина полотна!

## Александр Глезер

### Деревня Прилуки

*О. Рабину*

Меня Прилуки прилучали,  
Светло баюкали ночами,  
Качали сосны надо мной.  
Мои столичные печали  
Лечили чистою волной.

Приокский ветер первобытен,  
А вечер тих и беззащитен —  
На нем младенчества печать.  
Природа —  
вечный наш учитель —  
Добру умеет обучать.

И я учусь в лесах, пропахших  
Сосной живительной,  
И старше

Я постепенно становлюсь.  
К прудам московским Патриаршим  
Преображенным возвращусь.

О, как по-новому увижу  
И как по-новому услышу  
Я этот город!

Нынче в нем  
И для меня деревья дышат  
И что-то пишут за окном.

И для меня щебечут птицы,  
И для меня горят зарницы,  
Которых я не замечал..  
И мне в ночи Ока приснится,  
Прилукский маленький причал.

# Татьяна Глушкова

## Над старой тетрадью

...Но как ничтожен для нее предлог:  
то влажный ветер, то забор дощатый,  
а то пустой прохожий говорок —  
и чудеса чернил зеленоватых,  
и наплывает нежность первых строк,  
заплаканных каких-то, диковатых.

И снова кто-то медлит у ворот,  
лицо в тумане неумело прячет,  
и птица хрипая по снегу скачет,  
а снег ложится вкось и наудачу  
на тот пейзаж, что ничего не значит,  
хотя б читать его наоборот.

Но, видно, наступает мой черед,  
черед недолгой самозванной власти  
над тишиной, расколотой на части,  
на песенный горошек-шепоток.

Пока еще туманится восток,  
а небо дымной и собачьей масти,  
что давит грудь и за душу берет,  
но вот живой, исчерканный листок —  
и немота, и беглый холодок,  
отчаянье, беспамятство, и счастье...



По вечерам трещит огонь в печи,  
и сладкий дым, и нежный запах хлеба.  
Апрель в начале. Черные грачи,  
грачи зияют в розоватом небе.

И мы вдвоем. Не правда ль, мы —  
вдвоем  
на сумеречном берегу Тобола?  
Ты говоришь... И в голосе твоём  
звенит мой страх заговорить с тобою.

Какая тишь! Какая глухомань!  
Изгнанья край! Безветрие разлуки

с отечеством... И медленный туман,  
и меркнет свет, и упадают руки.

А я стою над бедною водой,  
над зябкою, текучею водицей,  
ловлю губами горький голос твой,  
и долго пью, и не могу напиться...

Зачем он так смирялся предо мной?  
Зачем он так склонялся над тобой,  
река Тобол? Тоска моя — Тобол...



Не быть любимой.  
Не бывать любимой!  
И в гордости спасения искать.  
Звенящее, щебечущее имя  
запомнить. И не повторять.

Бродить по улицам. Бежать под ливнем.  
Листать страницы. Теревить слова.  
Затевать праздник. Удивленным липам  
их огоньки в июне раздавать.

Слыть молодой, забывчивой и дерзкой,  
отшельницей, неверною женой...  
Покуда жест — беспомощный и детский,  
не вывернет, не выдаст с головой.

## Александр Говоров

### Косой дождь

Радуга, радуга,  
Ой, дид-ладо,— чудо!  
Радуйся,  
    радуйся,  
Возрадуйтесь, люди!  
Возрадуйтесь дождичку,  
Лей,  
    разливайся.  
Возрадуйся зернышку,—  
Пей,  
    напивайся.  
Дождь косой распрыгался  
Над просторной степью.  
Зернышки, как в пригоршнях,

На высоком стебле.  
Издалека слышится  
Песня землепашца.  
Так легко мне дышится,  
Что не надышаться.  
И на ветки таволги,  
Искрами сверкая,  
Опустились иволги,  
Хором выкликают:  
— Радуга!  
— Радуга!  
— Ой, дид-ладо,— чудо!  
Радуйся,  
    радуйся,  
Возрадуйтесь, люди!..

### Вей, северный ветер...

Вей, северный ветер,  
Вей.  
В лукавые стены бейся.  
Сыпучею  
    тучею  
        вейся  
Над снами просторных полей.  
Вей, северный ветер,  
Вей.

Как жарко дрова догорают,  
И медленно пламя стекает  
С березовых круглых углей.  
Душевный покой меж людьми  
С зимою не поздней, не ранней.  
И щеки у милой  
Румяней  
От пламени и от любви.  
Повей  
    добротою  
        с полей.  
Над дышащею трубою,  
Над нашею теплой избою  
Вей, северный ветер,  
Вей!..



Я зимние запомнил вечера:  
Свеча струилась по избе неярко.  
Пеньку жевала аппетитно прялка  
До синего, студеного утра,  
Дышала духовито коноплей  
И сплевывала белую кострику.  
И матушка, почти с иконным ликом,  
Перебирала ниточку рукой.  
И, распуская тонкую кудель,  
Она тихонько песню напевала.  
И, подпевая матушке, метель  
За окнами сугробы наметала.  
Мне эта песня на душу легла,  
Ее я слышу, лишь глаза прикрою,  
Широкая,  
С уютною душою,  
Она опять степенно потекла,  
Негромкая,  
И потому слышна.  
Года проходят,  
А она слышнее.  
В те вечера перелетаю с нею  
И тихо опускаюсь у окна.  
Вдыхаю запах воска, конопли,  
Ловлю кострику на лету рукою...  
Не знал тогда,  
Что маму нарекли  
В те вечера студеные  
В д о в о ю.  
Я зимние запомнил вечера,  
Они совсем не замутились скорбью.

...До синего, студеного утра  
Струилась песня вперемешку с болью.



Посмотри на небо только —  
Старый месяц кто-то крошит.  
Стало звезд на небе столько,  
Что склевать  
Не сможет кочет.  
Слышен голос твой прощальный.  
И забыл бы,  
И запил бы.  
Но с вина еще печальной.

Полюбил...  
Эх, не любил бы.  
Сам не свой  
Брожу теперь я.  
Позабыть бы...  
Да не сможешь...

И легки лебязьи перья,  
Да на крышу не забросишь.



## Дмитрий Голубков



Не отрекись от тебя и не брошу,  
Лес мой осенний,  
Дворец мой разграбленный;  
Буду делить эту нищую ношу  
С бедной рябиною, с дикою яблоней.

В зелень черемуха белая билась,  
Глохнул овраг от дроздового гомона...  
Майская кипень опала, забылась,  
Таволга августовская поломана.  
Каплет туман, осыпаются листья,  
Тишь по ложбинам скопляется гулкая...  
Выстрел.  
В низине, осклизлой и мгливой,  
Стынет сосед мой с курковою тулкою.

Ждет меня,  
  свищет в манок свой сипящий,  
Целится в блеклую высь озабоченно...  
Но не могу убивать в этой чаще,  
В голых покоях покинутой вотчины.  
Пусть даже сам упаду среди сосен  
Возле гнезда разоренного птичьего,  
Пусть погружусь в эту гиблую осень,  
Сваленный пулей слепого добытчика,—  
Пусть что угодно...  
Но только не брошу  
И не предам за любые дарения  
Лес мой, охваченный смертною дрожью,  
Эту больную природу осеннюю.

### Поминки

Соседка мужа схоронила,  
Кутью поставила на стол —  
И зарыдала,  
И завывала  
На все село, на весь простор:

— Соколик! Сиротинка-доля,  
Мой ненаглядный, золотой!  
Уж как мы ладно жили, Коля,  
Как мило жили мы с тобой...

Он пил, он бил ее, шалея  
От скудости и от вина,

И людям плакалась она,  
Как измывался он над нею...

Но жалостно-хвастлив рассказ,  
И хмель ее поминный горек:  
— Уж как любил меня соколик,  
Как холил. Было все при нас!

Соседки плачут и кивают  
И, морщась, пьют за упокой.  
Соседки всё о мертвом знают —  
И все же верят ей, живой.

### Береза

Вслед зашумели кусты:  
— Не поленись!  
Обернись!..

Вольный побег чистоты  
Вырвался в ясную высь.

Сдержан и так прихотлив  
Средь голубой глубины

Млечно-телесный отлив  
Теплой живой белизны.

Беден и нежен узор  
Пасмурного серебра.  
Кротко меж темных сестер  
Светлая смотрит сестра.

## Оскар Грачев

### Художник

На набережной рисовал художник.  
Я проглотил удивленный выдох  
и посмотрел:

до чего же он дожил,  
если что-нибудь здесь увидел?

Домики типичные  
птичками напичканы,  
дырками отмечено  
одеяло вечера,  
люди, симметричные  
теням человеческим,—

словом, всё обычное,  
удивляться нечему.

А он рисовал!

Удивительно!

Значит, все-таки что-то увидел он?  
Или, может быть, в этом обыденном

что-то спит еще не увиденное?

Или, может быть, все это шире,  
чем искусная праздность моя?

Значит, все-таки в этом мире

живописец —

он,

а не я.

### Черкизово

Дома в сады вросли карнизами,  
как дни в года.

Москва придумала Черкизово —  
зачем, когда?

Зеленое Черкизово,  
усеянное рвами,  
люблю твою невысказанную  
грустную трамвайность,  
и свежую старинность  
чиненого крылечка,

и вычищенный примус  
под потолком на печке,  
и полгектара неба,  
прошитые листвою,  
и озеро-монету  
с проржавленной водой.  
Далекое и близкое,  
периферийно скромное,  
с московскою пропискою  
местечко подмосковное.

## Николай Гречаный

### Кремлевская стена

Разбуженный веков щербатой лирой,  
я в двадцать лет проснулся и застыл  
перед ней, что меж Войной и Миром —  
границей восходила от могил.

Теперь мне тридцать. За десяток этот  
я от стены на шаг не отошел.  
Но я созрел, как если б не проехал —  
пешком вокруг всю землю обошел.

Стоит стена. Высокая, как возраст,  
и красная от крови и знамен.  
И я в себе удерживаю возглас  
От ИМЕНИ — пред нею, от ИМЕН.

И мне сказать — как снова повториться,  
а повторенья эти не нужны...

Стена, стена, ты — красная страница  
и для моей, и для любой страны.

Вхожу в тебя — как огненные крылья  
на руки одеваю, как дышу.  
От топора до шин автомобильных,  
до дней сегодняшних, сквозь сердце  
проношу.

И мне светло, и так я небо вижу,  
что кажется, ты движешься под ним.  
И плеск знамен пятнадцать раз я слышу  
под знаменем единственным твоим.

Не прохожу — пою я величально,  
не величально — от души пою  
твой каждый камень строгий и печальный  
и Мавзолея теплоту твою.

# Николай Грибачев

## Из лирического блокнота

### Не судите

«Не судите — да не судимы»...  
Кто сей принцип впервой исторг?  
Древних дней туманы и дымы  
Заволакивают исток.

Мудрость хитрости, привкус храма,  
Всепрощенчества высший взлет.  
Не судите роющих ямы,  
Не судите того, кто лжет.

Проходите с поклоном мимо  
Вымогателей и воров,  
Лишь бы — вежливо, лишь бы — мирно,  
Лишь бы сам богат и здоров.

Проходите себе. Живите.  
Злу потворство не ставьте в стыд...  
Хорошо перепелке в жите,  
Пока коршун спит или сыт!

### Со мной заодно...

Мело и в трубах подвывало,  
И было смутно и бело,  
И, как из старого подвала,  
От речки сырость волокно.

Она пока еще не стала,  
Была озябшей и нагой  
И лишь наращивала сало,  
Чтоб после зашуметь шугой.

Просеивая света с горстку  
Сквозь ледяные облака,  
День мерк и в белой шубе гостью  
Встречал растерянню слегка.

И две нахохленных вороны,  
Пока не сделалось темно,  
Что краски лета разворваны —  
Со мной грустили заодно.

### Одна улыбка

Я сам гадал, придумать сиясь  
Резон, достаточный вполне,  
С чего вдруг все вокруг сместилось  
И эхом отдалось во мне?

Цвет неба ярче стал, и птица  
Запела веселей, и лес,  
Чтобы от полдня откупиться,  
Купаться в озеро полез,

И сероватая, полого  
На холм взбираясь от села,  
Казалась радугой дорога  
И прямо в облако вела,  
И при долинке заиленной,  
Живых набравшись где-то сил,  
Мне родничок воды зеленой  
В зеленой чашке подносил.

И, бражник, не вязавший лыка,  
В обнимку ветер шел со мной...  
И ведь всего твоя улыбка  
Была причиной основной!

## Пожелание на ночь

Спи, ласточка. День шумный кончен. Спи!  
И ничего, что не со мной ты рядом,  
Что падает космическим снарядом  
Звезда

и ветер шелестит в степи.  
Я здесь — и я с тобой. Спи, слышишь?  
Спи!

Уже меня никто не уведет.  
И как мне от тебя уйти, в которой  
Доверчиво любовь зовет и ждет,  
Как в бурный вечер огонек за шторой,  
И для меня —  
себя в тревоге жжет?

Мир в грохоте событий, в спешке дел,  
Глаза воспалены, и плечи в мыле.  
И не до нас ему.

Но есть предел,  
Где только двое остаются в мире,  
Чтоб жар его и свет не оскудел.

Сегодня наша участь в том завете.  
И не брани нас, жизнь, не торопи  
И повтори со мной при звездном свете:  
Спи, ласточка.

Спи сладко.  
Слышишь?  
Спи!

## И нет другой...

День сел на плечи тысячью забот  
И тысячью вопросов нерешенных.  
Душа манит куда-то и зовет —  
В лес на его веселый шум и шорох,  
В луга, где синева и ветровей,  
К реке, где отмель плещет рябью мелкою  
К друзьям.

Но переключка и поверка  
Весь день стоят над совестью моей.

«Живи!» — внушают. Я согласен. Но —  
Что значит жить? Я книг прочел до черта —  
Все ищут и впадают безотчетно  
В то, что их опытом воплощено.  
А у меня, какой ни есть, а свой,  
И времена не схожи с временами —

Другие знаки в небесах над нами,  
Другой цветы осыпаны росой.

А может быть, что тот и верен курс,  
Чтоб, не приемля истин отвлеченных,  
Жить в суеде вопросов нерешенных,  
Мед и горчицу пробовать на вкус?  
Или и это — пропись и догмат  
В досыл к другим, которым счета нету?

Июньский ветер лижет ноги лету,  
Трещит кузнечик, словно автомат,  
И небо в облаках, по ветру реющих,  
И в синьке горизонт полудугой,  
И я в сомненьях и противоречьях  
Кручусь.

И это жизнь.  
И нет другой!

## Они и мы...

Несдержанность в словах и чувствах  
Причиной той была как раз,  
Что сплетня в шепотках стоустых  
Стократно распинала нас!

С глазами, где лишь глупость стыла,  
Чужда приличью и стыду,  
На суд облыжный выносила  
То, что не подлежит суду.

Кто виноват — они ли? Мы ли?  
Вопрос не ясен и открыт:  
Мы — в том, что месивом кормили,  
Они — что ели из корыт!

## Тот, кто с утра...

Не знал я вас, увы, совсем не знал,  
Когда однажды встретил и поверил,  
Что ветер мая в душу мне повеял,  
Что звездный свет в далекий путь позвал.

Какие звезды? Что за ветер? Вздор!  
Обидчивость, дешевка мелких ссор,  
Злословье, сплетни, домыслы, укоры  
И никакой для добрых чувств опоры.

Так на кого теперь валить вину?  
Какие для суда искать критерии?  
Тот, кто с утра собрался на войну,  
Считает к ночи раны и потери.

## Матвей Грубиян

### Свеча

Я впрямь на людей не могу обижаться,  
Уж так повелось искони,  
Когда за окном начинается смеркаться,  
Меня зажигают они.

Я таю в подсвечнике, белая свечка,  
Приемля судьбу без обид.  
Встает надо мной золотое сердечко  
И трепетным светом горит.

Меня, прикрывая полою овчины,  
В коровник несут и в сарай,  
И тихо я плачу, не зная кручины,  
Роняя слезу через край.

Тебе не скажу я:

«Чего это ради

Я таять должна до утра?»

Сжигай меня вновь над листками

тетради

Ты, не выпуская пера.

*Перевод с еврейского Якова Козловского*



## Игорь Грудев



И в тишине,  
И в гуле  
Свершается полет.  
Когда есть  
Цель,  
То пуля  
И на излете  
Бьет!..

## Андрей Дементьев

### Торжокские золотошвеи

Смотрела крепостная мастерица  
на вышитую родину свою...  
То ль серебро,  
то ль золото искрится,  
то ли струятся слезы по шитью.

И лишь ночами вспоминала грустно,  
как бьется лебедь в лапах у орла.  
Откуда же пришло твое искусство?  
Чьим колдовством помечена игла?

А было так —  
проснувшись на печи,  
крестьянка вдруг почувствовала солнце,  
когда сквозь потемневшее оконце  
пробились к ней весенние лучи.

Как нити золотые —  
всю избу  
они прошли радостным узором.  
Она смотрела воскрешенным взором  
и утро принимала за судьбу.

Все в ней дрожало,  
волновалось,  
млело.

И белый свет — как россыпи огней.  
Она к оконцу оглушенно села...  
И вот тогда пришло искусство к ней.

Пришло от солнца,  
от надежд,  
оттуда,  
где ничего нет ближе красоты.  
Она в иголку вдела это чудо,  
ниспосланное небом с высоты.

И не было чудеснее товара  
на ярмарках заморских,  
чем ее.  
Она надежду людям вышивала,  
и горе, и отчаянье свое.

Что видела — на шелк переносила.  
И много лет еще пройдет,  
пока  
свободной птицей спустится Россия  
на синие  
счастливые шелка.

## Олег Дмитриев

### Стихи, написанные в мастерской художника

*А. Ефремову*

Ты возьми побелее бумагу,  
Карандаш поострей заточи,  
И меня нарисуй, бедолагу,  
Одинок бредущим в ночи.  
Чтобы высились темные зданья,  
Чтоб, открыто сочувствуя мне,  
Черный клен, как само состраданье,  
Заметался на белой стене.  
Чтоб на фоне старинных фасадов  
Я шагал, выбиваясь из сил,  
Чтоб лицо от дождя и от взглядов  
Воротник на три четверти скрыл.  
Рассеки параллельно и жестко  
Серым ливнем меня и дома,—

Пусть вдали, за углом перекрестка  
Ощутимо сгущается тьма.  
Нарисуй, нарисуй по заказу,  
Как душа подсказала моя!  
Чтобы все мне увиделось сразу —  
Ночь, Москва, одиночество, я...  
Чтоб смотрел я, задумавшись снова  
Над фигуркой, спешащей во тьму,  
Над судьбою гуляки ночного —  
Чтобы знал, как несладко ему.  
А потом я почую  
Свободу  
В испещренном тобою листке  
И пойду сквозь летящую воду  
По пустынной Москве налегке...

## Вечера в Галиче

В старом Галиче я часами  
Мог просиживать над водой —  
Над нетрезвыми голосами,  
Над вечернею суетой.  
Не до этого, значит, было —  
Я глядел с крутизны холма,  
Как все плыло куда-то, плыло:  
Лодки, церкви, сады, дома...  
Шли моторки по белой глади —  
Звук приклеивался к воде,  
И огни в городском посаде  
Загорались уже кой-где.  
Чудо-озеро простиралось,  
Свет тускнеющий берегло.  
А пространство вокруг  
Стиралось.  
Затуманивалось,  
Текло.  
Только виделся в отдаленье,  
В заозерье, средь легкой мглы,

Храм разрушенный  
«Умиление» —  
Точно странные две скалы.  
Что я думал — двадцатилетний  
Над водою — в который раз  
В будоражащий вечер летний,  
Одиночеством не томясь?  
Не печалюсь совсем о славе,  
Не мечтая, как ни смешно,  
О какой-нибудь там забаве,  
Вроде танцев или кино?  
Еле слышался шум мотора,  
Мошкара вилась, мельтеша,—  
Для спокойствия и простора  
Созревала моя душа,  
Что-то большее постигая,  
Чем запахнутый оком —  
Пренебрегшая пустяками  
В совершенствованье своем!

## Узкоколейка

Узкоколейная дорога  
Уходит в голубые мхи.

Мне не хватало так немного,  
Какой-то, право, чепухи...

И стало все в душе на место,  
Когда, как рыжая змея,  
В какие дали — неизвестно,  
Пошла налево колея...

Душа, ты этого хотела,  
Душа, ты этого ждала,  
Чтоб сталь безжизненно желтела  
И нависала полумгла?

Как просто все соединилось —  
Рассвет, земля и жизнь моя!

Ну, словно в детстве мне приснилось:  
Ненастье, тундра, колея...

Я долго шел от поворота  
В начале пасмурного дня,  
Счастливый и смешной,  
И кто-то  
Как будто спрашивал меня:

— Какой же смысл, в конечном счете,  
Вот так мечтательно брести  
По одряхлевшей жалкой плоти  
Людьми забытого пути?

Неужто в жизни не хватало  
Сырого неба над тобой,  
Да поржавевшего металла,  
Да этой тундры голубой?..

# Евгений Долматовский

## Комсомольские баллады

### Баллада о пионере из города Выксы

Между детством и юностью, в самом начале,  
Ну конечно, задолго до стройки метро,  
Я работал в одном пионерском журнале,  
На заметках оттачивая перо.  
Сам редактор, тогда мне казавшийся старым  
(Он всего-то лет на пять был старше меня),  
В образец нам Кольцова и Зорича ставил,  
И как богу внимала ему ребятня.

На летучке однажды изрек он угрюмо:  
— Настоящей у нас публицистики нет.  
Долматовский, ты должен героя придумать  
Для душевных бесед: он — вопрос, ты — ответ...—  
Признаюсь, оппонента нашел я не скоро,  
Я старался из жизни придумать его  
И копался в каракулях наших деткоров,  
Чтоб из многих составить портрет одного.

Мы назвали его «пионером из Выксы».  
(Выкса где-то под Нижним, в соседстве с Окой.)  
Он — вопрос, я — ответ. Постепенно я свыкся,  
Будто он существует — мальчишка такой.  
А вопросы его становились все резче —  
Понимаете, трудные были года,  
И на многие, дьявольски сложные вещи  
Сам себе я ответить умел не всегда.

Но мальчишке из Выксы ответить я должен,  
А иначе — какой я товарищ и друг.  
Мой ответ ему нужен, как в засуху дождик,  
Как матросу в пучине спасательный круг.  
Если он сомневается, дам ему силу,  
Если он разуверится, веру верну.  
Всё я знаю, о чем бы меня ни спросил он,  
Говорить ему можно лишь правду одну.

А потом я на стройку ушел из журнала,  
Но с мальчишкой из Выксы расстаться не смог.  
Жизнь его по соседству с моей кочевала  
По дорогам, а чаще всего — без дорог.  
Уравнения, в которых не найдены иксы,  
С неизвестным одним, и двумя, и тремя,  
Я обязан решать для мальчишки из Выксы,  
До рассвета шагая и трубкой дымя.

Бесконечный доклад о текущем моменте  
Для него и для вечности делаю я,



Ежедневно нуждаясь в таком оппоненте,  
Познаю беспокойную суть бытия.  
Он, должно быть, седой, тот пытливый мальчишка,  
Столько было эпох, столько лет, столько дней.  
Не опустишь ресницы и не отмолчишься,  
А вопросы его все острее и трудней.

Вероятно, нам поздно планировать встречу,  
Отвечаю за все и на все я отвечаю,  
Только вместе мы выложим тяжесть годов,  
Ты вопросы давай задавай, я готов!

### Баллада о мировом рекорде

Мной не раз уже воспет  
Знаменитый «кукурузник»,  
Самолет военных лет,  
Наш товарищ и союзник.  
Тихоходен был биплан,  
Километра два в минуту,  
Но не раз в Москве пылал  
В честь него огонь салюта.

На него смотреть смешно  
Открывателям Венеры,  
Думал я: давным-давно  
Списан воин из фанеры,  
Но узнал, что есть завод  
(Ну, допустим, мастерская!),  
Где старинный самолет  
И поныне выпускают.

И настал такой момент:  
Чтобы сказку сделать былью,  
Африканский президент  
Закупает эскадрилью.  
У поднявшей флаг страны  
Нынче собственные планы,  
Для которых и нужны  
Эти самые бипланы.

На завод пришел наряд,  
И представить трудновато,  
Что машины полетят  
Тихоходом на экватор.  
Разработайте маршрут —  
Дело срочное сугубо.  
Самолеты поведут  
Парни из аэроклуба.

Ну, ни пуха ни пера!  
Завелись моторы бойко.  
У штурвалов мастера  
В пестрых клетчатых ковбойках.  
День летят, и три летят,  
Как по школьной карте мира.  
Вот внизу, как рафинад,  
Белые дома Алжира.

Здесь привал. Теперь пойдет  
Знаменитая Сахара.  
Продолжаем перелет  
Через пол земного шара.  
Все старшой сообразил,  
Приготовился к атаке:  
Заливается бензин  
В дополнительные баки.

Наши парни взяли старт  
И пошли колонной к югу.  
Вел их вовсе не азарт,—  
Просто верили друг другу,  
Просто был им дан наряд  
И такой маршрут прочерчен.  
А Сахара — это ад,  
Как живые ходят смерчи.

Грохот молний шаровых,  
Как ни странно, в чистом небе,  
Под крылом песчаный вихрь  
Вьется, как верблюжий гребень.  
Лишь пески, пески, пески,  
Золотой муар пустыни...  
Детским книжкам вопреки,  
Нет оазиса в помине.

Значит, надо дотянуть  
До республики зеленой,  
Одолеть злосчастный путь  
Над Сахарой раскаленной.  
Ну, конечно, довели  
Эти хрупкие бипланы  
До назначенной земли,  
До тропической саванны.

Как устали, боже мой!  
Отсыпались суток трое.  
Акт составлен — и домой  
Уплывут мои герои.  
Возвратились на завод  
(А точнее — в мастерскую!),

И депешу через год  
Получили вот такую:  
«Рады известить о том  
Милостивых государей,  
Группой, за один прием  
Пролетевших над Сахарой,  
Что рекордом мировым  
Перелет их признан ныне,  
И положен им диплом  
За победу над пустыней».

В аэроклубе над рекой,  
Где учились парни эти,  
Я про мировой рекорд  
Прочитал в стенной газете.

## Овсей Дриз

### В дороге

Промелькнула река.  
Я спешу зачерпнуть  
Горсть холодной воды  
Из реки,  
Которой уже нет.

Промелькнули тропа, изба.  
Задыхаясь, бегу по тропе,  
Которой уже нет,  
К избе,  
Которой уже нет.

Промелькнула сирень.  
Промелькнула девушка.  
Я ломаю лиловую кисть,  
Которой уже нет,  
И бросаю девушке,  
Которой уже нет.

А поезд все мчится, мчится.  
И... в тоннель.  
И меня уже нет?

*Перевод с еврейского  
Г. Саггира*

### Певчие птицы

Спешили люди — каждый  
со своими заботами.  
А я — нес певчих птиц  
За пазухой.  
Вдруг что-то произошло.  
Перепутались переулки,  
Я забыл, кому я нес  
Моих певчих птиц.  
Стою как громом пораженный  
Посреди улицы.  
Лавина машин  
Несется на меня...  
Но вспыхнуло

Око светофора —  
Стоп!  
И все замерло:  
Человек с приподнятой шляпой,  
Мороженое у губ девочки,  
Спичка, поднесенная к папиросе,  
Букет в руке,  
Слово на устах.  
Остановитесь!  
Дайте вспомнить человеку,  
Кому он несет  
Своих певчих птиц.

*Перевод Г. Саггира*

## Сергей Дрофенко

### Воспоминание о школе

Я проезжал мимо школы моей.  
Чем-то утраченным память смущали  
и тротуар в этот миг освещали  
свет из подъезда и свет фонарей.

Боже, но как бесконечно давно  
все это было — учебники, школа,  
ритм рок-н-рола и ритм баскетбола,  
бедность, трофейные ленты кино.

Нас не тянуло в ту пору к стиху.  
Мы имена вырезали на парте.  
Это потом мне запомнилась в марте  
Трубная площадь в дождливом снегу.

Это впоследствии выдался срок  
споров и мыслей, оставшихся с нами,  
зимних ночей с беспокойными снами,  
первых потерь и рифмованных строк.

Школа не учит счастливой судьбе.  
Преподавания долгие годы  
не укротили тот ветер свободы,  
что постоянно ношу я в себе.

Школа, ты школила сердце мое  
в духе безгрешности и постоянства.  
Я восставал и в ночное пространство  
с женщиной мчался, бросая жильё.

Я проезжал мимо школы моей,  
все забывая преступно и свято.  
Даль моих лет была скомкана, смята.  
Мне оставался лишь свет фонарей.

Он превращался несмело в зарю.  
Где-то на Рижском гремели вагоны.  
Слышишь, за догмы твои, за каноны  
благодарю тебя, благодарю...

### Объяснение

Почему ты мне снишься десятый год?  
Разве были когда-нибудь мы близки?  
Весны с треском ломают на реках лед.  
Зимы снежных широт холодят виски.  
Время движется скоро, а я ему —  
пусть бы даже и думал о том — не враг.  
Почему же ты снишься мне, почему  
входишь в комнату, отодвигая мрак?  
Так однажды, больничный надев халат,  
когда смерть была рядом, явилась ты,  
прошептала, что дело пойдёт на лад,  
и вернулась душа из-за той черты,  
за которой забвение...

Память мне  
возвращает тебя из минувших дней.  
Почему воскресает она во сне?  
Почему ты ночами хозяйка в ней?  
Я любил тебя миг и сто тысяч лет.  
Ветви наших лесов шелестят листвою.  
На забытые письма ответа нет.  
Остается скитанье и образ твой.  
Это он возникает в моих ночах,  
в сновиденьях счастливых из года в год,  
в торопливых, бессвязных моих речах,  
предваряющих утро, рассвет, восход.  
Как от смерти отсроченной, огради  
от корысти и зла, суеты, тщеты.  
...Засыпаю опять на твоей груди.  
Ясно слышу, как в сумерках дышишь ты.

## Юлия Друнина

### О, хмель сорок пятого года!

О, хмель сорок пятого года!  
Безумие первых минут!  
Летит по Европе Свобода —  
Домой каторжане бредут.  
Скелеты в тряпье полосатом,  
С клеймами на тросточках рук,  
Бросаются к русским солдатам:  
«Амиго!», «Майн фрейнд!»,  
«Мой друг!»

И тихо скандирует Буша  
Его полумертвый земляк,  
И жест, потрясающий душу,—  
Ротфронтовский сжатый кулак...

Игрались последние акты —  
Гремел Нюренбергский процесс.  
Жаль, фюрер, под занавес, как-то  
В смерть с черного хода пролез...  
И, жизнь начиная сначала,  
Мы были уверены в том,  
Что черная свастика стала

Всего лишь могильным крестом.  
И тихо скандировал Буша  
Его полумертвый земляк,  
И жест, потрясающий душу,—  
Ротфронтовский сжатый кулак...

Отпели победные горны,  
Далек Нюренбергский процесс.  
И носятся слухи упорно,  
Что будто бы здравствует Борман  
И даже сам Гитлер воскрес...  
Опять за решеткой Свобода,  
И снова полмира в огне.  
Но хмель сорок пятого года  
По-прежнему бродит во мне!  
И тихо скандирует Буша  
Его полумертвый земляк,  
И жест, потрясающий душу,—  
Ротфронтовский сжатый кулак...

### Доброта

Стираются лица и даты,  
Но все ж до последнего дня  
Мне помнить о тех, что когда-то  
Хоть чем-то согрели меня.

Согрели своей плащ-палаткой,  
Иль тихим шутивым словцом,  
Иль чаем на столике шатком,  
Иль попросту добрым лицом.

Как праздник, как счастье, как чудо  
Идет Доброта по земле.  
И я про нее не забуду,  
Как я забываю о зле...



## Александр Жаров

### Большевик

Резкий ветер в день залпа «Авроры»  
Над Невой алым флагом играл.  
Вот когда  
На большие просторы  
Я свой жизненный путь выбирал.  
Нет, не сам,— мне его подсказали,  
Указали издалика  
Те, кому довелось  
На Финляндском вокзале  
Слушать Ленина с броневика.  
Объяснили, что Ленин такой же,  
Как и все мы... Собой невелик...  
Но народу  
Все больше и больше  
Раскрывает глаза... Большевик!  
Он такой же, как все мы. Но чудо  
В том, что нет на земле никого,  
Кто бы был у рабочего люда  
В Революции  
Больше его.

Большевик... Это жгучее имя  
Опалило огнем и меня.  
Словно в сказке,  
Тогда становились большими  
Мы, подростки, почти ребята.  
По крутым, по отвесным ступеням  
Нас и смелую нашу мечту  
Мудрый друг,  
По-отцовски заботливый Ленин  
Посылал, поднимал в высоту...  
По дороге к загаданной цели  
Покорен не один перевал.  
Ленин  
Нам сквозь пургу и метели  
Пробиваться к весне помогал.  
Ленин — пламя надежды весенней.  
Ленин — сердце и разум страны.  
И стою я  
В кругу молодых поколений  
На пороге великой Весны.

## Игорь Жданов



*Товарищам по Нахимовскому училищу*

Я сам себе в глаза смотрю  
И сам себя припоминаю:  
Был снимок сделан к Октябрю,  
А может быть,  
он сделан к Маю.  
На мне матросский воротник,  
На мне погоны и разряды  
Спортивные...  
Как на пикник  
Я разодет,  
как для парада.  
Я столько раз кричал «ура»  
На Красной площади  
с утра!  
Нас матери не берегли,  
Отцов нам заменили деды.  
Отцы в Берлине полегли  
За два квартала до победы.  
Отцы лежали под Москвой,  
Смоленском  
или Сталинградом.  
Но не терзались мы тоской,  
Идя по площади парадом.

Тот год я помню, как вчера:  
За них  
кричали мы «ура».  
Товарищи  
по парусам,  
Друзья по якорным стоянкам,  
По эшелонам  
и лесам,  
Землянкам  
или полустанкам!  
Дела — табак, дела труба,  
Скажи на милость — как  
досадно! —  
Не задалась моя судьба,  
Не получилась  
безоглядной.  
Не приключилось ничего —  
Растаял облак кучевой.  
Мой снимок мало пожелтел,  
Лишь по углам рыжеют пятна,—  
Я сделал все,  
чего хотел.  
Я сделал — и прошусь обратно.

## Анатолий Жигулин



Осень, опять начинается осень.  
Листья плывут, чуть касаясь воды.  
И за деревней на свежем покосе  
Чисто и нежно желтеют скирды.

Град налетел. Налетел и растаял  
Легким туманом в лесной полосе.  
Жалобным криком гусиная стая  
Вдруг всполошила домашних гусей.

Что-то печальное есть в этом часе.  
Сосны вдали зеленей и видней.  
Сколько еще остается в запасе  
Этих прозрачных стремительных дней?

Солнце на миг осветило деревья,  
Мостик, плотину, лозу у пруда.  
Словно мое уходящее время,  
Тихо в затворе струится вода.



Трещит горящая берёста.  
Звенит вдали бензопила.  
И кажется: все в жизни просто  
И нет ни горечи, ни зла.

Нет ни заботы, ни помехи,  
И на душе так хорошо,  
Как на осенней лесосеке —  
Просторно, чисто и свежо.

А если ствол упавший хрустнет,  
То это все не страшно мне —  
Должна же быть хоть капля грусти  
В прозрачной этой тишине.

Ведь рядом с тихой печалью  
О том, что кратка жизнь моя,  
Торжественней, необычайней  
Земная радость бытия.

## Леонид Завальнюк



Вислоухая лошадь телегу кусает седыми губами,  
Серым бантом под грудью завязаны грубо гужи...  
Эту сцену, бывало, я видел годами:  
Каждый сон начинался с нее  
И кончался слезами во ржи.  
Что мне кони и рожь!  
Я металлом болею.  
До свидания, села!  
До свидания, дом над прудом!..  
Но и все ж мне казалось,  
Что шорник в цеху  
Не ремни от трансмиссии чинит, а шлеи  
И что строгальный тихий станок  
Бредит сельским трудом.  
Я вернулся в родные края. Но деревня  
Не узнала меня,  
Мимоходом шепнув: «Отвяжись!..»

Грустно издали я  
Поклонился знакомым деревьям  
И уехал навеки из детства  
На полutorке, древней как жизнь.



К простым словам привержен дух земли.  
Я снова вдохновеньем разомлею,  
На страже став при выходе в аллею,  
Что в солнце обращается вдали.  
Тончайшей нитью связан я с травой,  
С деревьями и древними годами,  
С ушедшим льном,  
С большими городами,  
Которых нет давно, с их памятью живой.  
Рукой души во мраке поводя,  
Ловлю я света легкие поводя,  
И возникает поле-половодье,  
Поросшее травинками дождя.  
Благодарю судьбу за дар небес.  
Тебя, жена, благодарю за волю.  
Да будет вечной радостью и болью  
Прекрасных дней моих  
Необозримый лес!

## Алексей Заурих

### Дневной разговор

С утра вздох-выдох свежеиспеченных  
Медовых караваев на полу...  
Я постоялец, гость. Живу в Печорах.  
За клюквой в лес с хозяином иду.

Подлеском мы бредем, минуем яму,  
болотце, луг, и счастлива душа,  
что разговор не сдуру и не спяну —  
течет он с глазу на глаз, не спеша.

Как рокот роц, как оклик караванов  
(прощай, журавль!), как ход вечерних троп,  
не суетлив старик Иван Иванов,  
и речь его прямая — не взхлеб.

Под мерный ритм шагов своих нескорых  
он думает, он мыслям ход дает,  
тем мыслям человеческим, которых  
не многим в этом мире достает.

Все было, как бывает: клюква, полдень,  
негромкий разговор наедине.  
— Не туз какой, люблю о людях помнить,  
и люди любят помнить обо мне.

Забуду все, но разве позабыться  
краям, где так дышалось высоко,  
где жаркою листвою ольхи, как птица,  
озябшее кормилось озерко!

Здесь крикнул дальний бор трубою медной  
и, в дудки дую, встали камыши.  
Престольный праздник с ярмарочной меной,  
где все — и ум, и блага — для души.

явился мне прообраз твой,  
и счастье  
зажглось в груди, когда средь бела дня  
все тот же добрый ворот соучастья  
своим крылом задел во мне меня.

И вновь встает, как тень лесного духа,  
попутчик, дед, седая голова,  
и вновь звучат надтреснуто и глухо,  
как гул грозы, тревожные слова;

«Ты помни час, не спи, ты в карауле,  
трудись не понарошке, не зазря».  
И буквы мои друг к дружке льнули,  
как зерна в колоске, дыша, горя...



## Николай Зиновьев



Предчувствий тысячи у чувств,  
как ночью — желтых светофоров.  
И я с тобою в эту пору  
у них предчувствию учусь.

Еще в ответах ты вольна,  
еще я не познал мученья,  
еще стихи как тишина,  
а в гуле чувств лишь воплощенье.

Еще Столешников закрыт,  
еще есть мудрость не влюбиться,  
но есть уже, уже щемит  
слепого сердца любопытство.

Предчувствий тысячи у чувств...  
А у тебя две репетиции...  
— Сегодня выпасться хочу,—  
ты говоришь, чтобы проститься.

И таешь медленно в дверях  
в огромном доме на Каретном...  
Я не люблю еще тебя,  
а лишь предчувствую, наверно...

Иду домой я без конца  
В молчанье утреннем и смутном...  
...Снежинки около лица  
тобою пахнут неотступно...

И солнце красное встает,  
его без шапки я встречаю...  
Пусть будет утро без печали,  
пусть снег всегда вот так идет...

И самым ранним телефоном  
тревожа сны твои с утра,  
пусть буду чувствовать сегодня  
все, что предчувствовал вчера.

## Натан Злотников



Вторая декада июля,  
Застава за Курским, обоз  
Померкли в размеренном гуле  
Дождя и холодных колес.

Не сила любви и привычки  
Тянула на Курский вокзал,  
А замкнутый мир электрички,  
Который меня окружал.

Вот узкое небо вагона,  
И желтая эта скамья,  
И дождь, отходящий наклонно,  
Блещающий, как колея.

Вот лица людей, и поклажа,  
И общий для всех разговор.  
Вот девушка, девочка даже,  
И взгляд ее долгий в упор.

В иное войдя расписание,  
Я жил уже не торопясь.  
Смеркалось. И шло угасанье  
Природы. Но, чувствуя связь

Со всем этим днем, уходящим,  
Как поезд, из города вон,  
Я мыслил себя в настоящем,  
Забыв протяженность времен.

Когда ж до окна долетала  
Травинка, дрожало окно.  
Не сила любви и металла  
Несла нас, а время одно!

И твой огонек на террасе,  
На улочке Полевой  
Был точкой срединною в трассе,  
Прочерченной мыслью живой.

## Часы

Волнует не вечная кладка,  
А прошлого века уют,  
Дома на Арбате, где сладко  
Часы заводные поют.

И прошлого века пружины  
Питают надежно завод,  
Чтоб черные стрелки кружили  
И двигалось время вперед.

Колесики, гири — все части  
Гармонии полны, точны.  
А что, если нынешней страсти  
Минуты уже сочтены?

И, прежде чем рухнут строенья  
Не новой Москвы, но родной,  
Часы обозначат мгновенье,  
Когда ты не будешь со мной?

И что же часы? Неужели  
В тот миг не померкнет их медь  
И гири, как прежде летели  
Замедленно, будут лететь?

И всех твоих слов круговертью  
Мир скрутит. И станет темно...  
А впрочем, что будет за смертью,  
О том рассказать не дано.

# Александр Исполюнов

## Поэзия

В своих песнях скальды неохотно пользовались словом «поэзия», заменяя его метафорой «мед великанов».

Поэзия — мед великанов,  
Ни с чем не сравнимый мед.  
И это веселое племя  
Его с наслаждением пьет.

Но если какой-нибудь карлик  
От зависти или со зла,  
На длинные встав ходули,  
Взберется на край стола

И несколько пролитых капель  
С огромных досок слизнет,  
То удивленно скажет:  
— Он горек. Да это не мед!

Но думать будет недолго:  
Его через миг убьет  
Целебный для великанов —  
Смертельный для карликов мед.

## Унгерн

Злобное, желтое солнце жжет...  
Нет ни зелени, ни синевы...  
Желтая вера, желтый народ,  
Желтый запах желтой травы...

Справа Ирб, слева Хара-Гол...  
Вихрь оскаленных конских морд...  
Немец из Риги — белый монгол  
Встал во главе азиатских орд.

Вот он вносит с собою в храм  
Запах пороха и коней...  
Длинная цоба монгольских лам  
И золотые погоны на ней.

Где-то на свете кровь и стрельба.  
Здесь — тишина и фигуры будд:  
В полузакрытых глазах — судьба,  
Вечность в улыбке бронзовых губ.

Память и здесь его догнала.  
В памяти пепел со снегом седым,

Села в кострах и смрадная мгла,  
Ноги повешенных перед ним...

Вышел. И снова топот копыт...  
Ратный поход как дикий набег...  
Желтая глина степей хранит  
Десять тысяч пятьсот человек.

В глубь пустыни — последний бросок...  
Влево — Орхон, направо — Урга...  
К небу взлетает желтый песок...  
И от погони спасла Селенга.

Нет, не спасла — настигнуты вновь,  
Окружены среди желтых гор.  
Значит, навек смешается кровь  
С горькой водой соленых озер.

В Новосибирске ревтрибунал —  
Скорый конец обреченной борьбы.  
Вечность застыла — кругла и темна  
В дулах винтовок — глазах судьбы.

## Римма Казакова



Дари мне цветы распрекрасные,  
поштучно и оптом дари,—  
лиловые, желтые, красные,  
пахучие изнутри.

Дари мне билеты на зрелища,  
пирожные, торты, духи,  
вокзалы, встревоженно дремлющие,  
воздушные ямы, стихи.

Дари! Это все мне запомнится  
и даже сгодится, видать.  
Мне нужно тобою заполниться,  
вещественная благодать.

Дари, не горюй! Не отвергнуто  
все то, что тебе по плечу.  
Ведь я и сама, откровенно-то,  
себя понимать не хочу.



Пока еще не врем  
запутанно и грубо,  
давай с тобой умрем  
хотя бы друг для друга.

Пока еще не ложь —  
фантазия, не боле,—  
пока еще на грош  
не накопилось боли,

пока еще глаза  
беспомощно медовы,  
пока еще нельзя  
на свете без Мадонны,

пока еще, как гость,  
ты добр и осторожен,  
пока еще поврозь,  
хоть как-нибудь, да сможем...

## Владимир Карпеко



За все прекрасное земное,  
За мир, в котором я дышу,—  
Не только гениям, героям  
Я благодарность приношу.

Вам — безымянным, неизвестным,  
Чья не отмечена судьба,  
Вам, кто в своем безвестье честно  
Ковал металл, растил хлеба,—

За вашу мудрую работу  
Примите мой поклон земной...

И я тружусь, чтоб вспомнил кто-то  
Добром  
сработанное мной.

## **Алексей Кафанов**



— О чем ты? — Да так, ни о чем.  
Задумался просто немного.  
В косяк упираясь плечом,  
Смотрю, как пылится дорога.

— Куда ты? — Да так, никуда.  
Размять онемевшие ноги.—  
Протяжно гудят провода  
На белых столбах у дороги.

— Когда же вернешься, браток?  
— И сам-то не знаю, ей-богу.  
Ведь столько на свете дорог —  
Найду ли обратно дорогу?

## **Инна Кашежева**



Когда бы мил мне был верлибр,  
все было бы совсем иначе,  
но ямб опять решать велит  
свои старинные задачи.  
Смотрю в окно, там беспредельна  
зима, и белый снег валит...  
Я понимаю, что верлибр  
и есть закон его паденья.  
Поэма белая длинна,  
и все-таки в избе упрямо  
строфою пушкинского ямба  
сияет мне квадрат окна.



Не плачь, моя осень, так надо, так проще.  
Ты слышишь, уже топорами по роще  
Стучат злые зубы зимы.  
Не мы виноваты, не мы.

Прощай, моя осень, ошибся Саврасов.  
Не нам осуждать всех невинно совравших.  
Давно улетели грачи.  
А ты промолчи, промолчи.

Смирись, моя осень, спрячь душу нагую:  
Ты вдруг ошибешься, случайно налгу я,  
И кто-то, простившись, простит  
Нам горечь невольных обид.

Прости, моя осень, круженье снежинкам,  
Что пишет мороз приговор нам с нажимом  
На свитках летящей пурги.  
Прими все, пойми все, порви.

# Михаил Квливидзе

## Песня

*Л. К.*

Я, как гроза, угрюм. А ты — горда,  
как город, превзошедший города  
красой и славой, светом и стеклом.  
И вряд ли ты займешься пустяком  
души моей... Сегодня, как всегда,  
уходят из Тбилиси поезда.

Уходят годы. Бодрствует беда  
в душе моей, которая тверда  
в своей привычке узнавать в луне  
твое лицо, ниспосланное мне.  
Но что луне — невзрачная звезда?!..  
Уходят из Тбилиси поезда.

Уходит жизнь — не ведаю куда.  
Ты не умрешь. Ты будешь молода.  
Вовеки оставайся весела.  
Труд двух смертей возьму я на себя...  
О, не грусти в час сумерек, когда  
уходят из Тбилиси поезда.

*Перевод с грузинского Б. Ахмадулиной*



Ушел отец. Распалась с прошлым связь.  
Прощальным взглядом обнял он детей...  
Ушла и мать. И нить оборвалась  
меж отчим домом и душой моей...

Ушли другие. Поглотила мгла,  
и нет следов на снежной целине...  
Дорогой, по которой Ты ушла,  
пришло теперь Отчаянье ко мне.

*Перевод М. Лисянского*

# Семен Кирсанов

## Больничная тетрадь

### Сон во сне

#### 1

Кричал я всю ночь.  
Никто не услышал,  
никто не пришел.  
И я умер.

#### 2

Я умер.  
Никто не услышал,  
никто не пришел.  
И кричал я всю ночь.

#### 3

— Я умер! —  
кричал я всю ночь.  
Никто не услышал,  
никто не пришел.

### Бог боли

Боль больше чем бог.  
Бог не любовь, а боль.  
Боль, создающая боль  
и воздвигающая боль на боль.

Боль бо́лей — бог богов.  
Боль простит.  
Боль подаст.  
Боль — судья.

Боль — божество божеств.  
Ему, качаясь, болишься,  
держась за болову,  
шепча болитвы:  
— Боже боли!  
Или или ламá савахфани?  
(На кого ты оставил мя, Госпиталь?)

Да свершится боля Твоя.

### Соседняя койка

Забывается все,  
забывается.  
Мозг шумит о пропаже и краже.  
Забывается даже,  
как гвоздь забивается.  
Забывается,  
где и когда?  
И как мышь от кота  
в уголок забивается.  
И как пылью  
часов механизм забивается.  
Забывается,  
с кем и при ком?  
И как стонущий вол  
мясником забивается,  
для жаркѣх и приправ.  
Забывается всё —  
и, к подушке приправ,  
умирающий сном забивается.





## Никударики

Время тянется и тянется,  
люди смерти не хотят,  
с тихим смехом:  
— Навсегданыца! —  
никударики летят.

Не висят на ветке яблоки —  
яблонь нет,  
и веток нет,  
нет ни Азии,  
ни Африки,  
ни молекул,  
ни планет.

Нет ни солнышка,  
ни облака,  
ни снежинок,  
ни травы,  
ни холодного,  
ни теплого,  
ни измены,  
ни любви.

Нет прямого,  
нет треуголого,  
нет дыханья,  
нет лица,  
нет квадратного,  
нет круглого,  
нет начала,  
нет конца.

Ни разлуки,  
ни прощания,  
ни проступка,  
ни суда,  
ни смешного,  
ни печального,  
ни «откуда»,  
ни «куда».

Никударики,  
куда же вы?  
Мне за вами?  
В облака?  
Усмехаются:  
— Пока живи,  
пока есть еще «пока».

## Осень

Уже светает поздно,  
холодноват рассвет,  
уже сентябрь  
опознан  
в желтеющей листве.

Не молят о пощаде,  
дрожа перед судьбой,  
а шепчутся:  
«Прощайте» —  
цветы между собой.

## Зима

Хоть бы эту зиму выжить,  
пережить хоть бы год,  
под наркозом,  
что ли, выждать  
свист и вой непогод,

а очнуться  
в первых грозах,  
первых яблонь дыму,  
в первых присланных мимозах  
из совхоза в Крыму.

И в саду, который за год  
выше вырос, опять  
у куста,  
еще без ягод,  
постоять, подышать.

А когда замрут навеки  
оба бьющихся виска,  
пусть положат мне  
на веки  
два смородинных листка.

## Андрей Кленов

### Бештау

Где пасмурный Бешту, пустынный величавый,  
Аулов и полей властитель пятиглавый,  
Был новый для меня Парнас.

*Пушкин*

Днем и ночью на свету —  
у него своя планида —  
Пушкина Парнас Бешту,  
Лермонтова пирамида.

Два престола золотых.  
Две божественных свирели.  
И по-царски на двоих  
два убийства, две дуэли.

Но нельзя убить любви,  
и окрай дороги торной

встал Бештау на крови,  
словно храм нерукотворный.

Кафедральный храм стиха,  
где не верят ямбы небу  
и органные меха  
только правде правят требу.

Над Бештау нимб с утра,  
ночью блеск зарниц мгновенный.  
Пятиглавая гора —  
Наш Олимп благословенный.

### На Чегете

Здесь, на Чегетском кругозоре,  
опасностям наперекор,  
вплываю в небо, словно в море,  
и вижу волны — гребни гор.  
Долина вложена в долину,  
гора приставлена к горе.  
Скажи, какому исполниту  
считать шары в такой игре?

От водопадов гложут уши,  
звенит в ушах от тишины.  
Не здесь ли обитают души  
кавказцев, павших в дни войны?  
Припала к руслу камнесброса  
сосна, закрученная в жгут,  
и ровно по стальному тросу  
цветные стульчики бегут.

### Опять сирень

Опять промокшая сирень,  
как в пору первого везенья,  
мне мысли сбילה набекрень  
и изменила угол зренья.  
Иду, как гончая, на след,  
давно засыпанный лавиной,  
искать твои шестнадцать лет,  
мои шестнадцать с половиной.  
Я жду тебя. Ты мне нужна.  
Ты после сна. Ты мне нужнее  
всего на свете. Ты нежна.  
Ты всех своих подруг нежнее.  
Закаты плавятся в окне,  
Теряют голос колокольца.

И в полудреме, в полусне  
луна роняет в воду кольца.  
И я опять тебя леплю  
из слов и глины. И немею.  
И все отчаянней люблю.  
И о любви сказать не смею.  
И мысли сбились набекрень.  
И где-то бродит ливень гулкий.  
Промокла блеклая сирень,  
и вспоминают переулки  
о том, как раннею весной  
друг к другу двух птенцов

прибило...

Но, может, это не со мной  
и не с тобою это было?

## Игорь Кобзев

### «Святой колодец»

Не беда, а полбеда,  
Коль деревня — без деревьев,  
Тяжелей, когда в деревне  
Нету собственной воды.

Вся вода лишь та, что с неба:  
Либо дождик, либо снег,  
Даже щи зимой из снега,  
Квас из снега. Смех и грех.

Глубоки ключи под почвой,  
Не достанешь без сверла.  
Летом воду возят в бочках  
Из соседнего села.

В той деревне год за годом  
Жил трудяга старичок,  
Торговал на рынке медом,  
Деньги прятал в сундучок.

И, поскольку был с талантом,  
Торговал не с кондачка,  
Прозывали «Спекулянтом»  
Разбитного старичка.

Тот старик, такой затейник,  
В бабьей вязанке ходил,  
На показ не тратил денег,  
С хмелем дружбу не водил.

А когда уж без движенья  
Под иконами лежал,  
Землякам все сбереженья  
На колодец завещал.

Были б деньги — все найдется:  
Трубы, сверла, мастера! —  
И раздался над колодцем  
Звон железного ведра!..

Сколько радости в народе!  
До чего вода сладка!  
И слывет «святым» колодец:  
В честь трудяги старичка.

До сих пор молва хранится,  
Дескать, нет воды щедрей:  
Стоит досыта напиться —  
Сразу станешь здоровей.

Если ж вдруг любовь изменит,  
Лишь умойся той водой —  
Снова милый друг оценит,  
Задивится красотой!..

А когда жара измучит,  
Зачерпни полней ведро! —  
Та вода тебя научит  
Делать ближнему добро!..

### Сирота

Маленьким мальчишкам и девчонкам  
Незнакома взрослая беда,  
Лишь один на улице мальчонка  
С ней знаком, поскольку — сирота.

В играх этот мальчик не смеется.  
С папой не гуляет никогда.  
Для него — как будто нету солнца.  
Что же тут поделаться? Сирота.

Как бы жил мальчонка, я не знаю,  
Если б не был он со всех сторон,  
Как дубками яблонька лесная,  
Крепкою оградой защищен.

Пусть его попробует обидит  
Злой драчун — сам попадет в беду:

Десять дней на улицу не выйдет —  
Бьют ремнем: «Не трогай сироту!»

Ни игрушкой, ни своей удачей  
Сироту поддразнивать нельзя!  
Уезжая с папами на дачи,  
Сироту с собой зовут друзья!..

Я сказал бы, что счастливым детям,  
Беззаботным баловням судьбы,  
Может быть, за целый век не встретить  
Вот такой сочувственной любви.

И пока такое в жизни будет,  
За печаль, что я в глазах ловлю,  
Верьте, замечательные люди,  
Никогда я вас не разлюблю.

# Дмитрий Ковалев

## Смерть и жизнь

Марь сахалинская на склоне лета.  
...Идет, идет из океана кета —  
в речную узость входит океан,  
от брачных плясок рыбьих дик и пьян.  
Какое рыб несметное скопление!  
Какое солнечное исступленье!  
Как будто ветренный простор до взрыва

сжат.

Как весело на гибель все спешат!..  
Как влажно и как радужно лоснятся,  
выпрыгивая из воды...  
Как будто снятся.  
Исходят нежностью, пронзая зыбь.  
И по быстринам искрометна сыпь.  
Не опоздать бы только на веселье!  
Рожденья рай в последнем новоселье.  
Не ради смерти смерть.  
Не для игры  
играют так...

Дно желто от икры.  
Уже из спин, из ран одних речушка вся.  
Добраться бы, рождение неся.  
Они забыли все, родить желая.  
Вот бьет из-под камней вода живая.  
Хоть как здесь пусть бочаги ни мелки —  
Из недр песчаных выплывут мальки  
и скатятся. Умчит их быстрина.  
И мир весь — им родная сторона.  
А нам?.. А мы?.. Мы знаем и заранее.  
Нет, не инстинкт ведет нас, а сознание.  
На смерть во имя жизни — мы вольнее.  
И нам она страшнее и больнее.  
Инстинкт нас не толкал, а только сковывал —  
но шли под танк, на амбразуру мы,  
рисковые,  
и подымались над собой ответственно —  
и это от природы все естественно.  
И потому смотрю с благоговением —  
осознанно горжусь безумным рвением.



Извивом вопьезся  
оленя тропа  
Меж скал  
в торфяные пласты.  
Германские  
будут смотреть черепа  
Мраком глазниц  
пустых.  
Будет стоять  
обелиск на скалах  
Сонм  
безымянных имен.  
Рассудит потомок,  
идя по земле,  
Как дикость,  
спокойно умен  
Осудят живые  
их ненависть, смерть.  
Вражду пресекут  
меж собой.  
Но страшно даже  
подумать смель,  
Что могут забыть этот бой.

## Длинные рубли

Как часто слышу:

— Длинные рубли...—

О, эти прошлого верблюжьи выюки...

Здесь слабодушных вьюги погребли.

А воля сильных побеждает вьюги.

Душою человек в железо врос.

Несет на вышке вахту, нервно зорок.

Двенадцать баллов дует, и мороз,

звереющий на высоте, за сорок.

Расчетливым, холодным из земли

тепла не взять,

не дать другим так щедро...

Здесь благородства золотые недра.

Какие ж это длинные рубли?..

Здесь подхалимство не вползет, как уж.

В глубины баз путь проще и короче.

Полярную проламывают глушь,

не кущи райские себе уроча.

Сюда с трудом доходят корабли.

Здесь у немилости не просят милость.

Кто поднажиться шел —

те тут же смылись.

Какие ж это длинные рубли?

Лопатой самородков не гребли.

Слаба у тех, кто сам не нюхал, гайка.

Потомки скорбной памяти Клондайка,

какие ж это длинные рубли?..



## Кирилл Ковальджи

### Путь к Новгороду

В предвечерней сумеречной дреме  
Полукругом вытянулся луг,  
Чтоб шоссе легло стрелой на лук,  
Метя в небо на косом подъеме,  
Там, в лесном проеме,— медный круг,  
Тусклый жар стоит на окоме.

Лес хранит преданья и года,  
Где варяг за каждою корягой.  
Травяной, земной, набрякший влагой  
Вечер прибывает, как вода,  
К облакам, сбежавшимся ватагой,  
Гнутым, как дубовые суда  
Или как ковши с медовой брагой.

По бокам извечной колеи  
Дуновенье легкого дурмана:  
Бор, кусты и темная поляна,  
И мазки ленивого тумана —  
Полосы воздушной кисеи  
От фаты Царевны Несмеяны  
Или от платка ворожеи.

Новгород мы в Ильмень опрокинем,  
Берегом разделим пополам.  
Поклонившись окнам, куполам,  
От себя вовек не отодвинем  
Синий город в небе темно-синем  
В голубом свечении реклам.

## Яков Козловский

### Фаддей Булгарин

Либералом слыл Фаддей Булгарин,  
Но отрекся от своих румян  
В тот же год,

как выдал государю  
Декабристов ротный капитан.

Вот перо он заточил и снова  
Сел к столу, усердием горя.  
Ценят верноподданное слово  
В Третьем отделении не зря.

Боже правый,  
лучше бы Фаддея  
Охватила страсть прелюбодея  
И к зазнобам, что ему милы,  
Мчался бы сквозь снежные заносы,  
А в ночи не сочинял доносы  
Он — редактор «Северной пчелы».

Выглянул в окно.  
Деревья будто  
Тени черных виселиц пяти.

Ведомо ему, что после бунта  
Особливо преданность в чести.

Полон об отечестве заботы,  
Вспоминает М<sup>а</sup>йбороду он:  
Капитан недаром из пехоты  
В лейб-гвардейский полк переведен.

Треск свечей и сладок и угарен,  
Отложил перо Фаддей Булгарин,  
Но уже отмерены шаги:  
Это время,

делая карьеру,  
Требует Булгарина к барьеру,  
Он и время — кровные враги.

Не спастись ему ни в коем  
разе,  
Скоро в кресло упадет без  
сил,

Услыхав, что пулю на  
Кавказе  
Майборода в лоб себе пустил.

### В духане

Разливается в духане,  
Где сидим мы у окна,  
Хлеба теплого дыханье  
И холодного вина.

За окном белы все вишни  
Рядом с желтым фонарем,  
Или май в горах всевышний  
Перепутал с февралем?

Старый трезвенник духанщик  
Подает,  
забыв покой,  
Гостю каждому стаканчик  
Волосатую рукой.

Вход сюда заказан козням,  
Здесь из трубок вьется дым,  
И стоят тарелки с козьим  
Белым сыром молодым.

Месяц светит, как лампада,  
И пылает на столе

Дар шипучий винограда  
В затуманенном стекле.

Парню пьяному духанщик  
Говорит:

— Поди сосни!  
Ты ни капли больше, мальчик,  
Не получишь! Ни, ни, ни!

И венчают руки  
толстый,  
Схожий с бочкою живот.  
А вокруг грохочут тосты,  
И — бездельник, кто не пьет!

Облетает одуванчик  
Или снег летит в окно?  
Я не знаю,  
а духанщик  
Подливает нам вино.

И беседы слог не пресен,  
И стаканы вновь полны,  
И напьемся мы до песен,  
И простимся не пьяны.

## Евгений Константинов



Возьми меня, юность, в свою страну,  
В свои берега — золотые, безбрежные...  
Трактор мне дай и девчонку одну —  
Чистую,  
        словно солнышко вешнее.  
Чтоб в небе лучи — это косы ее.  
Борозды свежие — тоже косы.  
Пусть каждый кузнечик степной кует  
Наши секунды в наших покосах,  
Пусть каждая звездочка светит нам,  
Каждая крошечная росинка,  
И пусть замирает по вечерам  
Вместе с нами наша осинка...  
А утром — бунтующий яркий рассвет  
Размахом в полнеба,  
        никак не меньше!  
И сочно-зеленый по травам след  
Там, где прошел мой усталый сменщик...



## Н. Коржавин

### Новоселье

В снегу деревня. Холм в снегу.  
Дворы разбросаны по склону...  
Вот что за окнами балкона,  
Проснувшись,  
        видеть я могу.

Как будто это на холсте!  
Но это все на самом деле.  
Хоть здесь Москва, и я — в постели,  
В своей квартире, как в мечте.

Давно мне грезился покой.  
Но все же видеть это — странно.  
Хоть в окнах комнаты другой  
Одни коробки, плиты, кирпичи.

Индустриальность, кутерьма.  
Чертеж от края и до края...  
А здесь глубинка, тишь сплошная,  
Как в древней сказке. Русь... Зима.

Вся жизнь моя была хмельна  
Борьбой с устойчивостью древней,  
И нате ж — рад, что здесь деревня,  
Что мне в окно она видна.

И рад, что снег на крышах бел,  
Что все просторно, цельно, живо...  
Как будто расчертить красиво  
Всю землю — я не сам хотел.

К чему раскаянье ума?  
Чертеж — разумная идея.  
Я знаю: строить с ним быстрее,  
А всем, как мне, нужны дома.

Но вот смотрю на холм в снегу,  
Забыв о пользе, как о прозе,  
И с тем, что здесь пройдет бульдозер,  
Стыдясь — смириться не могу.







Что я просил бы у жизни,  
Если б ты стала здоровой?  
Я попросил бы у жизни  
Дать нам единое слово.

Что я просил бы у жизни,  
Если б ты страха не знала?  
Я попросил бы у жизни —  
Одно на двоих одеяло.

Что я просил бы у жизни,  
Если бы ты заскучала?

Я попросил бы у жизни  
Нас познакомить сначала.

Что я просил бы у жизни,  
Если б рассталась со мною,—  
Я попросил бы у жизни,  
Чтоб с легкой ушла ты душою.

Что я просил бы у жизни,  
Если б меня ты забыла?  
Я попросил бы у жизни  
Все, что себе ты просила.

## Владимир Костров



В послевоенные года,  
веселой бляхою сверкая,  
по сухопутным городам  
прошла романтика морская.  
Татуировщики в делах  
не знали меры и границы.  
И, как на скалах,  
на телах  
морские поселились птицы.  
И шторм гулял среди лесов,  
и продувал сухие степи,  
и по рукам из-под часов  
струились якорные цепи.  
И полосы морских рубашек  
ребячьи стягивали души,

и лед в корявых погребках  
казался айсбергом на суше.  
Нас была радостная дрожь,  
что девочки вздохнут украдкой,  
когда суконный новый клеш  
вспорхнет над местной  
танцплощадкой.

С тех пор,  
ребячество кляня,  
ругая мастеров иголки,  
врачи или учителя  
не могут вытравить наколки.  
Мелькнула мода и прошла.  
Нас время отмечало странно.  
Но ведь мечта об океане  
тогда действительно была!



Село пересекая и станицу,  
пока метели путь не замели,  
бесшумно улетают за границу  
печальным клином наши журавли.  
Мы эту эмиграцию прощаем,  
из-под руки внимательно глядим,  
перед детьми их честно защищаем,  
«Они весной вернуться»,— говорим.  
Вытягивая шею виновато,  
как будто бы высматривая цель,  
им смотрит вслед  
корявый,

сучковатый,  
колодезный бескрылый журавель.  
Ах, одноногий,  
неподвижность — горе,  
но не сойдешь ты с места никогда.  
И в глубине колодезной, как в горле,  
тоской застынет темная вода.  
У каждого из нас своя граница,  
и каждому придет своя пора.  
Ты в землю врос,  
тебе не измениться.  
Пои людей.  
Дай бог тебе добра.

## Эльмира Котляр

### Чаепитие

Чаепитие —  
событие!  
В чайнике фарфоровом  
чай горячий с норовом.  
Поднял крышку —  
выпустил одышку.  
Чайник к чашечке подходит,  
чайник носиком поводит.  
Чашки не намилуются,  
с блюдами целуются.

Ложечка чайная  
звонит:  
— Я нечаянно! —  
Белый молочник  
горлышко полощет.  
Острые щипчики —  
сахара обидчики:  
хруп-хруп сахарок...  
За столом говорок.

## Анисим Кронгауз

### Мираж

В приресторанном холле за стеклом  
Плыла ты,  
Как в аквариуме рыба.  
И плащ переливался серебром,  
Как чешуя.  
Ты, кажется, курила.

В зеленоватом кубе из стекла,  
Довольная собою и работой,  
Ты, кажется, кого-нибудь ждала,  
«Кого-нибудь» ждала,  
А не «кого-то».

Кого-нибудь...  
Возможно, и меня,  
Спешившего в автобус иностранца,  
Ждала ты,  
С наслаждением дымя,  
Застывшая без робости и страха.

И было откровенно все равно,  
Вокруг кого,  
Как жимолость, обвиться:  
Холодное зеркальное окно  
Не отражало даже любопытства.

Дым выдохнула в сторону мою  
И ногу не убрала:  
«Не заденьте!»  
Манила, усмехаясь:

«Не маню!»  
И так глядела, словно не за деньги.

А я взглянул в глаза твои,  
в глаза твои,  
И захлебнулся серою прохладой  
И ощутил в гортани вкус струи  
Холодной, свежей, чуть солоноватой.

Разрядом промелькнул в моем мозгу,  
Короче чем десятая секунды,  
Мираж,  
Который вспомнить не смогу,  
Но и забыть, пожалуй, будет трудно:

...Как будто жизнь не кончилась моя  
И впереди достаточно досуга,  
Мне предстоят награды бытия  
И эта равнодушная подруга...

Плащ чешуею тело облегал.  
Она осталась за зеркальной дверью  
Неуловима,  
Словно облака,  
Естественна,  
Как рыбы и деревья

Душа мираж прекрасный унесла.  
...Природная естественность изгиба,  
Серебряная с сигаретой рыба  
В зеленоватом кубе из стекла...

## Полночный автобус

Опять селеньем незнакомым  
Автобус заполночь летит.  
Выходит девушка из дома  
И вслед задумчиво глядит.

На пыльных чемоданов груды,  
Что чудом сверху не слетят,  
И на какой-то профиль грубый,  
И на скользнувший беглый взгляд.

В селеньях мы не ночевали,  
Летели в светлой полосе,

Но в полночь девушки стояли  
В любой стране, на всех шоссе.

Весь в рюкзаках и в чемоданах,  
Автобус пылью в них бросал,  
В испуганных, ночных, неожиданных,  
И увозил их, как корсар.

Вот так и дочь моя, должно быть,  
Вскочив с постели, взяв халат,  
Услышав заполночь автобус,  
Уйдет куда глаза глядят.

## Валентин Кузнецов



Живи. Дела свои верши.  
Шагай по тонкой наледи.  
Иди по улицам души,  
По закоулкам памяти.

И все, что жизнью намелось,  
В тебе на миг просветится:  
Зеленые глаза берез  
И — голубые — месяца.

Ты соберешь охапку снов  
И, как листву по осени,  
Снесешь туда, где от ветров  
Заря ребрится в озере.

Ты соберешь охапку снов  
Забудешь боли-хворости.  
И будет словно петушок  
Стоять огонь на хворосте.

И станет пленная вода  
Глядеть на пламя рыжее.  
И, словно аисты, года  
Пройдут над отчей крышею.

Припомнишь:  
Ростом был с вершок,  
На брови шапка сдвинута.  
И захрустит в тебе снежок,  
Из детства кем-то кинутый.

Глухих околиц говорок  
Рассыплется бубенчиком,  
Где в первый раз на твой порог  
Взошла любовь застенчиво.

Услышишь робкие слова,  
Свои слова незрелые...  
И черной ночи голова  
Вдруг станет ночью белою.

## Лисья ночь

Проводов гудящих стая  
В мокром воздухе дрожит.  
А под ними ночь густая  
Черною лисой лежит.

У нее в глазах томится  
Хищной страсти уголек:  
В левом — голубь-голубица,  
В правом — ястреб-ястребок!

В чутких лапах когти дремлют,  
Дремлет пасти лезвиё.

И простукивает землю  
Сердце черное ее.

И по ветру уши вздеты,  
Словно слышит: рассвело,  
На другом конце планеты  
Просыпается село.

И доносится до слуха:  
«Ко-ко-ко» — сто раз подряд...  
На зарю выводит клуха  
целое гнездо цыплят.

## Светлана Кузнецова



Ах, как заврались, как заврались  
Мои надежные враги!  
Черти мне резче, Зауралье,  
У глаз вечерние круги.

От тех кругов глаза поглубже  
И безотказней холода.  
От тех кругов звенят поглуше  
Твои ночные провода.

Я говорю, что не устала,  
Что все как будто ничего,  
Что я доньше не узнала  
Цены веселья своего.

Цены великого запрета,  
Цены оставшейся земли,  
Той, что никем не отогрета,  
Куда обиды завели.

### Песня снежной бабы

Стою, и от холода руки свело.  
Я знаю — и завтра не станет тепло.  
Есть слово, и значит оно — Никогда,—  
О чем же мне петь, кроме снега и льда?  
О чем же мне петь, кроме той белизны,  
Которая дарит вам чистые сны?  
О чем же мне петь, кроме той чистоты,  
Которая с богом и с чертом на «ты»?  
Недаром сама я чиста и бела.  
Недаром я руки покорно свела.

## Татьяна Кузовлева



На белом пространстве,  
на чуде,  
уставшем от тысячи глаз,  
куда-то торопятся люди,  
притворствуя, плача, смеясь.

И женщина в вечном движенье,  
настигнув стремительный миг,  
однажды в немом удивленьи  
поднимет на публику лик.

Поднимет светло и прекрасно  
степного отлива глаза.  
И, этому взгляду подвластна,  
не грянет над лесом гроза.

Звезда затрепещет в смятенье,  
волна не ударит о челн,  
покуда хранить удивленьи  
глубокий зрачок обречен.

И ветер не тронет березы,  
и птица замрет на лету...

Но вырвутся громкие слезы  
у девочки в третьем ряду.

Подросток худой и нескладный,  
не женщина и не дитя,  
какою надеждою жадной  
ее существо осветя,  
какую вселив в нее веру,  
экран расплывался у глаз?  
Но слишком уж несоразмерен  
был с истиной этот соблазн.

И все ж  
повторяя мгновенье,—  
еще безотчетно пока,—  
извечное то удивленьи  
слезою мелькнет у зрачка.

И в детской сутулости странной  
увидится будущий взлет,  
когда повтореньем искусства  
на свет она тихо шагнет.

## Станислав Куняев



Свет полуночи. Пламя костра.  
Птичий крик. Лошадиное ржанье.  
Летний холод. Густая роса.  
Это — первое воспоминанье.

В эту ночь я ночую в ночном.  
Распахнулись миры надо мною.  
Я лежу, окруженный огнем,  
темным воздухом и тишиною.

Где-то лаяли страшные псы,  
а луна заливала округу,  
и хрустели травой жеребцы  
и сверкали и жались друг к другу.



Пора, я насытился югом,  
и зноем, и красным вином,  
пора на свидание к вьюгам,  
пора прикоснуться виском  
к холодному телу березы,  
услышать, как падает лист,  
и ветер, осушающий слезы,  
его нарастающий свист...  
Услышать шуршанье поземки,  
когда она белой струей  
ползет по асфальту в потемки  
и манит меня за собой.



Этот город никак не уснет,  
не приляжет, не уgomонится.  
То на стыках трамвай громят,  
то машина со свистом промчится.  
Этот мир не смиритсЯ никак:  
то и дело несутся из мрака  
и опять исчезают во мрак  
то гитара, то песня, то драка.

Отступает дневная жара,  
но от мыслей о жизни не спится —  
как-нибудь дотянуть до утра,  
как-нибудь до рассвета забыться.  
До мгновенья, когда в небесах  
тонкой лентой сверкнет позолота,  
чтобы высветить в милых чертах  
беззащитное, детское что-то...



Весеннее темное небо.  
Огни. Бормотанье воды.  
Качается нежная верба  
в лучах одинокой звезды.  
И чувство присутствия в мире  
ветвями уходит в весну,  
становится шире и шире,  
теряя свою глубину.



Не торопиться. Растянуть  
тоску о жизни до предела.  
Пускай она раздвинет грудь,  
чтоб вдруг почувствовать: созрела.  
Внезапно появиться там,  
на старой улице — а где же? —  
где воробьев апрельский гам,  
где переплеты темных рам  
все те же... Неужели те же?  
И неожиданно в ответ

услышать грохот ледолома,  
узнать, что человека нет,  
увидеть — не хватает дома.  
Как пьянице пройти, стыдясь  
углов, калиток, огородов,  
и вдруг понять: пропала связь,  
не надо лишних разговоров.  
Иди, не узнанный людьми,  
с сознанием бесполезной воли,  
чтоб неожиданно к любви  
прибавить каплю сладкой боли.

# Григорий Левин

А. Межирову

1

Здесь поколение мое.  
Не отступить назад ни шагу.  
Я с ним одним в могилу лягу.  
Его делю я бытие.  
Его сознание делю,  
Приобретенья и утраты.  
Вторыми более щедр ты,  
Судьба моя. Я чутко сплю.  
Сплю, разве чуть глаза смежив,  
Мне сон приснился нынче ночью.  
Утраты видел я воочью,  
И странно, что остался жив.

2

Погибшие на той войне  
Друзьями мне до гроба были.  
И если их бы вдруг забыли,  
Они б в гробу приснились мне.  
А нынче — что за странный сон,  
Мой друг живой, горяч, бессонен,  
Был сном внезапно похоронен.

Но, слава богу, жив хоть он.  
Внушал мне сон, что кончен путь,  
В отчаянье встречаю день я.  
Благословляю пробужденье —  
Живи, мой друг, и счастлив будь.

3

Возьмемся за руки, друзья,  
Нас не достойно разобщенье.  
Не согревает душу мщенье,  
И мстить самим себе нельзя.  
Давайте вместе вспомним их,  
Что не вернулись,— верных, гордых.  
Обязанные чести мертвых,  
Сплотимся же в кругу живых.  
Пускай не разделяют нас  
Обиды чьи-то и тщеславье.  
Никто из нас забыть не вправе,  
Что чей-нибудь уж близок час.  
Но жизни вечно бытие.  
Здесь поколение мое.

## Начало дня

Начало дня, начало месяца,  
Как много жизни в нем поместится.

Начало месяца и дня,  
Чего ты хочешь от меня?

Рубеж условный, относительный,  
Какой ты все-таки вместительный.

Меж будущим и прошлым ты  
Лежишь, как белые листы.

Как мало сделано пока еще.  
И мне все слышится — «Покаешься!».

Ты мне надежда и оплот,  
Который год. Который год.

## Юрий Левитанский

### Воспоминанье об оранжевых абажурах

В этом городе шел снег  
и светились оранжевые абажуры,  
в каждом окне  
по оранжевому абажуру.  
Я ходил по улицам  
и заглядывал в окна.  
В этот город я вернулся с войны,  
у меня было все впереди,  
не было лишь квартиры,  
комнаты,  
угла,  
крова.  
Снова и снова  
ходил я по улицам  
и заглядывал в окна.  
Под оранжевыми абажурами  
люди пили свой чай  
с послевоенным пайковым хлебом.  
Оранжевые абажуры были моей  
мечтой,  
символом

всей несправедливости мира,  
в котором,  
как мне казалось,  
лишь у меня одного  
не было никакого пристанища,  
комнаты,  
угла,  
крова.  
У меня было все впереди,  
все впереди настолько,  
что я не мог оценить размеров  
своего богатства.  
— Скажите, пожалуйста,—  
спрашивал я,—  
здесь не сдается комната? —  
А в городе шел снег,  
и светились оранжевые абажуры,  
оранжевые тюльпаны  
за тюлевой шторкой метели,  
оранжевая кожура мандаринов  
на новогоднем снегу.

### Сон о забытой роли

Мне снится, что в некоем зале,  
где я не бывал никогда,  
играют какую-то пьесу.  
И я приезжаю туда.

Я знаю, что скоро мой выход.  
Я вверх по ступеням бегу.  
Но как называется пьеса,  
я вспомнить никак не могу.

Меж тем я решительно знаю,  
по прихоти сна моего,  
что я в этой пьесе играю,  
но только не помню кого.

Меж тем я отчетливо помню —  
я занят в одной из ролей.  
Но я этой пьесы не знаю  
и роли не помню своей.

Сейчас я шагну обреченно,  
кулисы раздвинув рукой.

Но я не играл этой роли  
и пьесы не знаю такой.

Там, кажется, ловят кого-то,  
и смута стоит на Руси.  
И кто-то взывает: — Марина,  
помилуй меня и спаси!

И кажется, он самозванец.  
И кто-то торопит коней.  
Но я этой пьесы не знаю  
и даже не слышал о ней.

Не знаю, не слышал, не помню.  
В глаза никогда не видал.  
Ну, разве что в детстве когда-то  
подобное что-то читал.

Ну, разве что в давние годы,  
когда еще школьником был,  
учил я подобное что-то,  
да вскорее, видать, позабыл.

И должен я выйти на сцену  
и весь этот хаос облечь  
в поступки, движенья и жесты,  
в прямую и ясную речь.

Я должен на миг озариться  
и сразу, шагнув за черту,  
какую-то длинную фразу  
легко подхватить на лету.

И сон мой все время на грани,  
на крайнем отрезке пути,

где дальше идти невозможно,  
и все-таки надо идти.

Сейчас я шагну обреченно,  
кулисы раздвинув рукой.  
Но я не играл этой роли  
и пьесы не знаю такой.

Я все еще медлю и медлю,  
но круглый оранжевый свет  
ко мне подступает вплотную,  
и мне уже выхода нет.

## Новый год у Дуная

Камень старинный, башни, мосты, ограды.  
Гостеприимны древние эти грады.

Благословенны тихие эти веси.  
Колокола воскресные в поднебесьи.

Под куполами, золотом, синевою  
я с непокрытой шествую головою.

Колокол, солнце, елка стоит сверкая.  
День новогодний — боже, теплынь какая!

День новогодний, теплый, весенний, синий.  
А в эту пору снег идет над Россией.

Ветер гудит по нашим великим рекам.  
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Что там за снегом — что он, кого он прячет?  
Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет?

Кто там сейчас в лесу над костром колдует,  
дует в огонь, в озябшие руки дует?

Господи, дай им солнца, тепла, капли!  
Дай, чтоб скорее птицы в лесу запели!

Синью наполни очи лесных проталин!..  
К старости, что ли, стал я сентиментален.

Даже не думал, что напишу такое...  
Хрустнула ветка где-то в лесном покое.

Скрипнули сани и затерялись в поле.  
И никуда не деться от этой боли.

Ветер гудит по северным нашим рекам.  
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?



## Дети

Дети, как жители иностранные  
или пришельцы с других планет,  
являются в мир, где предметы странные,  
вещи, которым названья нет.

Еще им в диковину наши нравы.  
И надо выучить все слова.  
А эти звери! А эти травы!  
Ну просто кружится голова.

И вот они ходят, пометки делая  
и выговаривая с трудом:  
— Это что у вас? — Это дерево.  
— А это? — Птица.— А это? — Дом.

Но чем продолжительнее  
их странствие —  
они ведь сюда не на пару дней,—  
они становятся все пристрастнее,  
и нам становится все трудней.

Они ощупывают переборочки.  
Они заглянуть стараются за.  
А мы — их гиды, их переводчики,  
и не надо пыль им пускать в глаза.

Пускай они знают, что — неподдельно,  
а что — только кажется золотым.  
— Это что у вас? — Это дерево.  
— А это? — Небо.— А это? — Дым.



## Андрей Леонидов

Город был сильно разрушен, и матросы брали детей  
на корабли и разрешали кружиться на зенитных  
установках как на каруселях, а фронт в это время  
уходил все дальше на Запад.

*(Из рассказа учительницы)*

### Баллада о каруселях

Меж сентяблями и апрелями  
среди смертей, дорог, побед  
зенитки были каруселями  
для ребятни военных лет.

Заливисто смеялись дети,  
веря, что всегда на свете  
взрослые за них в ответе.  
Но с войны принес им ветер  
горьких писем адреса.  
И на папином портрете  
высохла уже слеза.  
Слезы, слезы...  
Эти слезы  
Обожгли в лесах березы,  
замели их след метели,—  
чтоб кружились карусели!

## Николай Леонтьев



Край родной мы в самом сердце носим,  
Даже если он и вдалеке...  
Вот опять заговорила осень  
На своем цветистом языке.

В эти дни березки и осинки  
Как костры: во славу сентября  
Понадены алые косынки  
И наряды цвета янтаря.

В эти дни, в предвиденье ненастья,  
Приутихнет птичий тарарам,  
Пьяные от сытости и сласти,  
Топчутся медведи по борам.

Им среди ягод сладостно резвиться,  
Муравьев предложит каждый лог.  
Им приснится ягода-брусница  
В темных недрах будущих берлог.

А пока, по-царски хлебосолен,  
Всех гостей задабривает бор  
И, красой отменною фасоня,  
Свой ведет цветистый разговор.

И прохлада в воздухе разлита,  
И вода остужена в реке:  
Говорят, олений царь копыто  
Обмочил в заглавном роднике.

До зимы по радам и по сограм  
Ягод и грибов невпроворот:  
Урожай стоит, никем не собран,  
И никто его не соберет.

По лесам кудесит чудодейка,  
Задаёт банкеты и пиры,—  
Хлебосолка и золотошвейка,  
Мастерица золотой поры.



## Семен Липкин

### Дым

Осенней ночью, в грузовой машине,  
Я ехал по дороге в Белиджи,  
И ни души вокруг, лишь на вершине  
Аульные белели рubeжи.

Не только дым с его строеньем мнимым,  
Но и толпа стволов, и свет реки,  
И камни гор,— все мне казалось дымом  
Природе и рассудку вопреки.

Мне чудились таинственные речи,  
Неясные, но вещие слова,  
И даже контур известковой печи  
Не разрушал наитья колдовства.

Я горца увидал на перевале.  
Был конь его как будто из кремня,  
И девушка стояла в черной шали,  
Как будто между ног его коня.

Машина, повернув, промчалась мимо  
И погрузилась в сумрак с головой.  
Иль были разновидностями дыма  
И девушка, и конь, и верховой?

Какие надо мной гремели громы!  
Но почему же в сердце у меня  
Навек остались всадник незнакомый  
И девушка у ног его коня?

## **Инна Лиснянская**



Сейчас мне тихо и светло,  
От горя тише я и строже.  
Нас одиночество свело,  
И разлучает нас оно же.

Во всем гармония жива,  
Так тщи́лась я ее нарушить,  
Но разлетелись наши души,  
Как эта бедная листва.

Плывут листочки по реке,  
Гляжу на них осиротело,—  
Я небо удержать хотела  
В своей слабеющей руке.

Но видишь — руку мне свело,  
Но чувствуешь — мороз по коже...  
Нас одиночество свело,  
И разлучает нас оно же.



## **Владимир Лифшиц**

### **Памяти Гагарина**

Когда я слышу: не уберегли,—  
Я думаю: неужто в самом деле  
Ему — крылатому — иные бы хотели  
Уже не дать подняться от земли?

Ведь человек — не вещь, не экспонат,  
Музейной покрывающийся пылью.  
Жестоко было б, если он крылат,  
Реликвиями сделать эти крылья.

Как хорошо, что он их не сложил,  
А, благородным движимый азартом,  
Дышал всей грудью, всю жизнь —  
жил,  
Смеясь, любя, готовясь к новым  
стартам.

## Марк Лисянский

### Аплодисменты

*Николаю Сергеевичу Плотникову*

Я люблю театр, в котором  
Начинают жить легенды.  
Ах, как трудно быть актером:  
Каждый день аплодисменты!  
Каждый день, нет, каждый вечер,  
Пережив едва разлуку,  
Вновь идти на эту встречу,  
Вновь идти на эту муку.  
Раздвигаются просторы,  
И другие чайки реют,  
И любимые актеры,  
К сожалению, стареют.  
Театральные афиши,  
Театральные дороги,  
За которыми все тише  
И все далее тревоги!  
Ах, как трудно быть актером,  
Умирать и жить искусно,

Забываться, если горе,  
Улыбаться, если грустно.  
Жизнь свою с чужой судьбою  
Породнить и соизмерить,  
Быть всегда самим собою,  
Моцарт ты или Сальери.  
Надо вровень стать с удачей,  
С ней свыкаясь понемногу.  
В дни, когда вокруг судачат,  
Продолжать свою дорогу.  
Власть над славою имея,  
Не сдаваться ей на милость,  
Чтоб от сладостного хмеля  
Голова не закружилась.  
Чтобы не были укором  
Адреса, венки и ленты.  
Ах, как трудно быть актером:  
Каждый день аплодисменты!

### Щукин

К нам прямо с репетиции  
Приехал в гриме Щукин,  
На улицу Воровского,  
В наш дом — в центральный клуб.  
За проймы за жилетные  
Привычно сунул руки,  
Взглянул — и сразу вспыхнули  
Лучи у глаз и губ.

Он кепку снял знакомую —  
И засиял могуче  
Огромный лоб сократовский  
На весь притихший зал.  
Артист с подмостков низеньких  
Смотрел, как с горной кручи,  
И вдруг, слегка грассируя,  
«Товарищи!» — сказал.

Он галстук свой в горошинку  
Поправил незаметно,  
Он говорил, то радуясь,  
То сдерживая пыл.

Он с первого мгновения  
Достиг черты заветной,  
И оставался Щукиным,  
И Лениным он был.

Мы были вместе с Лениным.  
Мы к жизни причащались.  
На улицу Воровского  
Мы вышли с Ильичем.  
Мы провожали Ленина.  
Со Щукиным прощались.  
Стояли рядом с Лениным,  
Вот так — к плечу плечом.

Грассируя, он вымолвил:  
— Загружен до предела! —  
Махнул нам на прощание  
Рукой... Махнул еще.  
Остановилась улица.  
Вся улица глядела,  
Как шел к машине Ленин,  
Чуть выставив плечо.

## Майя Луговская

### Шторм в Ялте

У гостиницы «Южной» стою не дыша,  
Здесь из двери балконной улетела душа.

У гостиницы «Южной» кто-то задал вопрос.  
— «Луговской» на ремонте,— ответил матрос.—  
Теплоход на ремонте.— И направился в порт.  
Луговской на ремонте? Значит, жив, а не мертв?

Я брожу меж судов. Выхожу на причал.  
Нахожу теплоход. Он на балках стоял.  
Над землею приподнят и над водой.  
Весь в лесах теплоходик стоит «Луговской».

Оглядела причал... Что за страшный развал!  
В девять баллов недавно здесь шторм бушевал.  
Он на пирсе игрался, «пирамиды» круша  
И железобетон, как песок, вороша,  
Животы у «Комет» скоростных потроша.  
Он громады из камня наворотил.  
Мол свалил. А тебя, «Луговской», пощадил.  
В девять баллов по пирсу ударивший шторм  
Не нарушил твоих, теплоходик мой, форм.  
Он красив.

Пахнет краской.

Его собирают «в поход».

На борту и лесах суетится народ.  
Вся команда его — семь чудесных парней.  
Ну, а каждый из них — хоть куда Одиссей.

Он пойдет к Симеизу за Синей весной.  
Как когда-то ходил ты, поэт Луговской...  
С красным флагом на мачте.

Трубою трубя,

Всей повадкой своей повторяя тебя.



По-бабьи ссорюсь, по-мужски мирюсь.  
По-волчьи вою, блею по-козлячьи.  
То скакнуном гарцую на виду,  
То проташусь последней старой клячей.  
По-стариковски ничего не жду,  
По-детски верю в счастье и удачу,  
То кажется — весь мир переверну,  
То думаю, что ничего не значу.

То ото всех упрячусь и уйду,  
То перед всеми суетно маячу,  
То хохочу, узнавши про беду,  
И без причины безутешно плачу.

Какая радость удивлять глупцов.  
На собственную глупость удивляться.  
Самой расставить сети для ловцов,  
Самой попасться в сеть и там остаться.

# Михаил Луконин

## Огни

В глазах твоих тихих — улыбка.  
Прошу тебя снова: взгляни.  
Нетерпеливо и зыбко  
в зрачках пробегают огни.

Трепещут огни негасимо,  
ловлю их живой пересверк.  
Еще улыбаюсь насильно,  
а сам уже сник и померк.  
Смеешься? И смейся.  
Ты рада?

И радуйся.  
Счастлива ты?  
Я все понимаю. Не надо  
стесняться своей правоты.

Я руку твою отпускаю,  
себя самого торопя.  
Сейчас вот, сейчас, отвыкаю...

Огни украшают тебя!

Огни и меня закружили,  
читаю в них участь свою.  
Огни не мои,  
а чужие.

Свои я огни узнаю!  
Свои бы почувствовал тут же,  
нет в памяти схожих огней.  
Не то чтобы лучше иль хуже,  
взволнованней иль холодней.  
Нет,  
просто мои не такие.  
Не так они вспыхнуть должны.  
В глазах твоих  
это другие,  
не мною они зажжены...

И так уж сгорело немало,  
нет места живого во мне.  
Еще бы чего не хватало —  
в чужом задохнуться огне.  
Пусть жжет меня зависть слепая,  
гнетут меня ночи и дни.  
Шепчу я себе, отступая:  
Прощайте, чужие огни!

## Раны

Да, раны зарастают.  
Но растут.  
И не болят,  
пока их не увидишь  
или пока забвеньем их обидишь,  
тогда опять с тобою —  
тут как тут.  
Когда детей в большой семье растят,  
им шьют с запасом,  
чтобы впрок носилось.  
И нам —  
шинели длинные, до пят,

и шрамы тоже  
выдали на вырост.  
Чтоб мы не заблудились в ней,  
война  
на нас зарубки ставила, ты помнишь.  
А чтоб не заблуждались,  
жизнь сама  
свои заметы ставила потом уж.

Вы так и не отпустите меня.  
Вы держите меня,  
как на приколе —  
ранения давнишнего огня,  
ранения послевоенной боли.

## Возраст

Стал лучше видеть далеко,  
стал хуже видеть то, что близко.  
А это очень нелегко  
и в жизни слишком много риска.

Теперь несет, несет меня  
из этих мест  
в края иные,  
и все подробности земные  
туманнее день ото дня.

Заглядываю наперед,  
заглядываю в даль такую,  
что даже оторопь берет.  
А с тем, что есть,  
уже тоскую.

Всё лучше вижу, что вдали,  
Всё хуже вижу то, что рядом.  
Как будто бы мне привезли  
все дальнее  
с доставкой на дом.

Боюсь, что мимо вновь пройду,  
так уже было,  
вспоминаю,  
и не замечу на ходу,  
не отзовусь  
и не признаю.  
Ведь было же не так давно —  
прошел, не замечая, мимо.  
А так теперь необходимо,  
но повториться не дано.

Очки? А что они дают?  
Очки, они не помогают,  
не видят,  
а предполагают,  
не знают,  
а преподают.

Все хуже вижу, что вблизи.  
Все лучше вижу вдаль — все дальше.  
А так не далеко до фальши,  
и я прошу тебя —  
спаси!

## Михаил Львов

### Тюбетейка

Побывал я в Джаркенте, в Чимкенте, в Ташкенте.  
Восседал я в седле,  
на траве, на брезенте.  
Угощали узбеки меня и уйгуры,  
Не щадя ни утробы моей, ни фигуры.  
Брал не вилкою мясо я с блюд — а рукою,  
Не к гитарам — к дутарам я жался щекою.  
Очень древнее что-то во мне пробуждалось,  
Словно песня, рождалось, в общенье нуждалось.  
Пил я майский медовый кумыс в Казахстане,  
Приглашенный на пиршество в родственном стане.  
Говорили казахи со мной по-татарски.  
Я носил тюбетейку, скажу вам, по-царски...  
И, далеким истокам моим потакая,  
Друг сказал: — Вот теперь ты похож на Тукая!

По душе, по нутру похвала мне такая  
(И вдвойне — от тебя, от потомка Абая),

Короную себя тюбетейкой Тукая,  
Чтоб — хоть так, хоть чуть-чуть походить на Тукая.

### Экзюпери

Он не вернулся из полета,  
И нет его теперь нигде —  
Ни самолета, ни пилота,  
Ни на земле, ни на звезде.

Ни обелиска, ни ограды,  
Ни урны грустной, ни плиты,  
Куда б, как поздние награды,  
Носила Франция цветы.

### Наша Атлантида

Мы в Отечественную войну  
Потеряли целую Страну —  
С населеньем миллионов двадцать.  
Тех людей вовеки не дозваться.

Целая Страна Людей пропала!  
Полностью в небытие попала —  
Словно бы под землю провалилась  
От землетрясения войны.  
Чем она, скажите, провинилась?  
Никакой за нею нет вины.

Это как бы наша Атлантида.  
Нет туда ни поезда, ни гида...

Если я задумчивым бываю,  
Если я трагическим бываю,  
Если глаз с фашистов не спускаю,  
Если им обиды не спускаю,  
Если неуступчивым бываю,  
Если с реваншиста спесь сбиваю —  
Значит, я о Ней не забываю,  
Я о той Стране не забываю.



## Алексей Марков



Я вчера с собой покончил,  
А сегодня пожалел.

...Лес обрызган белой ночью,  
Соловей в кустах запел.  
На руке лежишь и дышишь  
Мне медовостью в лицо.  
Месяца все выше, выше  
Обручальное кольцо.  
В шалаше краюха хлеба  
И парное молоко.  
За удачей так нелепо  
Отправляться далеко!  
Сена клочок — моя подушка.  
Провалились ты, маета!  
Осыпается как стружка,  
Как полова клевета...

Ах, какой я дурачина,  
Что себя не поберег.  
А причина — не причина —  
Хитроумный узелок!

Тихо вздрогнули росинки  
На ресницах у жены,  
И озябшие осинки  
Трепетания полны.  
— Ну, проснись! Рука устала,—  
Сам отдернуть не могу.  
Отразилось солнце ало  
На туманном берегу!..

Я вчера с собой покончил,  
А сегодня — пожалел...



## Сергей Марков



Дочь атамана меня звала —  
Вспомнить о жизни былой...  
В сердце ее была Акмолá,  
Она жила Акмолой.  
И я пошел сквозь метельный свет  
К Ишиму, покрытому льдом,  
И нет Акмолы, и Станицы нет,  
Но как уцелел ее дом?

Все тот же крыльца высокий венец  
И дверь на темной цепи.  
И в ставнях — прорези в виде сердец,  
Весь дом — как пикет в степи.

Певучий старый сундук открой,  
Наследье предков достань:  
Георгий — за дело под Чардарой,  
Медаль — за поход в Тянь-Шань.

Мы вспомнили тех, кто оставил след  
На жаркой степной земле.  
Ведь я — современник славных лет  
И свой человек в Акмоле!

## Семиреченский поэт

Как далеко от харчевен и винниц  
Ты поселился! Тревожишься ты.  
Рядом с тобой — захудалый зверинец  
Чахлые тигры урчат, как коты.

Недоставало еще для веселья,  
Чтобы раздался сейсмический гул.

То ль голова трещит от похмелья,  
То ли в печи трещит саксаул.

Через ду валы и буераки  
Не было, нет и не будет пути...  
Падают яблоки, воют собаки.  
Надо с ружьем за водкой идти.

## Белая Тара

Жирный ламá Жамьян-жамцó,  
Погрязший в смертном грехе,  
Всем говорил, что видел в лицо  
Богиню Дарá-ехэ.

Он уверял, что жива она,  
Пришла в Страну антилоп,  
В белую женщину воплощена,  
В руках не лотос, а сноп.

Жамьян похитил алый коралл,  
Воспетый в древнем стихе,  
Тибетскую ткань из музея украл —  
В подарок Дара-ехэ!

Смешав с молитвой низкую лесть,  
Весел и в меру пьян,  
Схватил бумаги целую десть,  
Писал о богине Жамьян.

Зря ликовал Жамьян-жамцо,  
Поглаживая живот!  
Живую богиню я видел в лицо,  
Стоял у ее ворот.

Я знаю, что женщин (даже богинь!)  
Туда, где опасна стезя,—  
В самую глубь нагорных пустынь —  
Одних отпускать нельзя.

Жамьян-жамцо, не обессудь,  
С тобой еще встретимся мы!  
Судьбой мне завещан высокий путь.  
По владеньям вечной зимы.

В оленьих унтáх, в пушистой дохе,  
Сквозь снег и морозный свет  
Белая Тара — Дара-ехэ  
Пойдет за мною в Тибет!

# Леонид Мартынов

## Крест Дидло

Вот он  
Сбросил свой сюртук  
И, в трико,  
Так подскакивает вдруг высоко,  
Будто прямо к небесам вознесло...

Неужели это сам  
Шарль Дидло!

— Да, в Стокгольме родился, крестник муз,  
Сын танцмейстера отца, я француз.  
Малым мальчиком еще шведский двор  
Восхитил я горячо, как танцор.

— Вот ведь, как тебе, малыш, повезло!

— И умчался я в Париж, где росло  
Все прекрасное: Новерр, Доберваль.  
Ряд скандальнейших премьер. Очень жаль,  
Что не видел ты из них ни одной,  
А дышал так каждый штрих новизной,  
Ибо гибель стерегла старый строй,  
Философия была нам сестрой,  
Волновалось все вокруг, вот и нам  
Дерзость ног сходила с рук, плясунам.  
Пантомима! Карнавал! Балаган!  
А когда забушевал ураган  
И низверг переворот короля —  
Танцевали мы, народ веселя!

— Да, немало ты видал перемен!

— Головы мне не отъял Гильотен,  
То есть, собственно, Самсон не отсек,  
И влетел я, окрылен, в новый век.

— В новый век?  
Тебя, Дидло, в новый век  
Далеконько занесло в русский снег.

— Да! О том и разговор. Занесло!  
Залетел на русский двор я, Дидло:  
«Дайте баб мне, мужиков и девиц,  
Дайте коз, овец, волков, вевериц:  
Я в лесу и поле был — дайте мне  
Воплотить, что полюбил в сей стране.  
С Бонапартом совладал ваш народ —  
Горячо я убеждал — ну и вот,  
Пусть все пляшет, все поет, славя вас,  
Пусть похожим на полет будет пляс!»  
«Нет! — читают мне мораль. — Не остра ль



Дервь  
Како  
Люди  
Мыслете  
Нашъ  
Онъ  
Покой  
Рцы

Но учили и старые мудрецы,  
Строя из дерева дворцы:

Рцы  
Слово  
Твердо  
Укъ  
Фертъ  
Херъ  
Отъ  
Цы.

Впрочем «отъ» вычеркнул Петр,  
хоть  
«отъ» с «цы» и составляют  
«отцы».  
Он оставил «онъ» — ипсилон,  
а «отъ» — омегу  
выкинул вон,  
Едучи, кажется, на реку Дон,  
ставить верфь,

Строить флотилью свою,  
Чтоб никакой не пожрал ее червь:

Червь  
Ша  
Ща  
Ерь  
Еры  
Ять  
Э  
Ю  
Я

Видишь? Ять выпала из бытия.  
Так же как дальше кси, и пси,  
и фита  
Тоже попрыгали прочь с листа.  
Да и ижица, наконец —  
Многое — за чертой!

Вот тебе книжек прасмысл простой,  
Чтоб возмужал ты, юнец.  
Но с рукоятью, как буква ять,  
Меч не вздымать прошу,  
Да и не вздумай кому угрожать:  
Ижицу, мол, пропишу!  
Как бы перо твоё ни остро,  
Будь не жестокосерд:  
Аз буки веде, глаголь добро,  
Рцы слово твердо, ферт!

## Земные блага

Земные блага!  
Где б мы ни летали,  
Каких ни достигали бы высот,  
Каких бы эликсиров ни глотали,  
А по душе нам натуральный мед.  
И на поверку нам всего дороже,  
Какую бы синтетику ни славь,  
Овечья шерсть, мех зверя, бычья кожа —  
Обыкновенная земная явь.  
И, как бы ни межзвёздны наши судьбы,  
Важней всего нам благ земных достичь,  
Чтоб все богатства древние вернуть бы:  
Лес вырубленный, выбитую дичь  
И, наконец, — привольный чистый воздух,  
Не тонущий ни в газе, ни в пыли,  
Чтоб не был бы ни в язвах, ни в коростах,  
Ни в синяках великий лик земли.  
Чтоб нам, лица смущенного не пряча,  
Припасть устами к чистому ключу...

Такая величайшая задача  
Едва ль и Саваофу по плечу!

## Новелла Матвеева



Кудри, подъятые ветром,  
Вольный, порывистый вид:  
С дикой скалы  
Обыватель  
В бурное море глядит.

Платье на нем пилигрима,  
Посох убогий при нем;  
Щеки как розаны рдеют,  
Очи пылают огнем.

Рев комфортабельной бури,  
Страстный, восторженный сплин...  
Все в этом мире возможно:  
Даже моряк-мещанин...

Сказку Сервантеса вспомнить  
Рад иногда и сервант:

В нем затрепещут бокалы,—  
Словно заржет Россинант...

Лавочник любит дукаты,  
Но и к мечтам не суров.  
(Тонет «Летучий Голландец»  
С грузом голландских сыров.)

Все на земле выполнимо!  
(...Словно молоденький ствол,  
Раз, под рукою поэта  
Посох цветами зацвел!)

Все в этом мире возможно,  
Кроме безделки: о да! —  
Палка с дуплом для дукатов  
Не зацветет никогда.

## Песня свободы

Из дальних стран пришел бродяга нищий  
И все бродил по улицам Мадрида.  
Но не просил ни крова он, ни пищи:  
Он только пел,—  
Пел для тебя,  
Старый Мадрид!

При первом слове той чудесной песни  
Склонились девушки со всех балконов,  
Весь город ожил, улицы воскресли,—  
Смеялся, плакал и вздыхал  
Старый Мадрид.

— Где были вы, сеньор, все эти годы?  
Где прятали ваш голос, ваши песни?  
И неужели  
Музыка Свободы  
Всех песен вам дороже и милей?

— Я был в изгнанье, под холодным  
солнцем,  
Но не жалел, что полюбил Свободу:  
Кому дано за родину бороться,  
Тот чаще всех живет в разлуке с ней.  
И снова, снова трогал струны странник,  
И трепетал жасмин в садах Мадрида...

Летели дни, а патриот изгнанник  
Все звонче пел:  
Пел для тебя,  
Старый Мадрид!

Когда же враг в Испанию ворвался  
И черный дым затмил чело Мадрида,—  
Он, как герой, на улицах сражался  
И с честью пал.  
Пал за тебя,  
Старый Мадрид!



Солнце вечернее нежаше  
Греет гряды облаков:  
Это моржовое лежбище,  
Пастбище дымных быков...

Гибкого моря волна,  
Осыпи дюн безучастные,  
Сосны до окиси красные,  
Медные дозеленá.

Между пеньками сосновыми  
Позднее солнце ловлю.  
И без основ, и с основами  
Чайки кричат... Я люблю  
В море их блеск меловой,  
В воздухе лапки сафьянные,  
Тонкие вопли стеклянные,  
Крылья — как сабельный бой.

...Нитями, стружками, пробками  
Цеха, не то кустаря,—  
Нет! — ремешками для обуви,  
Лавкою чеботаря,  
Водоросли рядком  
Вдоль побережья расстелены,  
Тонким песком приметелены,  
Выбелены ветерком...

Странно, что все это кружево,  
Моря кушак вырезной,  
Творчество волн перетруженных  
Смоет такой же волной.

Нет, не простая трава!  
Надо стихиям прожорливым,  
Чтобы скрипели под жерновом  
Только шедевры! — едва  
От ювелира, от резчика,  
От живописца картин...

Вот только первая трещинка  
В берегу; только один  
Сдвиг на песке водяной,—  
А уже с моря опознаны  
Блудные травы. И позваны  
Страшной морской глубиной.

Весь этот ворох соломки,  
Лыка, подошвенных швов  
Зыбким хозяйством паломника  
Стронуться с места готов:  
Шнур, переплет, перехват,  
Смутный праобраз сандали...  
Что-то от пройденной дали,  
Всё — от позвавшей назад.  
И в тишине разговорчивой  
Слышу я голос немой,  
С моря такой неразборчивый:  
«Странницы-травы, домой!»

Словно питомцев своих  
Мать позвала бесприютная...  
Может быть, я сухопутная,  
Вот мне и страшно за них?

## Александр Межиров



Воскресное воспоминанье  
Об утре в Кадашевской бане...

Замоскворецкая зима,  
Столица на исходе нэпа  
Разбогатела задарма,  
Но роскошь выглядит нелепо.

Отец,  
Уже немолодой,  
Как Иудея волосатый,  
Впрок запасается водой,  
Кидает кипяток в ушаты.

Прохлада разноцветных плит,  
И запах кваса и березы  
В парной под сводами стоит,  
Еще хмельной, уже тверезый.

В поту обильном изразцы,—  
И на полках блаженной пытки  
Замоскворецкие купцы,  
Зажившиеся недобитки.

И отрок впитывает впрок,  
Сквозь благодарственные стоны,  
Замоскворецкий говорок,  
Еще водой не разведенный.



Плоды унификации зловещи:  
Везде стоят одни и те же вещи,  
И —  
Кооперативные дома,  
Друг с другом тоже схожие весьма,—  
И —  
Проступает из-под каждой кровли:  
Икона византийского письма,  
Хемингуэй, в трусах, на рыбной ловле.



Нехорошо поговорил  
С мальчишкой, у которого  
Ни разумения, ни сил,  
Ни навыка, ни норова.

А он принес мне Пикассо  
Какого-то периода...  
Поговорил нехорошо —  
Без выхода, без вывода.

### Из истории балета

Гельцер  
танцует  
последний  
сезон,

Но, как и прежде, прыжок невесом,—  
Только слышной раздаются нападки,  
Только на сцене, тяжелой как сон,  
В паузах бешено ходят лопатки.

Воздух неведомой силой стеснен,—  
Между последними в жизни прыжками  
Не продыхнуть,—  
и худыми руками

Гельцер  
танцует  
последний сезон.



## Юрий Мельников

### Гайда

Ехал я на лошади верхом  
Мимо сел,  
                                полей весенних мимо,  
К западу откатывался гром,  
И ползли по небу клочья дыма.

Приближался я к передовой,  
Беспокойно всматривался в дали.  
А вблизи,  
                                в степи прифронтовой,  
На коровах женщины пахали.

Торопил  
                                свой тихий транспорт я,  
Но, почуяв запах пашни, что ли,  
Гайда — лошадь смиренная моя —  
С большака  
                                вдруг повернула в поле.

И, заржав залиvisto,  
                                она  
Головою круто закивала,  
Фыркнула и возле плуга встала...  
Третий год  
                                в России шла война.



## Рувим Моран



Заканчиваю жизни третью треть,  
Вот-вот в седины превратится проседь...  
А хорошо б себя прокупоросить.  
Как потолок худой перетереть;

Пройтись по всем щербинкам шкуркой мелкой,  
Прошаркать кистью вдоль и поперек.  
Но что ты скроешь, что спасешь побелкой,  
Когда уже приходит балкам срок?

Ослабли скрепы, и столбы осели,  
Обои отлепляются, шурша,  
И неминуемого новоселья  
Страшится бесприютная душа...

## Юнна Мориц



*Памяти Леона Тоома*

Возьму окно и передвину  
Поближе к своему лицу,  
Чтоб видеть снег, летящий в спину  
И мне, и маме, и отцу.

Сквозь индевелый можжевельник  
Мы пробираемся втроем  
Туда, где вихри вьет сочельник  
И пахнет крымским миндалем.

Наискосок во всю тетрадку,  
Как пропись, вывели рукой  
Смоковниц огненную грядку  
И свежий конский водопой.

В одной тетрадной линейке  
Одним порывом совмещен  
Простор, и голые скамейки,  
И три фигуры под плащом.

Когда бы горло не сжималось  
Вдали от этих трех фигур,

Не озарял бы нас хоть малость  
Глоток вина и перекур.

Когда б умели мы не слышать  
Шагов, разлук не ощущать,  
Кому бы захотелось выше  
Сиротство наше освещать?

Но ствол родства красив и крепок —  
Он сам ветвями шевелит,  
И троицы бродячий слепок  
Внезапно душу обелит.

Свирель достану из кармана,  
Моложе стану в десять раз,  
Чтоб в десять раз отец и мама  
Помолодели в этот раз.

Свирель черешневую выну,  
Пойду по светлой стороне,  
Чтоб видеть снег, летящий в спину  
Отцу, и матери, и мне.

## Зимний день



Все то, что вижу из окна —  
Земли божественный порядок,—  
Вместить не сможет ни одна  
Из мною начатых тетрадок.

Кристален день, залив и лес,  
И розоватый можжевельник,  
Где солнышко наперевес  
Несет январский понедельник.

Дорогу снегом обмело,  
Чернеют в ней вороньи перья,  
Но в общем ярко и светло  
От птичьих возгласов и пенья.

Звезда, которая горит  
Над всем моим существованьем,  
Со мной, как с равным, говорит  
И щедро делится сияньем.

И чудотворство, может, в том,  
И наше счастье в том, быть может,  
Что никогда никто потом  
По буквам этот день не сложит.

Шел дождик, и в роще знобило лошадку,  
И не были мысли природы ясны —  
Для осени слабо тянуло к упадку,  
Но слишком тянуло для ранней весны.

Ольха и орешня ветвями обвисли,  
Другие деревья воспряли душой,  
И так хорошо становилось от мысли,  
Что еду в телеге по роще большой.

Такое бывает в беспамятном детстве  
С душою, согласной со всеми вокруг,—  
На даче, когда с мезонином в соседстве  
Березовой заросли замкнутый круг.

Лошадка дремала, своими шагами  
Топтала дорогу, виднелась трава.  
Я прутья ольхи разводила руками,  
И нежная влага лилась в рукава.

И было такое блаженство, и чудо,  
И счастье в размере прекрасного дня,  
Что я позабыла, куда и откуда  
Ржаная лошадка увозит меня.

## Вьюга

И ветер, и тополь, и вопли метели,  
И вихри, летящие мимо окон,  
Старались и выразить что-то хотели,  
Но только не нашим, своим языком.

И прежде я видела это старанье,  
Которому имени нет в словаре,—  
Когда на губах проступает страданье,  
Которому имени нет в словаре.

Мы знаки в окно подавали друг другу,  
Махали и руки сплетали в кольцо,  
И вьюга, летящая с севера к югу,  
Кричала, и пела, и дула в лицо.

От этого прыгала крыша на доме,  
Сквозило с балкона, картины трясло,

Листало страницы в распахнутом томе,  
Где были стихи и под ними число.

И льнула душа, разрываясь на части,  
Ко вьюге и тополю, там, за прудом,  
И было дикарское, чистое счастье  
От близости с тополем, вьюгой и льдом.

Уже понимала язык снегопада,  
Когда обнаружила вдруг по губам,  
Что ветер и тополь, и пруд, и ограда  
Оставили жесты, прибегли к словам.

Родные! Они, обезумев, хотели  
Владеть не своим, а моим языком,—  
И ветер, и тополь, и вопли метели,  
И вихри, летящие мимо окон.



## Лиля Наппельбаум

### Городок

Город, славный во время оно,  
От железных дорог в стороне.  
Нет в нем нового стадиона,  
Есть дыра в двухметровой стене.

Здесь по валу стрелки бродили.  
Обернулось бытом былье.  
Огороды огородили  
И за валом полощут белье.

Да, куда веселее столица!  
Только ты прими, обогрей!  
У домов деревянных лица —  
Лица стареньких матерей...

И, взобравшись на вал, художник,  
Что как будто живет у черты,  
Свой мольберт водрузил  
на треножник  
И выводит твои черты.

Все запущенно, тихо и глухо.  
Разве славе возможно учесть  
Всё в России величие духа,  
Красоту, и добро, и честь?

## Александр Николаев

### Отцы и дети

Отцы и дети,— на планете  
об этом спорили не раз.  
А я хочу, чтоб наши дети  
росли быстрее и выше нас.  
Оплакивать не надо втуне  
судьбу искусства, ремесла,  
раз Обь — дочь Бии и Катунь —  
отца и мать переросла,  
а экскаватор — внук лопаты,  
и сын винтовки — автомат...  
И в этом мы не виноваты,  
закон природы виноват.

### Подкова

Мне было особенно это приятно  
и очень тревожно притом.  
Мой друг — космонавт возвращался обратно  
на Землю,  
как в собственный дом.

В степи, где журчанье воды родниковой  
не слышали тысячу лет,  
у входа на Землю  
лежала подкова,  
кочевья забытого след.

И друг мой невольно подумал при этом,  
народный обычай таков,

что эта подкова явилась приветом  
из дали прошедших веков.

Потом было все —  
и овации зала  
и нежность восторженных глаз,  
но эту подкову не раз вспоминал он  
и вновь вспоминает сейчас.

Но только, признаться, не знаю я толком,  
все будет —  
победы, бои,  
а что мы на счастье оставим потомкам,  
какие подковы свои?

## Елена Николаевская



Не затем, что продрогла,  
Что искала тепла,—  
Просто так,  
Без предлога  
Я к тебе подошла.  
Что тепло или жалость...  
Просто сердце на миг  
Сжалось:  
Мне показалось —  
Ты нуждаешься в них...

## Лев Озеров



Уже этот день навсегда уходит.  
Понимаешь, не будет этого дня.  
Будет — похожий. Может быть — вроде.  
Но без такого летящего в небо огня.

Без такого, пронизывающего воздух,  
Озноба приморской густой травы,  
Без этой к соснам, к небу, к звездам  
Твоей запрокинутой головы.



Только одна ты знаешь слова,  
предупреждающие мой гнев,  
Только одна ты знаешь слова,  
рождающие мой напев,  
Только одна ты знаешь слова,  
от которых добреет злость,

И песни без слов шепчет листва,  
и хозяином выглядит гость.  
И в неправоте своей ты права,  
и старый свет невиданно нов.  
Только одна ты знаешь слова,  
после которых не надо слов.



До горизонта и дальше — багряные маки.  
Сперва заревые, потом пламенеющие до черноты.  
Как будто сгорели, как будто пожарища знаки  
Встают и пылают кричаще до немоты.  
Волна пробегает по ним, как по знамени,  
И вновь возникают из пепла, как возникали из знамени.  
Они жгут мне сердце, и словно их тоже сожгли,  
Багряные маки от края до края земли.

## Ирина Озерова



А стрелки все бегут, бегут...  
Им вновь взлетать и снова падать.  
Не жизнь, а несколько минут  
Мне сохранит под старость память.

Одну снежинку, а не снег,  
Один цветок, а не цветенье.  
Не губы сохранит, а смех,  
Не руки, а прикосновенья!



Свободна я от нежности твоей.  
Мои глаза опять сегодня сухи.  
Так степи ко всему живому глухи,  
Когда их покидает суховей.

Не ждут дождя. Живой воды не ждут.  
Им новое, как прошлое, не нужно.  
Они на все взирают равнодушно,  
Остатки горьких трав, как письма, жгут.

Надолго ли? Не знаю... Ей-же-ей,  
Непросто снова стать плодоносящей.  
Но я клянусь минутой настоящей:  
Свободна я от нежности твоей!



Под шум дождя  
Не поется птицам,  
Они дремлют в гнездах,  
И только одна  
Домовитая горихвостка  
Мечется над мокрыми клумбами:  
Что делать?  
Дети хотят есть  
И не знают еще,  
Что такое дождь,

Потому что не покидали гнезда  
Ни разу.

Под шум дождя  
Мягче падают шишки  
На землю, припорошенную хвоей.  
Когда они набухают влагой,  
Уже не заметно,  
Сколько маленьких сосен  
Выклевали из них  
Зимние птицы.

## **Булат Окуджава**

### **Из путевого дневника**

#### **1. Грузинская песня**

Виноградную косточку в теплую землю зарю,  
и лозу поцелую, и сладкие гроздья сорву,  
и гостей созову, на любовь свое сердце настрою...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение,  
говорите мне прямо в лицо, чем пред вами слышу.  
Царь небесный простит все мученья мои и сомненья...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали,  
в черно-белом своем преклоню перед нею главу,  
и заслушаюсь я, и умру от любви и печали...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

И когда закружится туман, по углам залетая,  
пусть еще и еще предо мною плывут наяву  
синий буйвол, и белый орел, и форель золотая...  
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

## 2. Осень в Царском Селе

Какая царская осень нынче в Царском Селе!  
Какие красные листья тянутся к черной земле,  
какое синее небо и золотая трава,  
какие высокопарные хочется крикнуть слова!

Но вот начинается вечер, и слышится ветер с полей,  
и филин рыдает, как Вертер, над серенькой мышкой своей,  
уже он не первую губит, не первые крики слышны —  
он плоть их невинную любит, а души ему не нужны.

И все же какая царская осень в Царском Селе!  
Как прижимаются листья лбами к прохладной земле,  
какое светлое небо и голубая трава,  
какие высокопарные хочется крикнуть слова!

## 3. Из окна вагона

Низкорослый лесок по пути в Бузулук,  
весь похожий на пыльную армию леших,  
конных,  
моторизованных,  
пеших,  
сбивших ноги, продрогших, по суткам не евших  
и застывших как будто в преддверье разлук.  
Их седой командир, весь в коросте и рвани,  
пишет письма домой на глухом барабане;  
позабыв все слова, он марает листы.  
Истрепались знамена, карманы пусты,  
ординарец безумен, денщик безобразен...  
Как пейзаж поражения однообразен!

Или это мелькнул за окном балаган,  
где бушует уездных страстей ураган,  
где играют уездные комедианты,  
за гроши продавая судьбу и таланты,  
сами судьи и сами себе музыканты...  
Их седой режиссер, обалдевший от брани,  
пишет пьеску на порванном вдрызг барабане;  
позабыв все слова, он марает листы.  
Декорации смяты, карманы пусты,  
Гамлет глух, и Ромео давно безобразен...  
Как сюжет нашей памяти однообразен!

## 4. Спасение

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск  
по проспектам полуночным за прохладой. Может быть,  
им пора поторопиться в петергофский первый поезд,  
пекло потное покинуть, на перроне позабыть.  
Петухи проголосили, звезды первые погасли,  
прямо перед паровозом проступают наугад  
Павловска перрон пустынный, Петергофа плен прекрасный,  
плеть Петра, причуды Павла, Пушкина пресветлый взгляд.

## 5. На берегу великого океана

Покуда поздняя заря еще не скомкана туманом,  
замри, счастливый пешеход, перед Великим Океаном:  
там в синих сумерках воды, в сиреневых ее закатах  
так много ангелов простых, любвеобильных и крылатых.

Вон среди зарослей и мглы, как стройный мальчик на крылечке,  
колышется конек морской без седока и без уздечки,  
не знающий кнута и шпор, не ведающий поля брани...  
Мне слышится из глубины его загадочное ржанье.

Вон сельдь плывет среди равнин. Кто знает, что у той селедки —  
змеиный бюст, акулий нрав, но сердце девочки в середине?  
Кто знает, что в ее душе, затейливой и многогранной,  
под платьицем ее смешным, в улыбке ласковой и странной?

То краб, то мидия, то спрут вползают в тот поток хрустальный,  
то хищник в скромном пиджаке, то либерал сентиментальный,  
то круг медузы молодой, похожей на пирог слоеный,  
то капелька воды морской — сестра твоей слезы соленой.

## 6. Боярышник «пастушья шпора»

Боярышник «пастушья шпора» —  
моя надежда и опора,  
мой Россинант, мое седло.  
От дружеского разговора  
в башке становится светло,  
и нету места в ней для вздора,  
куда б ее ни завело.

Бесчинствуйте, кому охота!  
А у меня одна забота:  
туда отправиться скорей,  
где тянется от косогора  
боярышник «пастушья шпора»  
рукой своей  
к слезе моей.

## 7. Моцарт на скрипке играет

Моцарт на старенькой скрипке играет,  
Моцарт играет, а скрипка поет,  
Моцарт отечества не выбирает —  
просто играет всю жизнь напролет.

Ах, ничего, что всегда, как известно,  
наша судьба — то гульба, то пальба...  
Не оставляйте стараний, маэстро,  
не убирайте ладони со лба.

Где-нибудь,  
на остановке конечной  
скажем спасибо и этой судьбе.  
Но из грехов своей родины вечной  
не сотворить бы кумира себе!

Ах, ничего, что всегда, как известно,  
наша судьба — то гульба, то пальба...  
Не расставайтесь с надеждой, маэстро,  
не убирайте ладони со лба.

Коротки наши лета молодые,  
миг — и развеются, как на кострах.  
Красный камзол, башмаки золотые,  
белый парик, рукава в кружевах.

Ах, ничего, что всегда, как известно,  
наша судьба — то гульба, то пальба...  
Не обращайтесь вниманья, маэстро,  
не убирайте ладони со лба.



## Владимир Павлинов

### Осень в Ясной Поляне

Проснулся... Натоплена жарко  
усадыба в канун октября.  
Над черными липами парка  
багрово пылала заря.  
Он крик петушиный услышал,  
короткий в багровом дыму,  
и наспех оделся, и вышел  
на холод, в туман, в полутьму.  
Дрожал в ледящем тумане  
щемящий, пронзительный свист:  
под липами в Ясной Поляне  
шуршал остывающий лист,  
и в сердце вчерашнее всплыло —  
конечно! Об этом с утра  
читал он... Но что это было?  
И что с ним случилось вчера?..  
Просторное поле. Свобода.  
Светло. Одиноко. Свежо.  
И красный огонь небосвода —  
ах господи, как хорошо!  
Последние отзвуки лета...  
И холод... и крик петухов...  
И понял поэзию Фета  
Толстой, не любивший стихов.

### Холода

К печи поленья поднеси,  
Оладьи замеси.  
Трещат морозы на Руси,  
Морозы на Руси.

Безлюден лес, безмолвен сад,  
И в поле ни следа —  
Такие холода стоят,  
Такие холода!..

Ах, мама! Ты едва жива...  
Постой, ты вся в снегу:  
Оставь тяжелые дрова,  
Давай я помогу.

Зачем ты все — сама, сама?  
Не стой на холоду!..  
Какая долгая зима  
В сорок втором году!

Какая лютая зима!..  
Гудит печная жечь.  
Я не хочу. Ты ешь сама.  
Ты, знаю, хочешь есть.

Не тает иней по углам,  
А ночь — над головой.  
Мука с картошкой пополам,  
Над полем — волчий вой.

Дымятся белые холмы,  
И ночи нет конца.  
Эвакуированы мы,  
И нет у нас отца.

Так страшно дует из окна,  
И пруд промерз до дна...  
Так вот какая ты, война!  
Да, вот она, война...

## Николай Панченко

### Колыбельная

«...и тишину переплывает  
полночных птиц незвучный хор».

*Осип Мандельштам*

Ни на злобе, ни на взводе,  
ни чума и ни война —  
во саду ли, в огороде  
прорастают семена.

Вот еще немного света,  
вот еще немного лета,  
материнского тепла...

И проклюнулась травинка,  
и зеленая кровинка  
по травинке потекла.

Здравствуй, милая сестричка,  
мой зелененький дружок,  
хочешь? — сказку,  
хочешь? — ласку,  
хочешь? — с полки пирожок.

Только мне б хватило силы  
над тобою — день и ночь! —

над тобою, над собою  
эту сонность превозмочь.

Спит травинка, спит листочек,  
спит колючка на сосне:  
жизнь — из завязей и почек! —  
продолжается во сне;  
там — непуганое счастье,  
ананасная слеза,  
но — в безумие! — все чаще  
открываются глаза.

Только б нам хватило силы:  
веры, мудрости, стыда! —  
ангел мой,  
ребенок милый,  
пробудиться — не туда! —  
чтоб полночные поплыли  
эти птицы в тишине,  
эти мифы, эти были,  
воплощенные вполне.

## Анатолий Передерев

### Дорога в Шемаху

*Тихо розы бегут по полям...*

*С. Есенин*

Бешеный ветер...  
Железная пляска колес —  
Бешеный поезд  
От ветра слепой и шатучий...  
Нет на земле  
Ни тепла, ни покоя, ни роз,  
В небе остались  
Одни сумасшедшие тучи.

Бешеный вой,  
Принимаю тебя, как врага!  
Я различаю еще  
Настоящего друга...

Как хорошо,  
Что дорогу к тебе, Шемаха,  
Не занесла  
Беспощадного времени вьюга.

Как ты сумела  
Волшебное имя сберечь,  
Древнее небо  
И детскую радость при встрече?..  
Я понимаю  
Твою хлопотливую речь,  
Я окружен  
Дружелюбною музыкой речи!



## Сергей Поделков

### Поездка через степь

Степь алтайская —  
в небе проносятся ястреба,  
тишина поднимается,  
как в квашне опара,  
травяной горизонт —  
шевелиющаяся резьба,  
и мерцает воздух  
от полдневного жара.

Степь раскроена  
сакковским плугом.  
под птичий ор  
на луга и пашни,  
раскиданные без меры,  
с перламутровыми пуговицами  
озер,

с колками, похожими  
на скиты староверов,

на пастбища,  
открытые набегам волков,  
наполненные облаками  
рева и ржання,  
аппетитным запахом  
пастушьих костров,  
чалдонскими песнями,  
скудными, как подаянье.

Я — верхом — в степи,  
падают копыта,  
топот глух,  
тропы расползаются в травах,  
тонки и тверды,  
хвостами, как венниками,  
отмахиваясь от мух,  
кони поднимают  
любопытствующие морды.

Паситесь, милые!  
Еще придется хватить кнута,  
на шее не раз еще  
стянут хомут супонью.  
Жизнь отвратительно хороша  
и крута, крута,  
то — в нос кулаком,  
то гладит до поры до времени нас  
ладонью.

Я еду медленно,  
осматриваюсь, как новосел,  
ястреба спуют и небо  
выстреливают, как рубанки,

земля повертывается,  
как на привязи вол,  
подсолнухи заламывают  
передо мной кубанки.

И такая вялая —  
наползает — ленивая дымь,  
даже зрачок животворного солнца  
уменьшен,  
на бахче, как на пляже,  
нежатся тысячи дынь —  
животами беременных  
юных женщин.

Еду мимо  
скирдующего в поту мужика,  
сквозит костерок  
близ рыдвана в тени боярки,  
ловко направляет  
рогатые вилы рука,  
ловко подхватывает баба  
снопы, как подарки.

Их на жнивье  
подпоясанная череда,  
плоть в колосьях зерниста,  
шумяща в каждом суслонце,  
скирд поднимается в вышину —  
чёрт знает куда! —  
вместе с бабой  
под самое августовское солнце.

— Доброго здравия!  
Вынянчили урожай?! —  
Конь мой тише.  
Снял кепку мужик, страдой  
опаленный,  
машет.

— Мил человек, пополудновать  
заезжай!

Слезай, жена,  
с гостем передохнем, Алена!

Хлебосольна, щедра  
крестьянская эта рука,  
в трещинах черных,  
исколота остью исконно,  
режет сало хребтовое  
толщиной в два вершка,  
наливает в кружки  
синего самогона.

Он усы обтер,  
он, приросший кабально к земле,  
не валявшийся в лени  
курортных побережий,  
спрашивает, закуривая,  
чуть навеселе:  
— Ты пахарь, парень,  
аль, может, начальник проезжий?

Как сказать —  
«Я, как дума твоя, очутился тут,  
помню песни, что пел,  
и хлеб-соль, и преданья...»  
Он протяжно вздохнул:  
— Остуды не терпит наш труд.  
Время-то кружится  
от пахоты до скирдованья...

Со снопа  
поднимается тихо жена,  
стать плавна,  
робкий взор затененной тревоги.  
— Степь-то наша что жизнь —  
и долга и смутна,  
вот вам шаньги и сало...  
Сгодятся в дороге!

Конь ступает.  
Спадает мерцающий желтый жар.  
Вижу скирд,  
вижу женщину в небе,  
как в синей излуке...  
Мир тебе, землепашец,  
мужественный хлебодар,  
я люблю твою степь  
и руки твои —  
божьи руки!



Отчего так грустно и тревожно:  
жадно ловишь каждый звук во мгле?..  
Будто и возвраты невозможны,  
будто и не жить мне на земле.

Будто где-то ждет лихая дата  
непоклонной головы рудой.  
За каким она стоит закатом,  
над какой склоняется водой?

Это расставанья неизвестность,  
это выдумка. И ты не верь.  
Я вернусь, я распахну, невеста,  
девичью застенчивую дверь.

И ворвутся в комнату (еще раз  
проплывет дыханье страшных дней)

голубые сумерки Печоры  
и потемки юности моей.

И, чтоб горе навсегда забыла,  
ради встречи, счастья без конца,  
с легкой бы руки тогда кормила  
озорного белого песка.

Ты всегда со мной, моя родная,  
это все, чем я богат и горд.  
Слышишь, небо свистом разрывает  
матовый двухтрубный пароход?

А совсем недавно жизнь иную  
нам в мечтах сулили вечера...  
Ну, зачем ты плачешь? Все минует.  
Ну, простимся. Кажется, пора.

## Герб города Костромы

*К. Поздняеву*

Стрежень Волги в лазоревом свете.  
Из рассветной глубокой дремы,  
будто из сновиденья столетий,  
выплывает к нам герб Костромы.

Вот он, вот — как гулливое диво —  
ярый, борзый варяжский корабль,  
золотососенная обшива,  
золотая на парусе рябрь.

А на нем — древнерусский ваятель —  
впереди — взгляд орла сотворил  
и раскрытые миру объятя  
двух резных расправляемых крыл.

А на нем — семь гребцов  
складнорослых,  
семь певцов, семь бойцов удалых,  
маховые пернатые весла  
поднимаются враз, в один дых.

И по стрежню крутыми рывками  
он летит, вьются пены волчки,  
он как мысль — напряжен под руками,  
он как песнь — в горловине реки.

Не сюда ли баскаки рысили,  
шляхта шла и фашисты рвались?  
Соловьинная слава России,  
близ тебя им и воздух тернист.

Волга, Волга, великая воля,  
ты была от волненья бела,  
жернова твоих волн размололи  
мысли хищные, сталь и тела.

Герб плывет. Нет ни круч, ни излучин,  
волн пружинистых пенны следы,  
и доносится поскрип уключин  
и серебряный клекот воды.

Герб плывет. Перекатно теченье  
к нам от прадедов через отцов,  
и такое томит ощущение:  
будто мы среди этих гребцов.

## Сергей Поликарпов



Твердим себе:  
«Волков бояться —  
В лес в одиночку не ходить».  
Усвоили:  
«Люби кататься —  
Люби и саночки возить».

И оперенье леса меркнет,  
Жестчает снежный пуховик  
Для тех,  
Кто стародавней меркой  
Жизнь мерить сущую привык.

И волочу я в гору санки  
Свои,  
Скользя и накреньясь,  
И рвет опять с меня ушанку  
Снег, из-под полоза клубясь.  
Ах, боже мой, какое дело!  
Полезу в гору —  
Подберу...  
И мне ничуть не надоело  
Вставать под ветром на юру.



Опять июль потешил грибников,  
Опять своей добытностью потешил.  
Дозоры огневых боровиков  
Повысыпали на лесные плечи.

Уже в кустах толкаться им невмочь,  
Уже тесно от перенаселенья.  
Сон зоревой безжалостно отсрочь,  
Отправься в боевое охраненье.

Ладонями росистыми кусты  
Начнут тебя пошлепывать по щекам,  
А над тобою,  
Ростом в три версты,  
День расправляет плечи, синеокий.

И звон от тишины стоит в ушах —  
В наш век моторный  
Благовест не частый...  
В тюрбане красном,  
Как восточный шах,  
Встречает боровик с поклоном:  
— Здравствуй!..

## Старые дворы

Это ль не старушечья проруха —  
Быть судьей других во всех делах?..  
На дворах  
Пасут белье старухи  
На крученых бязевых шнурах.

Ветер рукава рубашек крутит,  
Чистый вышарманивая звук,  
Полотняный,  
Парусом надутый,  
Пахнувший теплом заботных рук.

Взгляд старуший, как иголка,  
Колкий:  
«Кто ты, мимоходный,  
Да к кому?..»  
А меж делом

Пересуды, толки  
Обо всех, бытующих в дому.

Что уже устал от многолюдья,  
Деревянно,  
Дряхло погорбел...  
На дворах  
В платочках правосудье  
В долгий ящик не хоронит дел.

Здесь не глядят даже и лежащих,  
Всяко лыко —  
В строку,  
Все в расчет.  
А случится смерть в дому —  
Оплачут  
И толпой проводят до ворот.



## Виктор Полторацкий

### Журавли улетели

*Борису Забавину*

Журавли улетели.  
Сегодня в «Вечерней Москве»  
Десять строк неонпарели  
о том, что они  
улетели.  
Сквозняками освистан  
осенний простуженный сквер,  
И опавшие листья  
желтеют  
на мокрой панели.  
Журавли улетели...  
Какое мне дело до них?  
Я — москвич,  
а они  
летовали на дальних болотах.  
Почему же —  
прочел  
и в печальном раздумье затих,  
Будто что-то утрачено,  
будто потеряно что-то.  
Будто вот оно —  
было у сердца  
и вдруг уже нет.

На душе холодно,  
и на плечи  
ложится усталость.  
Начинаешь считать,  
сколько пройдено,  
прожито лет  
И как мало,  
до горечи мало осталось.  
Улетели...  
Есть друг у меня  
бескорыстный  
один.  
Мы с ним радость и горе делили,  
и пили немало, и пели...  
Вот сейчас позвоню  
и скажу:  
— Дорогой, приходи.  
Посидим,  
помолчим.  
Милый мой,  
журавли улетели!

## Анатолий Поперечный



Шальные ливни в стекла лупят,  
А взор ее татарский тих.  
Таких, как эта, долго любят,  
Но дольше забывают их.

Таких, как эта, прочат в жены  
И покупают зеркала,  
Чтоб видеть в них чуть отрешенно  
Их лебединые тела.

Таких, как эта, не ревнуют,  
Не мстят мучительно, со зла.

Таких вот полночью воруют,  
Разбив на память зеркала.

Таких, как эта, не прощают,  
Не исповедуют в тиши.  
Таким, как эта, обещают  
Взамен лишь истинность души.

Таких, как эта, не бросают,  
Не проклинают по ночам.  
И ходит истина босая  
По тем разбитым зеркалам.

## Нежность

Нежность кутенком за пазухой спит  
И не скулит в потемках  
О том, как я был жестокостью бит,  
Жить дальше думал потом как.

Листья и травы пьют жадно дожди,  
Нежность, как птица, примолкла.  
Не разбудите ее в час вражды,  
Нежность с душою ребенка.

Не подтолкните под локоть слепца,  
Что о приклад греет щеку,—

Нежность страшится не столько свинца,  
Сколько свинцовость жестоких...

И заплывает змея в камыши,  
Аист садится на кровлю.  
Чисто синеют поляны души.  
Нежность моя дышит ровно.

Нежность свои распускает цветы  
В миг, что подсмотрят счастливы,—  
И обретут вновь живые черты  
Некогда мертвые лица.



## Русский язык

...И вся Россия — один человек.

*Н. В. Гоголь*

И вновь сквозь пространства и годы,  
Сомненья, боренья, бои,  
Как будто подземные воды,  
Я слышу движенья твои.

Еще слышу свист соловьиный  
В твоих вековечных борах,  
А то вдруг — щемящий и дивный  
Раскат,  
        так поют на хорах.

На празднествах русской природы,  
В степях, где цветет сердолик.  
И полнятся вешние воды,  
И ширится русский язык.

И что ему, коль для отваги,  
Кто ковшиком берестяным,  
Кто шапкой  
        черпнет его влаги,  
Прозрачной, чуть горькой, как дым.

Он щедростью не обмелеет,  
Впадая в верховья зари.  
И лишь инозем обомлеет,  
Чуть вникнув в его буквари.

Дивясь, содрогнется, уставясь  
В какой-нибудь омут словес.  
Померкнет персидская завязь,  
Восточный орнамент небес.

Поблекнет в сравнении с вещим,  
Мятежным, чумным, колдовским...  
А он захохочет вдруг лешим,  
Коломенским, курским, псковским.

А то, обрета ясноликость,  
Степенно войдет в берега,  
Повек оставаясь великим,  
Князь песельный, а не слуга.

И солнце взойдет над холмами,  
Замрут голубые грома.  
И власть обретет вновь над нами  
Верховная трезвость ума.

## Эрнст Портнягин

### Буренка

По берегу Тобола, до колотья в боку,  
за рыжей, за тобою, вдогонку я бегу.  
То рысью, то галопом, напропалую в снег.  
Откуда у голодной такой веселый бег,  
умение и сила ворота отворять?  
Мне тетка поручила корову охранять.  
Неволя позабыта за досками оград,  
передо мной копыта мелькают и стучат.  
Дыханья не хватает, глаза ослеплены,  
болтаются, слетают огромные пимы.  
А я в рубашке только, но не об этом речь:  
доверила мне тетка корову уберечь!  
Все взрослые в разгоне.  
Война. Сибирь. Метель.  
Безумная погоня  
за первой из потерь.

## Наводнение

Четырнадцать метров подъема воды,  
глубины несчастья — четырнадцать метров,  
деревья плывут, как большие плоты,  
деревья ложатся под ливнем и ветром.  
Единство пришло в поисковый отряд,  
размыты границы, начальник — рабочий,  
нет ставок, забыт незакрытый наряд —  
есть люди в объятых рокочущей ночи.  
Есть люди, на сопки несущие груз:  
палатки и спальники — наше богатство.  
Водою по грудь освященный союз,  
одной самокруткой скрепленное братство.

Мой крестный, Амур, разливная купель!  
Давно наводнений таких не бывало.  
А где-то за тридевять рек и земель  
впервые дитя в эту ночь закричало.  
Не ведая, как выплывает отец,  
как дорого людям спасенное дело.  
Родился мой сын, сероглазый шельмец,  
и рация мне поздравленья хрипела.



## Анатолий Преловский

### Города

Нас люди ссорят с городами,  
и коль удастся им, тогда  
уходишь ты в иные дали  
любить иные города.

И обживаешься нескоро,  
и приживаешься с трудом,  
пока чужой холодный город  
не подарит тебя теплом.

Но вот судьба забросит в старый  
немилый, горький город твой.  
Увидишь те же тротуары  
и те же крыши, боже мой!

Пройдешь по тем дорогам детства,  
где живо все и все мертво,

где ни дымка добрососедства,  
ни встреч, ни друга, ничего.

А город дышит, суетится,  
вершит насущные дела,  
и ты глядишь прохожим в лица,  
как будто это зеркала.

Но в них ни отблеска былого,  
ни тени прошлого, и ты  
идешь в толпе многоголовой,  
чужой средь этой суеты.

И оставляешь за спиною,  
чтоб возвращаться вновь и вновь,  
полузабытую любовь  
с полупрощенной виною.

## Боратынский

Боратынский достраивал дом  
и, склонясь к нетугому паркету,  
вдруг подумал: «Пристало ж поэту  
в рань такую стучать долотом...»

«Боже мой,— он подумал.— Зачем  
слишком поздно дается нам счастье?  
А любовь, и семья, и участие —  
я ведь их недостоин совсем.

Строю дом, а как знать, доживу ль?  
Из друзей никого не осталось.  
Может, счастье — это усталость?  
До чего ныне душен июль...»

И еще он подумал: «Темна  
участь барда в державе родимой,  
что ни гений — бесправный, гонимый,  
а в фаворе одни имена...»

Он прислушался. Тихо в дому,  
в детской тоже. Но чу! — половица.  
— Настя, что этак рано? не спится?  
— А тебе? — и подходит к нему.

Опускается на пол, берет  
две дощечки, узор вымеряет.  
Щеки серым румянцем играют.

Он подумал: «Ужели умрет?»  
— Снова кашляла?  
— О, пустяки!  
Знаешь, ты мне сегодня приснился —  
будто с Пушкиным ты воротился...  
— С балу?  
— Где угадать! — от реки...  
Ваши волосы влажны, а он  
все смеялся... над чем?.. я забыла...

Он подумал: «За что полюбила?  
Изменились мы с тех похорон».

И сторонне ее оглядел.  
Улыбнулась. И он улыбнулся.  
В детской, видимо, кто-то проснулся —  
дверь запела, рожок загудел.

Занеся на удар молоток,  
он припомнил: «А Пушкин... к чему бы?»  
Промахнулся. Скривил было губы,  
но услышал босой топоток.

И почти что свободно вздохнул,  
и на пальцы горящие дунул  
и, забыв все, что прежде подумал,  
детям руки легко распахнул.

■

## Валентин Проталин

■ ■ ■

Я все сомненья и печали  
оставил дома,  
чтоб в пути  
их лишним грузом не везти,  
дороги новые встречая.

Но старой раной  
сердце ноет,  
негромко отбивая счет,  
и чем быстрее мчится поезд,  
тем время  
медленней течет.

## Борис Пуцыло



*Владимиру Кострову*

Под вечер от росы бело,  
Прощально пахнет медуницей,  
И медленную вереницей  
Уходят тучи за село.

Полуобвис над клубом стяг...  
Но что в судьбе моей такого,  
Когда легко и бестолково  
Живется мне сейчас в гостях?!

Не для меня страда, покос,  
Тут я случайная особа,  
Мой страх рабочий и учеба  
Не принимаются всерьез.

Но недокучливой родне  
Пытаюсь я наладить прясло.  
Да господи, не все ж во мне  
Совсем забылось и погасло.

Ведь все-таки я не чужой  
Ни перелескам, ни полянам,  
Ни косогорам конопляным,  
Подернутым осенней ржой.

Мне искренность полей мила,  
Тревожен дальний крик кукушки.  
И вдруг поймешь: да ты же —  
русский,  
А что за русский без села.

И вот среди горькой тишины  
Приемля все,  
Ни с чем не споря,  
Стою, забывшись, на угоре,  
Откуда памятно видны

И тайный блеклый блеск пруда  
Меж черных прутьев краснотала  
И в поле путник запоздалый,  
Шагающий бог весть куда.

## Скала

«Путник, будь осторожен, ты  
здесь как слеза на реснице».  
*Надпись на скале*

Мой сон и зыбок и тревожен,  
Он в чем-то с явью заодно.  
Мне слышится: «...будь осторожен...»  
Но той скалы уж нет давно.

А мне-то что? Пускай стояла!  
Зачем мне знать наверняка,  
Какую надпись начертала  
На ней безвестная рука.

Мне вовсе незачем страшиться  
Клубящейся в ущельях мглы...  
«О, путник, ты как на реснице  
Слеза...»  
Но нет же той скалы!

Она порушена, разбита,  
Ее опутала трава,  
И под обломками гранита  
Исчезли мудрые слова.

Я вновь услышу —  
звоны проса,  
В камнях тревожный посвист змей  
И долгий шорох абрикоса,  
Скользящего между ветвей.

Увижу пламя голубое,  
Где горы спят в снегах по грудь.  
Но слышу: «Осторожен будь  
Наедине с самим собою...»

## Вадим Рабинович

### Листья

Когда сжигали листья у реки,  
сжигали листья нынешнего лета,  
мне показалось, что горят при этом  
давнишние мои черновики.

Вот красный лист. Я исписал его,  
перо макая в пурпур земляники.  
Края листка пожухли и поникли,  
уже не сохранивши ничего.

Вот желтый. В зной, на солнечном  
холсте,  
сжигая пальцы, ногтем нацарапал  
слова любви в сердечной простоте  
и сам от умиления заплакал.

Лист тополиный... Цветом черно-бур.  
Почти что черный. Письмена неясны.  
В бреду писал на нем. Возник сумбур  
с концовкою на первый взгляд опасной.

Огню предать мои черновики!..  
Дым до небес. Горят страницы духа.  
Подбрось в огонь сухой листвы,  
старуха!

Мечи, огонь, до неба языки!

Но есть один — зеленый — лист живой,  
березовый, огню не поддается,  
нетронутый, он весело смеется  
и машет мне слабеющей рукой.

## Борис Рахманин

### Саша Пушкин

Сады Лицея... Ранняя, пронзительная весна...  
Хоть и солнечным выдался этот день,  
но до костей пробирает сквозь пузырящийся  
нейлоновый плащ прямой ветер.

Особенно меня интересовали толстые,  
вековые липы... Может быть, хранят они,  
только что посаженные тогда, прикоснове-  
ние его ладошки?..

Может быть, выбежавшему в сад озор-  
ному мальчику не захотелось огибать дво-  
рец, чтобы попасть в отведенное укромное  
место, и, плутовато оглянувшись, он спря-  
тался для этой цели за тонкое деревцо?..

Какие необъятные выросли здесь липы!

Сейчас, весной, ветви еще обнажены, и  
все же их так много, что они кажутся про-  
зрачными лиловыми облаками.

Внезапно у самых ног, в поблескиваю-

щей грязи, я увидел мокрый ржавый оско-  
лок.

Немецкий...

Я радостно поднял его, осмотрел, завер-  
нул в белый платок.

В кого они метили?.. Остро кольнуло в  
сердце...

Удаляясь, прозвучал мимо меня частый  
топот мальчишеских неугомонных ног...

Показалось?..

Не выдержав, я тоже бросился бежать по  
вязкой аллее в глубь сада.

Сейчас, сейчас я догоню его, схвачу за  
крепкое плечо...

Не бойся!.. Я не стану тебе пророчить,  
предостерегать... Только прочту тебе, зады-  
хаясь от недавнего бега, стихотворение, ко-  
торого ты еще не написал...

### Покой

Быстро, быстро, забыв впопыхах умыть-  
ся, торопливо собрались мы и едем за  
город.

Закатав штаны, обнажив до колен не-  
ожиданно ноги, идем, идем по чмокающему  
болоту.

Вот, вот они, пустотелые внутри тро-  
стинки...

Можно было купить для этой цели по  
куску резинового шланга, можно было вос-  
пользоваться и алюминиевыми трубками  
лыжных палок. Но нет, нам нужны именно  
тростинки, шуршащие друг о дружку, пусто-  
телые внутри...

Острым ножом одним движением срезаю тростник внизу, у самой воды, чистой, но кишасцей, болотной; потом срезаю сухую шелковую кисть семян и смотрю на свет, как в подзорную трубу.

Далеко-далеко, в самом конце гигантского тоннеля, светится круглое копейечное солнышко.

Очень хорошо!.. Быстро, быстро, задыхаясь от нетерпения, идем мы в глубь болота, к его сердцевине, к озеру.

И погружаемся в желтую, разбавленную светом воду.

И дышим через тростинки.

Ничто не отвлекает нас от раздумий в этой прохладной глубине. Разве только коснется порой наших губ круглыми своими губами серая рыбка.

Забываются, тают в памяти конвульсии оставленного наверху мира, его грозная суета...

Покооооой... Пооооооой...

Но что, если перестанет вдруг струиться через тростинку легкий земной воздух?..

## Река

Много видел я на своем веку рек и речек, разрезающих пополам город или село, лесную чащу или полого накренившееся поле... Но во всех я заметил что-то одинаковое, оживляющее, украшающее и город и лес... И вода в них тоже была на вкус совершенно одинакова. Правда, то чище она была, то мутнее, но это уже зависело от берегов.

Да полно! — сказал я себе однажды. — Может, только одна река-то на свете и есть?.. Одна бесконечная река, тысячами витков опоясывающая мир, а по обе стороны ее выстроились все земные страны, с их столицами и деревушками, все земные рощи, все луга и поля?..

В одном месте люди зовут ее Волгой, в

другом — Десной, Днепром или Енисеем... А там она уже Керулен, а там Влтава, Дунай, Темза, Сена, Миссисипи, Нил...

Сколько звучных ласковых названий придумали люди единственной земной реке!.. Из названия в название можно плыть по ней в гости друг к другу. До любого города, до любого человека можно доплыть по этой реке — и не заблудишься... И повсюду ты увидишь отразившиеся в ней скользкие облака, повсюду, словно ребенок языком, будет всплескивать в ней рыба и перешептываться шероховатый камыш...

Берегите, берегите, люди, свою единственную реку!

## Лицо

Вместе с другими необходимыми предметами постарайтесь захватить с собой на необитаемый остров хотя бы самое простенькое зеркальце.

На голом осклизлом клочке гранита, похожем на спину всплывающего кита, удивительно приятно будет вам утешить себя пусть и своим собственным, а все-таки человеческим лицом.

Видели ли вы когда-нибудь лицо человека?..

А если видели, то по-настоящему ли вы его разглядели?..

Какое же это счастье, невероятная удача, — видеть вокруг каждый миг, каждый час, в течение всех отмеренных нам лет светящиеся даже в солнечный день человеческие лица!..

...Вот уже из бани старушка с розовым, дымящимся личиком... Вместо нижней губы — у нее пушистый подбородок... Как чисто вымыты седые волоски ее жиденького пучка и морщинистые мешочки под молодыми, яркими глазками...

А в авоське у нее бьется, как рыбка, бутылочка пивка...

Эх, бабуся... При всем желании не могу предположить, что прожила ты свой век безгрешно... Молодец!..

А вот перегнулся через железный, заржавленный забор щеголеватый солдат. Он как бы по пояс в увольнении...

Солдат!.. Эй, солдат!.. На, покури...

Чудится, будто это девушка в военной форме. Нежные щеки его пылают, губы раскрылись, готовые произнести какое-то неизвестное ему красивое слово...

Но грубо проглядывает сквозь девичьи, без единой помарки черты вчерашний сорвиголова, стянутый армейской дисциплиной бесшабашный подросток...

Ну что?.. Что?.. О чем ты загрустил, служба?..

Не знаешь?..

С затаенным интересом буду я ожидать неизбежных мудрых изменений твоего гладкого лица...

## Игорь Ринк

### Поздний ледоход

По всем лирическим законам,  
Самой природой продиктованным,  
Весна отводится влюбленным,  
А осень — всем разочарованным.

Но тут, дойдя до середины,  
Весна стоит в воротах радуги,  
И целый месяц гонит льдины  
Неутолимый ветер Ладоги.

На солнце льдины чуть дымятся:  
Сегодня жарко до нелепости,  
И загорают ленинградцы  
На тесном пляже возле крепости.

Плывет зима рекой весенней...  
Так и у нас с тобой, попутчица,—  
Тепло любви и лед сомнений,  
А что из этого получится?..

### Бой быков

Должно быть, в этом ветер виноват,  
Что кинул в волны яблоко раздора.  
А над Невою дразнится закат  
Неистовым плащом тореадора.

А под мостом гранитные быки  
От тяжести свои согнули спины  
И смотрят молча в глубину реки,  
Встречая набегающие льдины.

Наверное, и жребий их таков,  
Что днем и ночью волею людскою  
Идет неповторимый бой быков  
С бурлящею весеннею рекою.



Слишком часто мы стали бывать в крематории,  
У открытых гробов став почетною стражею...  
Нет, не в Лету, а в Летописи Истории  
Год за годом уходят наставники наши.

Но и в смерти не видят они отлучения  
От великих побед и от буден партийных,  
Просто их, получивших в века назначение,  
Как солдат, на лафетах везут орудийных.

### Четверо

Пришли живыми на Победы зов  
Четыре друга с четырех фронтов.

Погоны сняв, припомнить о былом  
Они сошлись за дружеским столом.

Один из них, как будто сам с собой,  
Заговорил про самый первый бой.

Второй не меньше друга был в бою,  
Но поднял тост за женщину свою.

А третий удивился и притих,  
Вдруг за столом увидя... шестерых.

И пошутил четвертый озорно,  
Что круг друзей умножило вино.







## Николай Рубцов

### На ночлеге

Лошадь белая в поле темном.  
Воет ветер, бурлит овраг,  
Светит лампа в избе укромной,  
Освещая осенний мрак.

Подмерзая, мерцают лужи...  
«Что ж,— подумал,— зайду давай?..»  
Посмотрел, покурил, послушал  
И ответил мне: — Ночевай!

И отправился в тесный угол,  
Долго с лавки смотрел в окно  
На поблекшие травы луга...  
Хоть бы слово еще одно!

Есть у нас старики по селам,  
Что утратили будто речь,—  
Ты с рассказом к нему веселым,  
Он без звука к себе на печь!

Знаю, завтра разбудит только  
Словом будничным, кратким столь,—  
Я спрошу его: — Надо сколько? —  
Он ответит: — Не знаю, сколь!

И отправится в тот же угол,  
Долго будет смотреть в окно  
На поблекшие травы луга...  
Хоть бы слово еще одно!

Ночеваю! Глухим покоем  
Сумрак душу врачует мне,  
Только маятник с тихим боем  
Все качается на стене,

Только изредка над паромной  
Над рекою, где бакен желт,  
Лошадь белая в поле темном  
Вскинет голову и заржет...



В жарком тумане дня  
Сонный встряхнем фиорд!  
— Эй, капитан! Меня  
Первым прими на борт!

Плыть, плыть, плыть  
Мимо могильных плит,  
Мимо церковных рам,  
Мимо семейных драм...

Скучные мысли — прочь!  
Думать и думать — лень!  
Звезды на небе — ночь!  
Солнце на небе — день!

Плыть, плыть, плыть  
Мимо родной ветлы,  
Мимо зовущих нас  
Милых сиротских глаз...

Если умру — по мне  
Не зажигай огня!  
Весть передай родне  
И посети меня.

Где я зарыт, спроси  
Жителей дальних мест.  
Каждому на Руси  
Памятник — темный крест!  
Плыть, плыть, плыть...



## Юрий Ряшенцев



Желтая котомка —  
черное нутро...  
Пьяный вез котенка  
за полночь в метро.

Он держался стойко,  
в турникет — тишком:  
пьян — да не настолько,  
чтоб идти пешком.

Вот — сидит удобно,  
шерстку шевеля  
неправдоподобной  
лаской бобыля.

До «Проспекта Мира»  
уж недалеко.  
Эх, на юг — квартира:  
живо ль молоко?

Вот его, неряху,  
страх берет большой:

уж не даст ли маху  
пред живой душой?

Мы встаем, судача  
о своем, пустом.  
Ну, дай бог удачи  
бобылю с котом!

Не в пример лифтеру  
стар, но не сварлив,  
пусть и в эту пору  
им послужит лифт.

Свет над их площадкой  
лейся с потолка.  
Будь им вдосталь сладкой  
кружка молока.

Посидят согласно —  
чем не торжество?  
И опять прекрасна  
будет жизнь его.

## Иван Рыжиков



«Природа, русская природа,  
Вся — от велика до мала —  
Когда, в какое время года  
Ты к нам нещедрою была?

Но чем тебе мы отплатили  
За эти все твои дары?  
О наши гати и плотины  
Весною бьются осетры.

Мы так тебя, родную, любим,  
Что, лишник слов не говоря,  
Сплеча седые рощи рубим  
И травим химией моря!»

Так говорил мне друг-охотник,  
Бориса-сыротора сын.  
Тянуло сыростью болотной  
С неспросыхающих низин.

Над камышом мертво и серо  
Полоской значился восток.  
А гончая по кличке «Эра»  
Уже просила поводок.

Бестеновой, едва заметный,  
От большака наискосок,  
Стоял улыбчивый, рассветный,  
Полупроснувшийся лесок.

И в этой полудреме зыбкой  
Полурассвета, полутьмы  
Тем больше таяла улыбка,  
Чем ближе подходили мы.

Под невысокой зорькой летней  
Он не бежал и не дрожал,  
Лишь только клен едва заметно  
Другому клену руку жал.

В тумане цвета блеклой синьки,  
Где и тропы не разберешь,  
Лишь посиневшие осинки  
И выдавали эту дрожь.

Какой там к черту великаны!  
Едва заметные дубы,  
Сцепившись гибкими руками,  
Стояли, молча хмуря лбы.

Им было стыдно и обидно  
Перед семейкою берез,  
По-деревенски несолидно  
Вдали белеющих взброс.

Природа, та же, не иная,  
Лишь чуть тревожней и старей,

Стояла, молча заслоня  
Своих лосей и глухарей.

Под затухающей луною  
Она была в тени ветвей  
Защищена от нас одною  
Незащищенностью своей.

А мы как два царя природы,  
Ее солдаты и сыны,  
Кому ветра, огни и воды,  
И мать-земля подчинены,—

Мы папиросами дымили,  
Настроив чуткое ружье,  
И не было в подлунном мире,  
Кто заступился б за нее!



## Вадим Сабинин

### Вьетнам

А там идет война.  
И голод,  
И разгром,  
И сон по карточкам,  
И смерть сиреной воет.  
Там только Ненависть да Вера,  
Эти двое —  
Сильнее всех,  
Когда они вдвоем.

Мне чудится коричневый урод,  
Растущий пауком четырехпалым.  
Он реки крови переходит вброд,  
Он освещает гибнущих напалмом.

И тянется бессонница ко мне,  
В висках стучит тревога телеграфом:  
Быть в стороне я не имею права —  
Мы слишком много знаем о войне.

# Владимир Савельев

## Выстрелы

Говорил он толково и веско,  
будто нас различал вдалеке.  
И тогда вдруг  
задергался резко  
черный браунинг в женской руке.

И тогда, постигая заботы,  
за свинцом полоснувшие вслед,  
кто-то вскрикнул истошно,  
а кто-то  
молча кинулся на пистолет.

В души хлынуло недоуменье:  
охраняем он или храним?  
Пошатнулся боец  
на мгновенье  
или только планета под ним?

И, насупив белесые брови,  
вижу я, словно стоя вблизи:  
в алых капельках  
ленинской крови  
закипают тревоги Руси.

Я склоняюсь над столиком  
низко  
и, минувшему наперекор,  
отвечаю на взгляд террористки  
немигающим взглядом в упор.

Знаю,  
первых и встарь не жалели.  
Но, сближаясь один на один,  
те стреляли хотя б на дуэли,  
эта била, таясь, из-за спин.

Эта зябла, в толпе карауля...  
Из того отдаленного дня  
прорываться  
отравленным пулям,  
в суете настигая меня.

Ведь, ликующе целясь из мрака,  
можно правду и ранить подчас,  
и сразить наповал...  
Но, однако,  
кто убьет ее в каждом из нас?

Вечерами и в утренней рани,  
сколько страхом меня ни травми,  
я по жизни иду,  
как по грани  
чьей-то злобы и чьей-то любви.

Я того добиваюсь ночами,  
хоть давно отгремели бои,  
чтобы пулей враги отвечали  
на бессонные строки мои.

И себя  
от свинцовых укусов  
за надежной броней не таю.  
Но слепая отчаянность труса  
непохожа на смелость мою.

Но недаром я  
в памяти цепкой  
обрываю недолгую связь  
между бережно поднятой кепкой  
и косынкой, затоптанной в грязь...

## Совнарком

С утра переполнен делами,  
как чайник крутым кипятком,  
на митингах и за столами  
бессонно кипел Совнарком.

Стучала машинка.  
А рядом  
с крестьянами спорил матрос.  
В углу командиры отрядов,  
сойдясь, хохотали до слез.

В текучку вникавшие жадно,  
цигарок на миг не гася,  
наркомы в потертых кожанках  
срывали в чаду голоса.

И, тщась  
у австрийской винтовки  
разок передернуть затвор,  
могучий детина в поддевке  
троих выводил в коридор.

И кто-то из пылких кронштадтцев  
громил себя в грудь кулаком...  
Чтоб с толком  
во всем разобраться,  
ты грозно кипел, Совнарком!

А твой председатель мятежный,  
которого ждали века,  
был скромненький,  
воспитанно-вежлив  
и даже застенчив слегка.

Но был он  
в гуденье суровом,  
в морозящем скрипе сапог  
то щедр на крылатое слово,  
то сдержан, насмешлив и строг.

То скор на любые ответы...  
И, тропы торя по прямой,  
страну сотрясали декреты,  
как поступь свободы самой.

Покончив с блестящей элитой,  
хранившей себя взаперти,  
ты сердцем,  
народу открытым,  
гремел у эпохи в груди.

И, клятый врагом и воспетый  
раскатами давних громов,  
слепишь ты не сталью,  
а светом  
высоких и честных умов.

## Грязнуха

Существуя не по слухам,  
мелководна и узка,  
вдаль течет река Грязнуха,  
отражая облака.

Отражая скобки неба  
в глади выгнутых протоков...  
Был ей дорог или не был  
тот безвестный паренек?

Шустрый — ушки на макушке,  
чуб по ветру, а лицо  
сплошь в коричневых веснушках,  
как скворчиное яйцо.

Задавая тон и моду,  
я спускался без хлопот  
на едва схвативший воду  
прогибающийся лед.

Растирал ладони снегом  
и, от трусости удал,  
через проруби  
с разбегу  
на коньках перелетал.

Лед ночами грохал глухо...  
И до будущей весны  
индевели над Грязнухой  
неразгаданные сны.

А под толщей равнодушной  
в дни морозов  
искони  
в ней страдали от удущья  
красноперки и лини.

Но река не знала злобы.  
По весне гоня волну,  
вновь она  
за счет сугробов  
раздавалась в ширину.

Раздавалась в звоне прытких  
и слепающих ручейков,  
словно сматывала нитки  
с оседающих клубков.

Той порой и я, простужен,  
но не скован в берегах,  
дотемна бродил по лужам  
в материнских сапогах.

Шаг мой был  
упруг и чуток,  
взгляд — воинственен и шал,  
хоть на жизнь гусей и уток  
я ничуть не посягал.

И, подбрасывая банку,  
волен делать что хочу,  
тяжеленную берданку  
резко вскидывал к плечу...

Сколько ж ныне  
у заветной,  
у итоговой черты  
сохранил я той наследной  
деревенской доброты?

Той возвышенности духа,  
тех невидимых корней...

Но сливается Грязнуха  
с чистой памятью о ней.

Там в любую непогоду  
без смятенья и тоски  
тонет время

год за годом  
в тихих заводях реки.

Утки кричат без опаски.  
И в безветренной тиши  
там нашептывают сказки  
вековые камыши.

## Давид Самойлов



Была туманная весна,  
И были нежные березы.  
О март-апрель, какие слезы!  
Во сне какие имена!

Туман весны, туман страстей,  
Рассудка тайные угрозы.  
О март-апрель, какие слезы —  
Спросонок, словно у детей.

Как корочку, хрустящий след  
Жуют рассветные морозы.  
О март-апрель, какие слезы —  
Названья и причины нет.

Вдали, за гранью голубой,  
Гудят в тумане тепловозы.  
О март-апрель, какие слезы!  
О чем ты плачешь? Что с тобой?

## Названья зим

У зим бывают имена.  
Одна из них звалась Наталья.  
И было в ней мерцанье, тайна,  
И холод, и голубизна.

Еленую звалась зима.  
И Марфою. И Катериной.

И я порою зимней, длинной  
Влюблялся и сходил с ума.

И были дни, как шерсть и мех.  
Как теплый пух зимы туманной...  
А эту зиму звали Анной —  
Она была прекрасней всех.

## Апрельский лес

Давайте каждый день приумножать богатства  
Апрельской тишины в безлиственном лесу.  
Не надо торопить. Не надо домогаться,  
Чтоб отроческий лес скорей отер слезу.

Ведь нынче та пора, редчайший час сезона,  
Когда и время — вспять и будет молодеть,  
Когда всего шальней растрепанная крона  
И шапку не торопится надеть.

О, этот странный час обратного движенья  
Из старости... Куда? Куда — не все ль равно!  
Как будто корешок волшебного женьшеня  
Подмешан был вчера в холодное вино.

Апрельский лес спешит из отрочества в детство.  
И воды вспять текут по талому ручью.  
И птицы вспять летят... Мы из того же теста:  
К начальному — назад! — спешим небытию.



## Соловьи Ильдефонса Константы

Ильдефонс Константы Галчинский дирижирует соловьями:  
Пиано, пианиссимо, форте, аллегро, престо.  
Время действия — ночь. Она же и место.  
Сосны всплывают в небо романтическими кораблями.

Ильдефонс играет на скрипке. Потом на гитаре.  
И снова на скрипке играет Ильдефонс Константы Галчинский.  
Ночь соловьиною трелью прокатывает в гортани.  
В честь прекрасной Натальи соловьи поют по-грузински.

Начинается бог знает что: хиромантия, волхованье.  
Зачарованы люди, кони, звезды. Даже редактор,  
Хлюпя носом, платок нашаривает в кармане,  
Потому что еще никогда не встречался с подобным фактом.

Константы его утешает:

— Ну что распустил нюни!  
Ничего не случилось. И вообще ничего не случится.  
Просто бушуют в кустах соловьи в начале июня.  
Послушайте, как поют! Послушайте — ах, как чисто!

Ильдефонс забирает гитару. Обнимает Наталью.  
И уходит сквозь сиреневый куст. И про себя судачит:  
«Это все соловьи!.. Вишь, какие каналы!  
Ведь плачут, черт побери! Хотят — не хотят, а плачут!»

## Святогорский монастырь

Вот сюда везли жандармы  
Тело Пушкина (о милость  
Государя!), чтоб скорей,  
Чтоб скорей соединилось  
Тело Пушкина с землей  
И навек угомонилось.

Здесь, совсем недалеко  
От Михайловского сада,  
Мертвым быть ему легко,  
Ибо жить нигде не надо.

Слава богу, что конец  
Императорской приязни  
И что можно без боязни  
Ждать иных, счастливых дней —  
Здесь, совсем недалеко  
От Михайловского дома,  
Знать, что время невесомо,  
А земля всего родней;  
Здесь, совсем недалеко

От заснеженной поляны,  
От Тригорского и Анны —  
От Мгновенья Анны Керн;  
Здесь, на шаг от злой судьбы,  
От легенд о счастье мнимом,  
И от кухни, полной дымом,  
И от девичьей избы.

Ах, он мыслил об ином!  
И тесна казалась клетка,  
Смерть, одна ты — домоседка  
Со своим веретенем...

Вот сюда везли жандармы  
Тело Пушкина. Ну что ж,  
Пусть нам служит утешеньем  
После выплывшая ложь,  
Что его пленяла ширь,  
Что изгнанье не томило...  
Здесь — изгнанье, здесь — могила.  
Святогорский монастырь.

## Владимир Семакин



За Кулигой<sup>1</sup> — у камских истоков,  
у чертей на куличках — опять  
от наплыва разбуженных соков  
деревам уже некогда спать.

Под корою такое брожение,  
словно в комле — избыток дрожжей.  
Так легко — словно я в окруженье  
всех своих довоенных друзей.

Словно что-то во мне воскресили —  
не иду, а плыву среди трав,  
ни душевного пыла, ни силы —  
ничегошеньки не растеряв,

<sup>1</sup> Село в Приуралье.

ничего не отдав дорогого  
на потраву, на глум, на распыл...  
Словно горя и впрямь никакого  
на земле я еще не испил.

Словно шумные эти березы  
ни листка не сронили в былом  
и по той же тростинке стрекозы  
бьют небьющимся звонким стеклом.

От поемного меду шалею —  
и не рвется прерывистый путь  
по годам, о которых жалею,  
потому что нельзя их вернуть.



Тысяч пять или более лет  
шелестит за морями секвойя.  
Дуб — ровесник Москвы, мой сосед —  
и поныне стоит под Москвою.

И сейчас еще в силе...  
А вон  
однолетник — лиловая челка.  
Вижу: дожил до осени он,  
и хотя еще кружится пчелка,

но пора...  
Он поник в полусне —  
и отходит с улыбкою кроткой.  
И помстится, покажется мне  
жизнь моя  
не такой уж короткой.



Ляжешь в лесу на спину,  
развалишься, как барон.  
В небе плывут махины —  
тучи сосновых крон.

Ветви — не крылья чаек, —  
сколько одной смолы!  
Ветер всюю качает  
маятники-стволы.

Надо же так безбожно —  
ходит земля, как струг.  
Боязно мне.

Тревожно  
в сердце моем —  
а вдруг...

Сам будто стал сосною.  
Круча — у самых ног.  
Чувствуешь  
всей спиною  
каждый качок и вздрог.

По ветру полосами  
вытянулся камыш.  
Вместе с рекой, с лесами —  
руки взрмет — летишь.



## 3

А мы бредем с тобою наугад,  
Шуршат в траве увядшие соцветья,  
В какое-то забытое столетье  
Ведет аллеей потемневшей сад.

Боюсь сказать я что-то невпопад,  
Боюсь ветлу нечаянно задеть я.  
Несокрушимой стражею бессмертья  
Здесь липы легендарные стоят.

Я на границе вечера и дня  
Все то, что было скрыто от меня,  
Постичь пытаюсь взором утомленным.

Обозначая чуть заметный след,  
Струится зыбкий невесомый свет  
По травам порыжевшим и зеленым.

## 4

По травам порыжевшим и зеленым  
Скользнула тень надломленным  
крылом,  
И отзвуком глухим и разветвленным  
Погасло эхо за крутым холмом.

И в этот миг по кронам затемненным,  
Сквозь тишину, царящую кругом,  
Себя не признавая побежденным,  
Вдруг устремилось солнце напролом.

И, наши очертанья изменяя,  
Колдует сад, как много лет назад,  
Листву резную медленно роняя.

Над нами блики странные горят.  
Причудливые тени удлинняя,  
Сквозь листья пробивается закат.

## 5

Сквозь листья пробивается закат.  
Опять врасплох захваченный закатом,  
Я слышу, как березы шелестят  
И пахнет небо дымом горьковатым.

Как в детстве, мир волшебен и космат.  
И облако над дальним перекатом —  
Пусть мне сравненье древнее простят —  
Мне кажется пылающим фрегатом.

Как будто бы из странствий возвратясь  
И обожжен дыханьем приглушенным,  
Ты с детством восстанавливаешь связь.

И кажется весь мир одушевленным.  
Травинкой каждой и стволем светясь,  
Пронизан сад прозрачным небосклоном.

## 6

Пронизан сад прозрачным небосклоном,  
И резким светом все обнажено.  
Из синевы рождающимся звоном  
Все за тебя уже предрешено.

И то, что было неопределенным,  
И что ночами мучило давно.  
То, что подспудным было, затаенным,  
В душе твоей сейчас приглушено.

И ничего твоей душе не надо,  
И, слава богу, все желанья спят,  
Прислушиваясь к шуму листопада.

Ты этой безмятежностью богат.  
И то, что небо под рукою, рядом,  
Вдруг на мгновенье прозревает взгляд.

## 7

Вдруг на мгновенье прозревает взгляд  
Туманный контур будущих событий.  
В тебе сошлись, переплелись, звенят  
Далеких дней невидимые нити.

И сотрясает будничный уклад  
Предчувствие пророческих открытий.  
Но тишины неповторимый лад  
Дороже нам, пожалуй, всех наитий.

Не властна над тобою маета,  
И в воздухе, закатом опаленном,  
Чиста прожилка каждого листа.

В счастливый час под небом  
воспаленным  
Дано тебе увидеть неспроста,  
Каким весь мир бывает просветленным.

## 8

Каким весь мир бывает просветленным,  
Конечно, ты не ведал, не гадал,  
Когда воображеньем распаленным  
Вернуть назад прошедшее мечтал.

Над временем, в тебе запечатленном,  
Ты сказочную власть приобретал.  
Ты выпрямлял, что было искривленным,  
Грядущую беду предупреждал.

Не так я нынче время измеряю,  
И, обретя дорогу к тишине,  
Я ни за что ее не потеряю.

Оставшись сам с собой наедине,  
Как заклинанье, нынче повторяю:  
Не возвращайся, молодость, ко мне!

Не возвращайся, молодость, ко мне.  
С тобой прощаюсь, молодость, навеки.  
Пусть, отражая небо в глубине,  
Вершат свой путь необратимый реки.

Играют блики на холодном дне,  
Смежаю я пылающие веки,  
И брезжат мне в туманной стороне  
Последние синеющие вехи.

Ну что ж. Тебе известно наперед  
Чередованье ночи и рассвета.  
Да будет вечен их круговорот!

Пускай над полем дымчатого цвета  
В янтарной мгле редееет небосвод.  
Пускай в оврагах вымирает лето.

## 10

Пускай в оврагах вымирает лето  
И, удаляясь, меркнут голоса.  
Пронзительность таинственного света  
Слезую резкой нам слепит глаза.

Когда пройдет оцепененье это  
И задрожит над лесом полоса,  
За горизонтом пропадая где-то,  
Нам возвращают землю небеса.

Омытая невидимой рекою,  
В невидимой теряясь стороне,  
Земная твердь становится другою.

Прошелся ветер тихо по стерне.  
И все вокруг исполнено покоя,  
И паутинки тают в вышине.

## 11

И паутинки тают в вышине,  
И тает небо хладной стружкой дыма.  
Дыханье листьев, словно в полусне,  
И ощутимо, и неощутимо.

И зреет слово в тайной глубине,  
Оно еще пока необъяснимо.  
Быть сопричастным этой тишине  
Тебе, как никогда, необходимо.

Я ничего не в силах позабыть.  
Мне дорога осенняя примета,  
Когда звенит серебряная нить...

Но что-то остается без ответа,  
И ты никак не можешь уловить  
Игру теней и призрачных просветов.

Игру теней и призрачных просветов —  
Ты видишь — гасит вечер голубой.  
Ветла, как охлажденная ракета,  
Встает над почерневшею водой.

Мерцающая чуткая планета  
Осенена сгустившейся листвою,  
И если б мог, то я продлил не лето,  
А листопад, летящий над тобой.

Освобожден от будничного груза,  
С травой и листвою наравне  
Ты весь во власти первозданных музык.

И то, что ныне непонятно мне,  
В урочный час придирчивая муза  
Пусть воскресит в вечерней тишине.

## 13

Пусть воскресит в вечерней тишине,  
Соединяя нас, воспоминанье,  
Дыханье учащенное свиданья  
И силуэты смутные в окне.

Годами обостряется вдвойне  
Понятное лишь нам предназначенье.  
Не говори, устав от ожиданья,  
Что болдинская осень спит во мне.

Чеканных форм страшится мой язык,  
И я боюсь, что стих мой не привык  
К традициям классических поэтов.

И я пишу лишь только для тебя,  
В ночи бессонной строчки торопя,  
Венок из моды вышедших сонетов.

## 14

Венок из моды вышедших сонетов.  
Ах, боже мой, какая старина!  
Наверно, скажут: — Архаично это.—  
Наверно, скажут: — Заданность видна.

А я сошлюсь на осень. Для поэта  
Пусть служит оправданием она.  
Она, увы, несовременна где-то  
И тоже повтореньями полна.

Мой критик в спорах изощрен и прыток,  
Но верю я: несовременный лад  
Моих стихов простит мне все же критик.

Он тоже был — мне думается — рад,  
Когда на гулких городских орбитах  
Смешал сегодня краски листопад.

Смешал сегодня краски листопад.  
Он суматошным был и исступленным.  
И мы бредем с тобою наугад  
По травам порыжевшим и зеленым.

Сквозь листья пробивается закат.  
Пронизан сад прозрачным небосклоном.  
Вдруг на мгновение прозревает взгляд,  
Каким весь мир бывает просветленным.

Не возвращайся, молодость, ко мне!  
Пускай в оврагах вымирает лето  
И паутинки тают в вышине.

Игру теней и призрачных просветов  
Пусть воскресит в вечерней тишине  
Венок из моды вышедших сонетов.

## Вадим Сикорский



Декорации одни и те же —  
океаны, горы, лес, поля.  
Узкою границей побережий  
от воды отделена земля.

Мир — чертеж, не обведенный тушью,  
света с тенью вечная игра.

Тихою границей равнодушья  
зло отмежевалося от добра.

Как легко от жизни отстраниться,  
ни в какие не уйдя края.  
Даже паутинной нет границы,  
отделившей смерть от бытия.



В троллейбусе однажды, хоть не тесно  
(о, грозный миг, я все же встречусь с ним!),  
мне девушка свое уступит место.  
Я сяду, чтоб не выглядеть смешным.

Болезни не боюсь и жизни утлой.  
Но мне все чаще снится в страшном сне  
та девушка, веселая как утро,  
вдруг место уступающая мне.

## Михаил Скуратов

### Калики переходные

Калики переходные, бродячие сказители,—  
На вас мы — не переходные; мы только просто — жители,  
А вы-то ведь — певцы!..  
Ах, мне бы стать каликою, народным стать сказителем,—  
И слогом я прокликаю, став песни повелителем,—  
Пройдя во все концы!

Ведь я ж бродяга истовый, в стране бродяжьей выросший!  
Бродяг ловили приставы, чиновники-пронерыши;  
А пелось — про бродяг!..  
Бродяга — он же песенник, и выдумщик, и сказочник;  
Слова его — не в плесени, а слов других — покрасочней,  
И врать он — не дурак!

Так, значит, мне положено по роду стать слагателем?..  
Не мало мной похищено, как по тайге старателем,  
Что золото искал.  
Бродяги песни баяли — калики переходные,—  
Я слыл не краснобаем ли? — и песни, с чьими схожие? —  
Слагал про свой Байкал,

Про Русь свою отцовскую, про родину — про матушку...  
Эх, спеть еще б таковскую, да про любовь — про лапушку!  
Хотел бы я — пострел!..  
Калики переходные, народные сказители,—  
По духу мне пригожие, скажите мне — хотите ли,  
Чтоб с вами песни пел?

## Борис Слуцкий

### Десант

Резервы сидели во рву  
и слышали гул переправы.  
Над ними неспешно росли  
высокие вешние травы.  
Куриль было запрещено,  
беседовать не разрешалось,  
но многое было дано:  
остались и совесть и жалость.  
А мысли толпились у них,  
как рядышком роты толпились,  
которые в берег вцепились  
на этих лугах заливных.

Так что же за те два часа  
прошло сквозь сознание десанта?  
Какие гремели курнты?

Нашептывали голоса?  
Какие обеты даны?  
Какие познания скопили?  
Казалось, не сыщешь вины,  
которой бы не испутили.

Безгрешные, как синева  
небесная,  
чище рассвета  
все те, кто прожил эти два  
часа,  
дотерпел до ракеты,  
шагнули вперед. На весах  
истории

грузно упали.  
И снова окопы копали  
и утренней ждали росы.

## «Есть!»

Я не раз и не два и не двадцать  
слышал, как посылают на смерть,  
слышал, как на приказ собираться  
отвечают коротеньким «Есть!».

«Есть!» в ушах односложно звучало,  
долгим эхом звучало в ушах,  
подводило черту и кончало:  
человек делал шаг.

Но ни разу про Долг и про Веру,  
про Отечество, Совесть и Честь  
ни солдаты и ни офицеры  
не добавили к этому «Есть!».

С неболтливым сознанием долга,  
молча помня отчизну свою,  
жили славно, счастливо и долго  
или вмиг погибали в бою.



Охватывало странное веселье,  
как будто бы опять на новоселье —  
в теплушку, а потом — в окоп, в блиндаж.  
Охватывал какой-то странный раж.

Охватывала молодость. Вторая.  
Когда горю и знаю, что сгораю.  
Последняя. Ведь третья — это смерть.  
Хотелось снова пробовать и сметь.

## Возраст авиации

Излет, говорят, где бы прежде сказали закат.  
Уже авиации лет пятьдесят — шестьдесят.  
Уже излеталось пять-шесть поколений пилотов,  
и мы наблюдали такую же цифру излетов.

Излет в авиации — пенсия и мундир,  
и на небо смотришь сквозь мелкую сетку гардин,  
и пишешь статейки в журнал «Авиация и космонавтика»  
с таинственной подписью «Мнение практика».

Меня занимает излет нелетающих тел.  
Столетия с доктринами я рассмотреть бы хотел.  
Закаты миров, а не просто закаты светил,  
все это бы я осветил, охватил.

Меня занимает, как старятся, как устают,  
без боя большие губернии как отдают.  
Сначала губернии. После же — все, кроме чести.  
Чуть погода — все с честью и совестью вместе.

Я интересуюсь падением, но не звезды,  
а, скажем, философа Сковороды.  
Поскольку не падал сей добрый и смирный философ,  
я интересуюсь десятком подобных вопросов.

Я к возрасту авиации скоропостижно лечу.  
Озлбиться я не хочу. Сдаться я не хочу.  
Хочу излетаться, — не так, как эпохи. Как пули,  
которых с пути никакие ветра не свернули.

Лететь до конца по почти что прямой кривой  
и врыться в песок, без претензий, что я, мол, еще живой.





Эта женщина молода. Просто она постарела.  
Эта женщина хороша. Только выглядит плохо.  
Этой женщине тридцать лет. То есть тридцать до старости.  
Все еще впереди. Нет почти ничего позади.  
Воспоминания, изнемогающие от усталости,  
не увяжутся с ней. Им, наверное, не по пути.

Ей путевку достать, нос припудрить и губы подмазать.  
За ночь выспаться, утром на правую ногу встать —  
и Ромео опять на балкон ее примется лазать,  
и звезда ее снова возьметса блистать.

Сбилась с шагу какой-то невидимой роты красавиц,  
но она поднажмет или сообразит,  
снова в ногу пойдет, земли почти не касаясь,  
потрясет, изумит, поразит.

Три попытки — как в спорте — и ей полагаются.  
Остается еще одна.  
Здравствуй, умница!  
Будь же счастливой, красавица!  
Все наладится.  
Пей до дна.



Я был молод. Гипотезу бога  
с хода я отвергал, с порога.

Далеко глаза мои видели.  
Руки-ноги — были сильны.  
В мировой вине, общей гибели  
не признал я своей вины.

Значит, молодость и здоровье —  
это первое и второе.  
Бог — убежище потерпевших,  
неспособных идти напролом,  
бедных, сброшенных с поля, пешек.  
Я себя сщушал королем.

Как я шествовал! Как я властвовал!  
Бог же в этом ничуть не участвовал.

Идеалы теряя и волосы,  
изумляюсь, что до сих пор  
не услышал я божьего голоса,  
не рубнул меня божий топор.

Видно, власть, что вселенной правила,  
исключила меня из правила.

## Алексей Смольников

### Радист

В декабре 1958 года при раскопках в Брестской крепости найдена обгоревшая радиостанция и рядом с ней останки радиста — рядового Макарова, который, как выяснилось, пытался 22—23 июня 1941 года из отрезанной уже крепости установить связь с нашими отходящими частями.

Времен сорок первого фото,  
Панель обгоревшей РБ —  
Не много осталось нам что-то  
На память, радист, о тебе...

Когда возле рации этой  
Тебя откопали, солдат,  
Над мирной, над зимней планетой  
Семнадцатый шел снегопад.

В земле обожженной, в потемках,  
Где тихо сочилась вода,  
Лежал ты, не зная о том, как  
Мы все же вернулись сюда.

А мы добрались до Берлина,  
Хоть шли мы четыре зимы.  
Ну, вот и сошлись у витрины,  
Ну, вот и увиделись мы...

Чего ж ты зовешь нас, не слыша,  
Что кончилась миром война?  
Чего ж под музейною крышей  
Всё рация эта слышна?

Как будто опять, как когда-то  
Над Бугом, летит позывной.  
Как будто: — Куда вы, ребята? —  
И вдруг — тишина за спиной.

А мы все — к востоку, к востоку,  
А сзади пылают хлеба,  
И глохнет над степью широкой:  
«Куда вы, куда вы, ребята?..»

И вот мы молчим у витрины,  
Листва шелестит за окном...  
Давно мы пришли из Берлина,  
Да разве расскажешь о том...

### В Загорском музее

Есть в Загорске, в музее,  
Среди патриарших палат,  
Где с портретов глазают  
Российских монархов парад,  
Где из рам золоченых,  
Готовые шикнуть тотчас,  
Их заморские жены  
Надменно взирают на вас,  
Где стоят по паркету,  
Навечно поставлены в строй,  
Патриархов кареты,  
Чванливо блестя мишурой,  
Их звезды, их ризы,  
Их перстни, финифть и меха,  
Расписные сервизы  
И прочая их чепуха,  
Что, от спеси шалея,  
Вам лезет нахально в глаза,—  
Есть в Загорске, в музее,  
Один удивительный зал.  
Будтоходишь в светлицу,

В архангельский дедовский дом —  
Туесок, солоница  
С горластым резным петухом,  
Прялка, люлька, понева,  
Набор веретен, ендова —  
Все разумно, как слово,  
Все просто, как в поле трава.  
Ничего здесь такого,  
Чего бы не знал наперед,  
Только хлебом подовым  
Внезапно от хлебниц пахнёт,  
Только ставень вдруг скрипнет  
(На оттепель ставни скрипят),  
Будто бабушка крикнет,  
Домой зазывая внучат...  
О певучее слово  
Медлительной речи отцов!  
Будто снова и снова  
Себя повторяешь с азов,  
Будто спишь — не проснешься  
Среди луговой широты,

Будто пьешь — не напьешься  
Живой родниковой воды...

Есть при лавре Загорской  
Такой вот в музее отдел.  
(Для туристов заморских,  
Наверное, кто-то радел,  
Собирая дотошно  
По избам, в чердачной пыли,  
Где валец, где кокошник,  
Что бабки припрятать смогли.)  
Так вот он и скопился  
В том зале, чужом и пустом,  
Будто вдруг попросился  
В людскую сюда, на постой.  
К этим аглицкой стати  
Каретам, коврам, хрусталиям,  
Будто высушить платье,  
В котором весь день по полям...  
Их бы в те вон палаты,  
Где пастыри их зажались:  
Мол, пожилы когда-то,

А нуте-ка, посторонись!  
Им храмины б отгрохать,  
Чтоб окна — в полнеба стекло,  
Не робей, мол, эпоха,  
Смотри, мол, как в мире светло!  
Да не властны мы будто  
Над теми, кто жили в тот век.  
Траектория круто  
Несет нас все дальше, все вверх,  
Не заботясь нимало,  
Что кто-то отстал там, пыля.  
Вот и нам уже стала  
Приютом и домом Земля —  
Эти избы и травы,  
Что шепчут нам тихо: иди...  
Только что ж это, право,  
Вдруг сердце зайдет в груди,  
Будто вышел на горку,  
Лишь чуб ворошит ветерок,  
Будто сдавлено горло —  
Никак не проглотить комок...

## Ирина Снегова



Лежит на соснах, провисая, небо,  
Как перемокший невод на плетне.  
Течет с него. Но не поддайся гневу  
И зло не говори о хмуром дне.  
Он приостановил нас в нашем беге?  
Дороги залил? Время не гоня,  
Присядем,  
    посидим, как в прошлом веке,  
Не обижая пасмурного дня.  
Тишком,  
    себя к бездельникам причисля,  
Сосредоточась в медленной тени...  
По большей части стоящие мысли  
Приходят нам в бессолнечные дни.



Печь вытоплена. В гуле, в пенье  
Сгорели яростно дрова.  
Лишь по угольям стружкой, тенью,  
Глазком последнего цветенья  
Перебегает синева.  
Остерегись ее! С годами  
Поймешь. Началу — невдомек,  
Что греет жар углей — не пламя,  
Что смерть таят не вспышки сами,  
А поздний синий огонек.

# Владимир Солоухин

## Разговор человека и ястреба

### Человек

Я хожу по лесам.  
По деревьям упавшим  
Перебираюсь через лесные реки.  
Накрываю шалаш, разжигаю костер  
(Заметьте, что даже в дождик  
Я разжигаю хороший костер,  
Тратя одну лишь спичку)  
И ночую под шорох дождя.

Иногда я карабкаюсь под облака  
По желтым сосновым сучьям,  
Покрытым соскальзывающей шелухой.

Ястреба  
Начинают делать заход  
И пикируют, как «мессершмитты!».  
Я вижу их когти на лапах, прижатых к груди,  
Готовые хваткой глухой в мясо вонзиться:  
В мясо тетерки,  
В мясо дрозда,  
В соловьиное,  
В перепелиное,—  
Лишь бы было оно горячо,  
Лишь бы брызнуло свежей кровью, когда  
Эти когти вонзятся в него,  
Гнутые, ястребиные.

Я вижу еще и глаза  
У пикирующих ястребов.  
В них ястребиный неистребимый огонь  
Освещает звериную темень.  
Он придает мне решимости.  
(За сучья цепляясь одной рукой,  
Приходится палку держать в другой,  
Защищая глаза и темя.)

Но я все равно доберусь до гнезда,  
Схвачусь за черные жесткие прутья,  
Как бог справедлив и разгневан  
(Мусор и птичий помет сыплются сверху в глаза,  
А сосна  
Плавно и сладко качается вправо и влево),  
И буду за черные сучья трясти и качать,  
Пока не сорзу его с места.  
О сучья дробясь и ломаясь, оно полетит стуча,  
С пометом,  
С подстилкой.  
С птенцами вместе.

Потому что (как ни покажется странным)  
Из маленьких милых птенцов  
Вырастают опять ястреба,  
С когтями, прижатыми плотно к груди,  
Готовыми в мясо вонзиться...  
Вот почему я карабкаюсь на сосну  
Каждый раз,  
Всегда,  
Если на самой вершине ее  
Ястреб гнездится.

### Ястреб

Я вне закона, ястреб гордый,  
Вверху кружу.  
На ваши поднятые морды  
Я вниз гляжу.

Я вне закона, ястреб сизый,  
Вверху парю.  
Вам на меня, глядящим снизу,  
Я говорю.

Меня поставив вне закона,  
Вы не учли:  
Сильнее вашего закона —  
Закон Земли.

Закон Земли, закон Природы,  
Закон Весов.  
Орлу и щуке пойте оды,  
Прославьте сов.

Хвалите рысь и росомаху,  
Хорей, волков.  
А вы нас всех единым махом  
В состав врагов,

Несущих смерть, забывших жалость,  
Творящих зло.  
Но разве легкое досталось  
Нам ремесло?

Зачем бы льву скакать в погоне  
И грызть и бить?  
Траву и листья есть спокойней,  
Чем лань ловить.

Стальные когти хищной птицы  
И нос крючком,  
Чтоб манной кашкой мне кормиться  
И молочком?

Чтобы клевать зерно с панели,  
Как голубям?  
Иль для иной какой-то цели,  
Неясной вам?

Так что же, бейте, где придется,  
Вы нас, ловцов.  
Все против вас же обернется  
В конце концов!

Для рыб, для птиц любой породы,  
Для всех зверей  
Не ваш закон — закон Природы,  
Увы, мудрей.

Так говорю вам, ястреб-птица,  
Вверху кружа.  
И кровь растерзанной синицы  
Во мне свежа.

## Светлана Сомова

### Баллада о Н. К. Крупской

Когда кончается ночь  
и рассеянный звездный свет  
Осыпается с высоты  
на седые от снега ели,—  
Площадь Красная в полусне,  
ни движенья, ни шума нет...

Только башенные часы  
шли и шли и тихонько пели,  
Только чья-то возникла тень. Иль взметнулся во мгле снежок,  
Иль рассвет подступил с реки, у Кремлевской стены синяя?..  
Чей бесшумен тяжелый шаг,  
по-рабочему прост платок?  
Кто глядит из-под белых век  
в дверь прикрытую Мавзолея?..

Отражения красных звезд  
по граниту вели тропу,  
Или это ее следы — год за годом, от дома к дому?..  
С теплотою в изгибе губ,  
складкой горестною на лбу,  
Эта женщина снова шла  
по дороге к Кремлю ночному.  
Даже в атомный странный век  
разве сыщется человек,  
Что не помнит это лицо,  
задушевную эту скромность  
И натруженные глаза,  
просиявшие из-под век  
Чистой русской красотой, где живут и любовь, и строгость.  
В сновиденьях своих, поэт,  
эту светлую тень зови,  
И да будет счастьем твоим  
мысли творческой притяженье!  
Угадай чудотворный дар  
молчаливой ее любви,  
Подвиг разума,  
сердца взлет,  
нежной преданности служенье.

И сегодняшней часовой  
ей по-воински честь отдал,  
Торопливо раскрыл пред ней  
настежь Троицкие ворота,  
«Это Ленинова жена!» — он себе самому сказал.  
И с улыбкою вслед смотрел, повернувшись вполоборота.  
А она ускорила шаг  
и, мгновеньями дорожа,  
Вдруг взбежала по крутизне белой лестницы  
к той квартире,

Где тотчас же зажегся свет  
в окнах третьего этажа,  
Лампы ленинской огонек,  
так всем нужный в тревожном мире.

Ты гори, дорогой огонь!  
В час предутренней тишины  
Космонавты сюда придут  
перед стартом побыть с тобою...  
Серый купол и красный флаг.  
И у древней Кремля стены  
Пахнет ландышем белый снег,  
осыпают деревья хвою.

## Марк Соболев



То взрослою, то маленькой —  
ах, розга и лоза,  
Ассоль, чертовка, паинька,  
цыганские глаза!

И вот — в мои-то годики! —  
попал я в переплет;  
как будто я молоденький —  
ревнует, любит, врет.

Вошла в меня непрошено,  
прохлопал, где и как.  
Смеется: «Я хорошая!» —  
и верю ей, дурак.

Неверная — не венчана,  
подружка, не жена...  
О, как она доверчиво  
не вооружена!

Пробросишь слово резкое,  
одернешь свысока —  
и хлынет вдруг библейская  
из глаз ее тоска.

Метнулась птаха за море,  
а там пески сухи...  
В местечке или таборе  
зачахли женихи...

А впрочем, что ей прошлое —  
минутою жива.  
Смеется: «Я хорошая!» —  
девчонке трын-трава

и пристани, и росстани,  
а старость далеко...  
Как жить легко и просто ей,  
как жить ей нелегко!

## Дон Кихот

Дорога как дорога —  
пустынна и проста:  
ни бога, ни порога,  
ни друга —  
ни черта.

Какая нынче дата?  
Крещение? Рождество?  
А где-то мерзнет хата  
испанская  
его.

Под крышей не укрыться,  
и холоден очаг...  
Ну что, мой тощий рыцарь,  
печальный весельчак?

На выдумки умелец,  
ты в бой летишь, трубя,  
но крылья-то  
у мельниц,  
а ребра  
у тебя.

Ах, путаник упрямый,  
одумайся, постой!  
Ты спутал шлюху с дамой,  
дорогу с добротой

и млеешь, цепенея  
от страсти,  
а пока  
всю роскошь Дульцинеи  
чужая мнет рука.

Тебе бы осмотреться,  
хоть сбросить шоры с глаз,  
а ты —  
по зову сердца,  
как говорят у нас.

И вот цена эмоций —  
метельный свист во мгле...  
А здравый смысл плетется  
поодаль на осле.

Течет сироп клубничный  
с его простецких щек;  
хитрющий, симпатичный,  
достойный толстячок!..

А я  
на этом свете  
под белою пургой  
какой-то с ними третий —  
ни тот и ни другой.

И поровну делю я  
причастность к ним двоим..  
Но ощущаю,  
чую  
всем существом своим,

как тяжек вес таланта  
и как тонка броня —  
всей шкурой  
Россинанта,  
рабочего коня.



# Анатолий Софронов

## Поэма времени

(Главы)

I

Эпоха — слиток  
горестей и бед,  
В прожилках радостей и ожиданий.  
Эпоха — это  
прошлого портрет,  
От смеха  
до прощаний и рыданий.  
Мы все продукты времени...  
Любой  
Несет его,  
желая ль, не желая,  
Сначала за него идет он в бой,  
Потом живет, о прошлом вспоминая.  
Все биографии в эпоху вплетены,  
Каким бы цветом нитка ни плелась бы.  
Все помнится:  
и торжества и казни,  
В Европе ли,  
в Америке ли,  
в Азии.  
И даже на поверхности Луны.  
А ты живешь один,  
песчинка  
в сонме бурь...  
И все же не один —  
к Земле притянут,  
Живешь — поешь,  
умрешь — уйдешь один  
в лазурь.  
Полезным был —  
какой-то срок помянут.  
По-христиански —  
ровно сорок дней,  
Когда друзья сойдутся  
в круговую,  
Чтоб обсудить проблему мировую, —  
Наиважнейшую,  
что в этот час видней.  
А ты уже плывешь,  
земной не слыша грохот,  
Друзей твоих подпивших голоса.  
И только равнодушная эпоха  
Попутным ветром  
дует в паруса.  
А ниточка твоя, она осталась,  
Ее уже не выплесть никому,

Она ведет к началу твоему,  
Она большое самое  
и малость.  
Ты жил...  
Ты мял траву подошвами босыми,  
Ты стекла бил,  
дрожали в окнах рамы;  
И как тревожилась  
десятилетиями о сыне  
Кормившая тебя  
своею грудью мама.  
Теперь уже она стояла за столом,  
Глаза сухие,  
голос дребезжащий;  
Вокруг нее друзья твои,  
товарищи, —  
Эпоха,  
осенившая тебя крылом.  
Она была горда,  
глаза сухие,  
Отплакала,  
но слушала слова, —  
Какое счастье, что она жива  
И слышала  
слова  
друзей  
о сыне.  
Как мы страдаем,  
если мать живет,  
А сын  
в иное  
плаванье  
отчалил,  
Но есть, наверно, большее  
земное, —  
Чем видеть  
сына мертвого  
в отчаянье.  
И замерли  
подпившие друзья,  
И что-то большее,  
чем смерть,  
вошло в квартиру.  
Так пусть идет оно,  
идет,  
летит по миру,  
Суровой карою  
беспамятству  
грозя.

Эпоха —  
     наша служба  
                     и война.  
 Нет мира в ней,  
                     и мы всю жизнь воюем,  
 То за свою,  
                     а то за мировую,  
 А в сущности  
                     она у нас одна.  
 Она одна,  
                     все так же, как земля,  
 Трава, которую ты мял  
                     подошвами босыми,  
 На маленьком клочке земли своей —  
   России,  
 То о дожде,  
                     то о любви  
                                     ее моля.  
 В каких бы землях ты не побывал,  
 Какие бы не видел ты красоты,  
 Когда кончались все твои полеты,  
 Свиданья с ней ты, как с любимой,  
   ждал,  
 Ты прожил жизнь —  
                     теперь смотри назад,  
 Не так, как смотришь  
                     в стекла ветровые,  
 Пока твои еще глядят глаза  
 На все, что помнишь,  
                     битвы мировые.  
 И если ты эпохе чем потрафил —  
 Она тебе свой номер отобьет.  
 В числе других  
                     бессчетных биографий  
 Твоя в число других,  
                     как равная,  
   войдет.  
 ...Как хочется остаться вечно мальчиком,  
 Еще не знавшим  
                     скорби и любви,  
 Которому грозит все время  
                     мама пальчиком  
 И молит об одном:  
                     — Живи, мой сын,  
   живи!  
 Броди  
                     по косогорам  
                                     и просторам,  
 Мой руки вовремя  
                     и в девять спать ложись...—  
 Да, жизнь... Какая штука жизнь,  
 И длинная и очень даже  
                     скорая.  
 Я выхожу на берег...  
                     Под травой  
 Вода струится,  
                     быстрая, сквозная,

Ныряю  
                     вниз, как в детстве, головой.  
 А вынырну я где —  
                     еще не знаю.

## II

Не вынырну...  
                     Не вынырну!  
                                     Иду  
 Под воду камнем.  
                     Воли нет подняться.  
 Какие-то подводные  
                     богатства  
 Плынут вокруг  
                     и смотрят на ходу  
 На человека,  
                     что идет все ниже  
 Ко дну...  
                     Ко дну,  
                                     рукой не шевеля...  
 Не выстоял он...  
                     Нет, не выжил.  
 Оставил все,  
                     что значилось — Земля.  
 За ним вослед  
                     кидают акваланги,  
 Они, раздувши ноздри,  
                     вниз идут.  
 К нему струятся,  
                     словно руки, шланги,  
 Но он лежит,  
                     как свежий сруб,  
   раздут.  
 Куда его течение выносит?  
 Какой его встречает  
                     океан?  
 Какие рифы  
                     напоротья просят?  
 Какие спруты  
                     тянутся к рукам?  
 Вот — Атлантический...  
                     Пошли сплошные рифы,  
 Авианосцы  
                     тушами лежат,  
 И даже  
                     глуби океанские  
                                     дрожат  
 От авиатурбин,  
                     летающих, словно грифы.  
 А я не вижу этого всего,  
 Каким-то только дальним слухом  
   ощущаю.  
 Все кончено...  
                     Нет в мире никого,  
 Весь мир теперь  
                     в дыхание вмещаем.  
 На сколько вздохов,  
                     выдохов еще

Я задержусь,  
 еще соображая  
 О том, что было.  
 Все уже ушло.  
 И вот теперь  
 не стою  
 ни гроша я.  
 А все ведет,  
 все ниже,  
 в глубину,  
 Куда подводное течение  
 рвется;  
 Где бревна скользкие  
 забытого колодца,  
 Столбом стоящего  
 во всю его длину.  
 Плыву...  
 Плыву...  
 Индийский океан.  
 Пещеры...  
 Здесь живут еще кораллы.  
 Они живут...  
 А я?  
 А где мои орала?  
 И где мой взгляд,  
 летящий к облакам?  
 Нет ничего...  
 Течение несет...  
 Куда несет?  
 Не ведаю, не знаю.  
 Акула проплывает  
 вырезная  
 И узким глазом  
 на меня ведет.  
 Ведет, ведет...  
 И далее плывет.  
 Ее,  
 лежащий, я  
 не привлекаю...  
 Так, значит, не живой уже.  
 Блукаю...  
 И вдруг еще один  
 водоворот.  
 Вот завертело...  
 Тянет в океан...  
 И узнаю —  
 ведь это Тихий;  
 И водятся какие-то  
 пловчихи,  
 Но все без рук,  
 с глазами по бокам.  
 Как плавники,  
 колеблются усы,  
 И на спине —  
 такие же наросты,—  
 От них акулы,  
 словно брызги,— в россыпь,

Захлопнув в пасти  
 желтые резцы.  
 Я вижу —  
 киль проходит надо мной...  
 Ах, киль?!  
 Я что-то снова вспоминаю...  
 Я не один здесь...  
 Здесь под глубиной  
 Подводной лодки темь  
 волну вминает:  
 Темь... Темь...  
 Проходит мимо темь,  
 Я для нее  
 ничто уже не значу.  
 Все кончено...  
 И даже я не плачу,  
 Один покой лишь для меня  
 заманчив,—  
 Все остальное  
 темь и дребедень.  
 И я опять  
 плыву,  
 плыву,  
 плыву  
 И в новое течение  
 попадаю —  
 Не ем,  
 не пью,  
 не сплю,  
 не голодаю,  
 Я все постиг,  
 поскольку не живу.  
 Да, это так заманчиво,  
 не шевелясь,  
 Куда-то плыть  
 и видеть только глуби,  
 Когда тебя  
 уже никто не любит —  
 Все провода  
 оборваны на связь.  
 О, как заманчив этот вариант,  
 Когда ты все земное  
 оставляешь,  
 Куда плывешь —  
 не ведаешь,  
 не знаешь,  
 И никакой тебе  
 не нужен провиант.  
 Улыбкой рот  
 усталый свой ощерив,  
 Крестом безвольно  
 руки распластав,  
 Заплыть нечаянно  
 еще в одну пещеру,  
 От всех уйдя  
 и от всего устав.

Страдать не надо,  
 чувствовать не надо,  
 Любви не надо,  
 нет ее в крови;  
 Как поплавок,  
 ты сам себе отрада,  
 Как поплавок,  
 куда несет тебя —  
 плыви,  
 Но как дышать при этом тяжело,  
 Уже прерывист  
 каждый вдох  
 и выдох,  
 И ты далек от всех красот и видов,  
 И горло  
 судорогой  
 вдруг свело.  
 Совсем конец?  
 О, где же акваланги?  
 Ох, как бы мне их снова  
 ухватить?!  
 Я так хочу руками  
 шевелить!  
 Я жив еще...  
 Еще я не останки!  
 Но тяжело мне...  
 Я задыхаюсь...  
 Все уже... Конец!  
 И рот и уши —  
 беспомощные жабры.  
 Живут же так,  
 живут и дышат жабы  
 И даже плавают  
 куда-то под венец!  
 Русалки, где вы?  
 Вы меня спасете!  
 Пусть жабья кровь в артериях течет.  
 Счет на минуты.  
 На секунды счет,  
 Еще какой-то счет...  
 Дошел уже до соток.  
 Я жить хочу.  
 Руками шевелю...  
 Работают.  
 Я чувствую.  
 Тепло плывет навстречу.  
 Постой!  
 Не уплывай.  
 Не искалечу...

Я жизнь люблю...  
 Я так ее люблю!  
 На руки! На!  
 Тяни меня под солнце!  
 Еще тепла...  
 Тепла и света дай.  
 Меня не знаешь?  
 Что же, угадай!  
 Я жив еще!  
 Меня не тронул стронций!  
 На, ты...  
 Ты только смотришь  
 и зовешь...  
 Зовешь меня  
 глазами за собою.  
 Я рвусь к тебе!  
 Но ты куда-то прочь плывешь.  
 Но что это такое?  
 Небо голубое?  
 Так где же я?  
 Я вынырнул?  
 Достиг  
 Поверхности?  
 И я не задохнулся?  
 Я к берегу плыву.  
 Еще какой-то миг —  
 Я на песке.  
 Лежу...  
 Я потянулся  
 К земле.  
 К тебе,  
 которая меня  
 Из-под дна,  
 из тьмы небытия вернула...  
 О, как прекрасно  
 это время дня,  
 Когда весь мир наполнен  
 грозным гулом  
 Любви,  
 забот, горячего песка,  
 Еще другим,  
 неведомо хорошим;  
 Когда ползут  
 у самого виска  
 Два муравья  
 с громадной  
 тяжелой ношей.

## Николай Старшинов



Вот камыш поднимает щетины.  
Гром гремит, предвещая теплынь.  
И тогда-то выходит из тины  
Отоспавшийся за зиму линь.

Меж корней оживающих лилий  
С первым светом озерной зари  
Он дотошно копается в иле,  
Поднимая со дна пузыри.

Знаю, он привередлив и чуток,  
Сам собою любовно храним.  
Я убил уже несколько суток,  
Безуспешно охотясь за ним.

То себя за ракитою прячу,  
То и вовсе ложусь на траву.  
И, насадку меняя,  
Удачу,  
Как дикарь, заклинаньем зову.

Я наивность свою понимаю,  
Но она не смущает меня.  
Все равно я поймаю, поймаю  
Разодетого в бронзу линя.

И темнеет, и снова светает,  
И мое испитое лицо  
Все щетиной густой обрастает,  
Как травой-камышом озеро.

### Ода ваньке-мокрому

Ливень льет... Мороз жесток...  
Солнце брызжет майской охрой...  
Все цветешь ты, ванька-мокрый,  
Ненаглядный наш цветок.

Твой хозяин молодой,  
Он с цветами крут бывает:  
То совсем не поливает,  
То совсем зальет водой.

Что царит в его уме?  
Он вас держит — вот жестокий! —  
То на самом солнцепеке,  
То в углу, в крошечной тьме.

Он до жуткой духоты  
Надымит в своей камерке  
И сует огрызки, корки  
И окурки — все в цветы.

Вон герань едва жива,  
Даже кактус чахнет, глянь-ка...  
Лишь тебе, дружище ванька,  
Все на свете — трын-трава.

Не страшась любых невзгод,  
Ты растешь в кастрюле ржавой,  
Удалой да моложавый  
И цветущий круглый год.

# Татьяна Сырыщева

## Горелки

Гори-гори ясно,  
чтобы не погасло!..

Посреди двора большого, каменистого двора  
начинается веселая весенняя игра:  
на слова старинной песни друга за руку держать,  
а потом, разнявши руки, от горящего бежать:

Гори-гори ясно,  
чтобы не погасло!..

Та игра давно закончилась, а я еще горю,  
на непойманное солнце полумесяцем смотрю.  
Вижу: кони, кони, кони... И дневальный у ворот.  
Съели кони верх колодца: это был голодный год.

Гори-гори ясно,  
чтобы не погасло!..

Молодой красноармеец из далекого села  
смастерил для нас качели из потертого седла.  
Пули изредка свистели. Стекла падали, звеня.  
Смерть прошла однажды мимо, в полушаге от меня.

Гори-гори ясно,  
чтобы не погасло!  
Глянь на небо,—  
птицы летят,  
колокольчики звенят.



Сели мы в тени сарая,  
под стеной без окон.  
К нам подъехала пастушка  
на коне высоком.

Стадо к озеру спустилось —  
в зной воды напиться.  
На пастушке  
цвета розы  
кофточка из ситца.

Шею конь пригнул крутую,  
лакомясь крапивой.  
— Как зовется лебедь-конь твой,  
белый и красивый?

— Сивый, вот и прозван: Сивко.—  
Говорок пастуший,  
будто ботало, со звоном.  
— Девочка, послушай,

Сколько лет тебе? — Двенадцать.  
Пас отец мой стадо,  
да ведь время сенокоса...  
А помочь-то надо...

В озере стоят коровы,  
точно в половодье.  
Улыбается пастушка,  
отпустив поводья.

## Севастопольские куранты

Радость тоской разбавлена.  
С верха гляжу холма..  
Были одни развалины.  
Нет их! Опять — дома.

Надо же столько выстрадать...  
(Вот он — курантов бой!)  
Надо же столько выстроить,  
сызнова стать собой.

Лодка идет под парусом.  
Музыка — что ни час.  
Верь молчаливым паузам,  
знающим больше нас.

Звуки — зубцы, зарубины...  
В небе над головой —  
павшим в боях за Родину  
памятник звуковой.

## Пирсмани

В самом темном из подвалов  
он лежит. Конец. Причал.  
Сколько пленниц Ортачалов  
белой краской он прощал!  
Видел в них сестер, не кукол...  
(Что за жизнь у них была!)  
Белизной, жалея, кутал  
жертвенные их тела.  
Помогал душе родиться,  
выступить из черноты.  
И над ними пели птицы,  
радостно цвели цветы.

Пирсмани, Пирсмани...  
Сколько раз иной простак  
говорил ему в духане:  
«Что-то у тебя не так.  
Ни к чему здесь эта лошадь.  
Слушай, убери ее!»  
Он умел спокойно слушать,  
дело делая свое.  
Живопись — как лов подледный:  
рыба любит тишину.  
Кормит сытого голодный,  
стол накрыт во всю длину.  
Юное вино в кувшине,

курица, чеснок, редис.  
Золотистый срезок дыни  
полумесяцем повис.

Так ни разу не бывало,  
чтоб упасть в такую тьму.  
В полусне, на дне подвала  
тяжко, холодно ему.  
Городом своим покинут,  
он валяется один,  
и его не приподнимут  
крылья всех его картин.  
Только б им на белом свете  
не грозило ничего!  
Пусть живут они, как дети,  
отделившись от него.

Пирсмани, Пирсмани!..  
Он молчит. Ответа нет.  
Но пируют поселяне  
вот уже десятки лет.  
И корзина винограда  
все еще полным-полна.  
И пастух играет стаду.  
И медведю друг — луна.

## Арсений Тарковский



Живешь — как по лесу идешь,  
Лицом угодишь в паутину —  
Тонка и легка невтерпеж;  
Сорвать бы с лица, как личину,  
Да сразу ее не сорвешь.

Как будто разумная злоба  
Готовила пряжу свою,  
И чуждое нам до озноба  
Есть в этом воздушном клею.

На щеки налипла обида,  
Оболган, стоишь на краю,—  
Теперь улыбнись хоть для вида,  
Хоть слово промолви со зла.  
Куда там! Слезами не выдай,  
Что губы обида свела.

### Как сорок лет тому назад

#### I

Как сорок лет тому назад —

Сердцебиение при звуке  
Шагов, и дом с окошком в сад,  
Свеча, и близорукий взгляд,  
Не требующий ни поруки,  
Ни клятвы. В городе звонят.  
Светает. Дождь идет, и темный,  
Намокший дикий виноград  
К стене прижался, как бездомный.  
Как сорок лет тому назад.

#### II

Как сорок лет тому назад —

Я вымок под дождем, я что-то  
Забыл, мне что-то говорят,  
Я виноват, тебя простят,  
И поезд в десять пятьдесят  
Выходит из-за поворота.

В одиннадцать конец всему,  
Что будет сорок лет в грядущем  
Тянуться поездом идущим  
И окнами мелькать в дыму,  
Всему, что ты без слов сказала,  
Когда уже пошел состав.

И чья-то юность, у вокзала  
От провожающих отстав,  
Домой по лужам как попало  
Плетется, прикусив рукав.

#### III

Хвала измерившим высоты  
Небесных звезд и гор земных  
Глазам — за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,  
За то, что ты, как два крыла,  
Руками их не отвела!

Гортани и губам хвала —  
За то, что трудно мне поется,  
Что голос мой и глух и груб,  
Когда из глубины колодца  
Наружу белый голубь рвется  
И разбивает грудь о сруб.

Не белый голубь — только имя,  
Живому слуху чуждый лад,  
Звучащий крыльями твоими,  
Как сорок лет тому назад.



## Дина Терещенко



...А есть любители играть словами.  
Иной, не зная им цены,  
раздаривает их горстями,  
не ведая вины  
своей.

Так средь ветвей  
певец отменный  
поет для всех:  
для друга и врага  
одновременно.

Так и река  
в неведенье укроет  
в своих прохладных камышах

и труса и героя,  
змею и малыша.

А лес накормит и оленя и убийцу,  
подарит им свои плоды.  
Огонь согреет нечестивца,  
и у воды  
птенец напьется и шакал.

Слова — живительная сила родника,  
и черный омут,  
и фальшивая строка.  
В устах злодея — стонут...

Они не одинаковы для друга и  
врага!



...А река подо льдом —  
как тихоня на вид.  
А река подо льдом —  
все бурлит да бурлит,  
загореться не даст  
и остынуть не даст.

Это только для вида —  
леденеющий пласт.



У вербы веточки набухли,  
как грудь у роженицы.  
В лесах звенит, гудит и ухаает,  
весну справляют птицы.

О как весна земли прекрасна!  
Весна моей земли!  
Приходит медленно и властно,  
как с моря корабли.  
И все, и все ей подчиняется,—  
поди останови.

Подснежник тоненький качается,  
и пчелы в первый раз слетаются,  
здесь на цветах они.  
Здесь, на торжественных  
подснежниках,  
на ивах голубых.

Как сладок мед.  
Как свеж и крепок он  
в осенних кладовых!

## Леонид Темин



Я давно поверяю приятельский круг,  
А коллеги разводятся, женятся снова...  
Я до черта люблю их, чеканщиков слова,  
Но верчусь, как чумной, возле милых супругов.  
Да простится невольная эта вина,  
Не зачтется провинность невинная эта.  
У поэта должна быть такая жена...  
Ах, какая должна быть жена у поэта!  
Я бы душу свою изодрал на клочки:  
Вот, берите, красивые, умные жены,  
Только б счастливы были они — дурачки,  
Соловьи, самолюбцы, поэты, пижоны —  
И уверенно перли противу рожна,  
Не боялись беды, никакого навета  
Потому бы, что знали:

такая жена,—

Ах, какая жена у меня, у поэта!..  
Буду пить — так не с горя, сгорать, а не тлеть,  
Мне плевать на оклады, не выслужить пенсий,  
На столетие строчек в рабочем столе  
И в груди — на столетие ласковых песен!  
Только это не я молодец, а она,  
Потому что со дня сотворения света  
Никого не любила такая жена,—  
И такая должна быть жена у поэта!

Так люби же поэтов, моя сторона,  
Согревай их подруг долгим, ласковым летом:  
У поэта должна быть такая жена,  
Чтобы просто нельзя было быть не поэтом!

## Николай Тряпкин

### А на улице снег...

А на улице снег, а на улице снег,  
А на улице снег, снег.  
Сколько вижу там крыш, сколько вижу там слег,  
Запорошенных крыш, слег!

А в скиту моем глушь, а в скиту моем тишь,  
А в скиту моем глушь, тишь.  
Только шорох страниц да запечная мышь,  
Осторожная мышь, мышь...

А за окнами скрип, а за окнами бег,  
А над срубам — снег, снег...  
Сколько всяких там гор! Сколько всяких там рек!  
А над ними все — снег, снег...

Затопляется печь. Приближается ночь.  
И смешаются — печь, ночь.

А в душе моей свет. А врази мои — прочь.  
И тоска моя — прочь, прочь.

Загорается дух. Занимается дых.  
(А на улице — снег, снег.)  
Только шорох страниц. Да свечи этой вспых.  
(А за окнами — снег, снег.)

А в кости моей — хруст. А на жердочке — дрозд.  
Ах, по жердочкам — дрозд, дрозд.  
И слова мои — в рост. И страда моя — в рост.  
И цветы мои — в рост, в рост.

А за окнами — снег. А за окнами — снег.  
А за окнами — снег, снег.  
Из-за тысячи гор. Из-за тысячи рек.  
Заколдованный снег, снег...



## Песня о безногом солдате

От павших твердынь Порт-Артура...  
*Старая баллада*

Завивалась пыль из-под крыла,  
Из-под злого крылышка полынного.  
Только вдруг — речонка протекла  
Из-под камня, камушка старинного.

Заиграл, забулькал журчеек —  
И скорей до встречного фарватера,  
А в пути я сам ему помог  
Заводною силой экскаватора...

Зарастал травой забытый скит,  
Да хрустели корни под коровоюю.  
А теперь тут выселок стоит —  
Деревенька новая, сосновая...

Ах, давно все было... так давно!  
Даже сердцу трудно вспоминается...  
И не к сыну ль прямо на гумно  
Днесь родитель блудный возвращается?

Старый прах давно перегорел —  
Где-то там, за просекой невнятной...  
Здравствуй, жизнь, неведомый предел,  
Да и ты, речонка перекатная!

Зарастешь и ты, как будет срок,  
Зашумишь гривастою осокою...  
А пока — за дальний тот порог  
Уноси ты грусть мою глубокою.

По овражкам дальним, по глухим,  
Через дни и годы неизвестные...  
И пускай над криком над моим  
Засмеются кустики древесные.

Из белых палат госпитальных,  
Лет семь или восемь назад,  
В деревню к родному порогу  
Приехал безногий солдат.

Велел он, усы подкрутивши,  
Себя посадить у окна.  
И, людям не выдав печали,  
Открыла пирушку жена.

И тут же герой Сталинграда  
Расправил погон по плечу:  
— Несите мне старые шлеи,  
А дратву я сам накручу.

И вот перед милым окошком,  
Не восемь ли, кажется, лет,  
Работает шорник безногий,  
На белый любитесь свет.

Глядит он, мужик, на усадьбы,  
Где прежде сновал он весной.  
А нынче там столбик военный  
Да грустный полынный покой.

Да солнце в окошко заглянет,  
Да редкий пройдет человек.  
И только в кудрях перепетых  
За снегом проносится снег.

И дратвой обмотаны руки,  
И ходит, сверкая, игла.  
И крепко в солдатскую трубку  
Глубокая дума легла.  
*1953*

## Виктор Урин

### Остров Даманский

Над рекою туман вздымался,  
словно пряди седых волос...  
Вот он, в зарослях, наш Даманский,  
вот и встретиться довелось.

В алых зорях трава искрится,  
словно луг заливной — в крови.  
Государственная граница  
нашей строгости и любви.

Тень легла, как товарищ павший,  
и знаменами в тишине  
приспускаются зори наши  
к уссурийской седой волне.

И скорбят они болью острой  
о погибшем своем бойце...  
И как родинка этот остров  
У Отечества на лице.

### Карта

В кабинете полковника Константинова —  
пограничного комиссара  
висит карта Советского Союза,  
испещренная маленькими кружками.

Эти кружки означают:

а) синие — письма и телеграммы,  
скорбь и горечь соболезнований;

б) зеленые — всяческие посылки,  
баянные, книжные, шоколадные...

в) красные — взятые обязательства,  
присвоение имен пограничников

заводским бригадам, аллеям роз,  
траулерам и пионерским дружинам.

Больше всего синих кружков.  
Синие — письма и телеграммы,  
скорбь и горечь соболезнований.

Эти синие, синие, синие капли —  
точно слезы всех республик державы.

И когда я смотрю на карту  
в кабинете полковника Константинова,  
я вижу, как взрослая моя Родина  
оплакивает своих земляков...

### Баллада о колыбелях

От ударов-затрещин содрогался закат.  
...А в траншее у женщин трое малых ребят.

Под бомбежкой — четвертой в эту грозную жуть —  
Ручкой тянется к мертвой, тербит ее грудь.

Среди воя металла умерла его мать.  
А земля продолжала ребенка качать...

Город мой! Не сокроешь всей твоей высоты.  
В мире сотни сокровищ, подвиг подвигов — ты.

Наклонясь над воронкой в этот огненный час,  
Нет, не только ребенка — всю планету ты спас.

Гордый эпос России, величавый откос,  
Город-крепость, спасибо, твой мальчишка подрос.

Все светлей и заметней за бульваром бульвар.  
Двадцатипятилетний постарался маляр.

Вот он, крепкий и веский, с хитрецей на лице,  
Вот он в люльке-подвеске на каком-то дворце,

Вот на волнах-кварталах сверху вниз — и опять...  
Это жизнь продолжала в колыбели качать.

И он рос, сын Победы, и над веткой реки  
Новостройки-побеги гнали в лист огоньки.

Волга — стартовой линией, город — в новом рывке.  
Зори — красными ливнями на державном древке.

Ну а спросим: насколько отдалилась война?  
Звезды вроде осколков, как воронка — луна,

Честь отдав забытым гвардейским ветрам,  
Побратим нашей битвы — побеждает Вьетнам.

И, подруга Меконга, Волга шлет свой прибор,  
В дальних джунглях ребенка заслоня собой.

Под бомбежкой толкает он убитую мать...  
И земля продолжает ребенка качать.

А ему нет и годика, и хотя он вдали,  
Он нам дорог, как родинка на лице у Земли.

В легендарной шинели — это наша пурга  
От его колыбели отгоняет ветра,

Чтоб когда-нибудь книжка повела за собой,  
И, как русский мальчишка, он отстроил Ханой!

Чтоб чеканкой особой нам на золоте лет  
Выбить высшею пробой цифры общих побед.

О приволжское чудо, ты — пароль и наказ,  
Непреклонность — отсюда, убежденность — от нас.

Солидарное эхо слышит мир до сих пор.  
В колыбели успеха — время нянчит отпор!

## Василий Федоров

### Притча

— Там на горе  
Построен будет храм,—  
Сказал Строитель,  
Показал на камень:  
— Возьмешь его обеими руками  
И понесешь  
И к сроку будешь там.

Счастливый тем, что я, а не другой  
Был в ранний час Строителем замечен,  
Я камень приподнял над головой  
И, пригибаясь, опустил на плечи.

Понес его на горные места,  
Сбивая с трав предутренние росы,  
И не заметил сам, когда устал  
И как решил,  
Решил я камень сбросить.

И бросил бы,  
И сел на камень тот.  
Но, трудный путь усталостью итожа,  
Спросил себя: «А кто же понесет  
Его наверх?  
Когда не я, то кто же?!»

*1944*

### Война и музыка

Не лечу,  
Пару ног волоочу  
От земной перегрузки,  
От бессонниц,  
От звуков,  
Что сдавили виски.  
Вдруг запела веселая музыка...  
Музыка!..  
Разве время для музыки?!

Разве ей  
Наше горе понять и поправить?  
Ну, с чего ей поется?  
Ну, кто ее просит  
Размораживать душу  
До слякоти,  
Я ведь  
Заморозил ее  
На сибирском морозе.

Пусть поймет,  
Что у ночи  
Я все еще пленный,  
Что мне легче  
Сесть и стареть  
Несогретым.

Если юность  
Нельзя сохранить неизменной,  
Мы охотно с нее  
Сохраняем портреты.  
И когда-нибудь,  
Зная, что жил я недаром,  
Прошепчу, собирая  
Минувшего ключья:  
Вот под музыку эту  
Бродил я бульваром,  
А под эту  
Я плакал  
Той памятной ночью.

*1942*

## Смерть поэта

Ни поэзии,  
Ни символики,  
Ничего, ничего больше нет.  
Очень скромно, на узеньком столике  
Уместился большой поэт.

Было длинно лицо небритое,  
Глаз закрытых синел овал,  
Будто что-то давно забытое  
Он, откинувшись, вспоминал.

Напряженье над бровью значит,ся,  
Гордой мысли застыл замах,  
Эта мысль, ускользя, прячется  
На холодных его губах.

Вот крадется в углы к усам его,  
К бороде норовит сползать...  
Может быть, всю жизнь  
Это самое  
Он готовился нам сказать.

1944

## Свадьба

У крыльца толкуются люди,  
Бабы шепчут у окна:  
— Как же будет?  
— Что же будет?  
— Поженились! Вот те на! —  
А старушка об одном:  
— Самый главный агроном,  
Городской,  
В деревню пришлый...  
Вот те крест,  
А я б не вышла! —  
Кто-то весело в толпе:  
— Удержаться просто,  
Если, бабушка, тебе  
Стукнет девяносто...

Запоздавшего встречая,  
Упрекают — ну и ну!  
Агрономша тащит к чаю,  
Агроном зовет к вину.  
— Разорвут! —  
Смеются гости.  
— Вы свою стыдливость бросьте,  
А не то в отместку вам  
Я и эту выпью сам.  
— Нашим девкам белолицым  
Ваши парни не с руки...—  
Заскрипели половицы,  
Застучали каблуки —  
Застучали: ту-ки, ту-ки!  
Подобрался, вскинул руки  
И пошел дробить плеча:  
    Ча-ча-ча!  
    Ча-ча-ча!  
В белой вышитой рубахе,  
Улыбаясь за двоих,

По одной тесовой плашке  
Гусаком прошел жених.  
Никому не верится —  
То-то был серьезный!  
С ним решил помериться  
Бригадир колхозный.  
— Эхма!.. Эх!  
Гуляй, Антошка!  
Молодая, не зевай!  
Из просторного лукошка  
Ножка в ножку  
Понемножку  
Бригадиру подсевай.—  
Молодая не зевает —  
Золотым дождем идет.  
— Сею-вею, подсеваю,  
Да боюсь, что не взойдет...—  
Дед увидел неполад,  
На невесту строгий взгляд.  
— Песня — песней,  
Пляска — пляской,  
Не забыть бы и обряд,  
Не забыть бы и обряд,  
Молодые, встаньте в ряд!  
Тише, гости!  
Тише, резвые!  
Не ворует, чтоб спешить.  
Нам, пока головки трезвые,  
Надо дело завершить.  
Говорю тебе сердечно,  
Мне перечить — не моги!  
Отдаем тебе навечно,  
Век-то долог — береги!  
На породу нету жалобы,

Красота! Не возражай.  
Чтоб трудилась и рожала бы,  
Как колхозный урожай...

Отвечай, жених, словами!  
Отвечай, жених, делами!  
Только все во свой черед,  
Подождет тебя народ!..

— Что ответить?  
— Что сказать бы?  
(Дед сказал — и шашь на печь.)  
— Откровенно, я для свадьбы  
Не успел придумать речь.  
Чтобы с линией согласно,  
С той, которой я иду,  
Безусловно, дело ясно,  
Так сказать, не подведу.

1941



Мне рваные брюки  
Сегодня приснились,  
Взгрустнул я: заплатка нужна.  
Но Муза тогда надо мной  
наклонилась,  
И вот что сказала она:

«Ты молод,  
И помощь мою не отбрасывай,  
За всех вас болея душой,

Я брюки чинила поэту Некрасову  
И опыт имею большой.

Не каждому  
С песнями жить припеваючи,  
Не каждому — море любви.  
Некрасов был гений,  
А ты начинающий...  
Терпи, мой хороший, терпи!»

1939

## Николай Флеров



Пусть говорят, что старомодны формы,  
Иль что модерн превыше всякой нормы,  
Что образы «не те» или «не эти»,—  
Одно мерило вижу в целом свете:  
Где мысль и сердце есть душа созданья,  
В нем все века полны очарованья.

Так ни одной строкой не устарели  
Кристалльные созвучья Руставели,  
И признаем, как признавал Хайям бы,  
Невиданные пушкинские ямбы,  
И навсегда земная жизнь согрета  
Всем излученьем ленинского света.

Есть ценности вне времени и моды:  
Планеты,  
Революции,  
Народы,  
Творенья кисти, музыки и слова,  
Все, что «старо» в них, то светло и ново.  
И что им увлеченья жизни бренной,—  
Они навеки  
Норма всей Вселенной.



# Илья Френкель

## Подмосковная зима

### 1

Стояла стужа. Нынче дует,—  
Еще и как! Сдурел Стрибог:  
Рябит пруды, людей мордует.  
А солнце, ядерный клубок,  
То в печках лиственниц колдует,  
То сунет луч скворцу в чертог  
И птичьим горлом забунтует,  
То в нашем градуснике ртуть  
Успеет кверху протолкнуть.

А я, стеною и стихом  
От непогоды огражденный,  
На мир, обрамленный окном,  
Гляжу, вконец обвороженный,—  
В шестое чувство погруженный,—  
Изнеможенный, вновь рожденный,  
Гляжу и вижу: в мире том  
Как холод борется с теплом  
И отступает, пораженный,  
Устало продолжая дуть,  
Соображая: «В чем же суть?..»

### 2

Продрогнув на ночном морозе,  
Кричат спросонья воронята:  
Один устроился в березе,  
Забыв, что виден, вероятно.  
Другой вписался черной кляксой  
В телеантенну, точно в крест,  
И адресует хриплый крик свой  
Всем вороньятам здешних мест.  
Расплывчатое солнце виснет  
Над шифером и вохрой крыш,  
И лишь нарочно тормоз визгнет,  
Чтобы опять вернулась тишь.  
Я тоже что-то понимаю.  
В делах и замыслах весны —  
Ее пути от марта к маю  
Исповедимы и ясны.  
И вот стою с большой лопатой  
По грудь в окопе снеговом,  
Простоволосый, конопатый,  
И утираюсь рукавом.

## Яков Хелемский



В эфире песнь дрожит и тает...

А. Фет

Какой-то парень из транзитных,  
Пока не подали состав,  
Включил заезженный транзистор,  
От ожиданья заскучав.

И континент за континентом  
Откликнулись на этот зов,  
Сливая мессу с диксилендом,  
С футбольным гулом — бой часов.

Свою игрушку этот малый  
Терзал, полмира облетев,  
И неожиданно поймал он  
Столетней давности напев.

И поражен, как будто с Марса  
Случайно уловил сигнал,

Прильнул к забытому романсу,  
Не слушал даже, а внимал.

Внимал, все прочее отринув,  
Звучанье странное берег.  
Заворожил его старинный,  
Велеречивый этот слог.

Ему, с наивностью контрастной,  
Развевая шум и толчею,  
Неторопливое контральто  
Печаль поведало свою.

Казалось, время отступает  
И, словно излучая свет,  
**В эфире песнь дрожит и тает,**  
Как предсказал дражайший Фет.

## Владимир Цыбин



В жизни немало у нас напечалено,  
трудно, но веруешь.  
Я за тебя отвечаю отчаянно —  
что тут поделаешь?  
Я отвечаю перед свиданием  
возле околицы,  
я отвечаю перед молчанием  
старенькой горницы,  
где ты когда-то росла длинноногая,  
в ссадинах искони,  
и перед тою намокшей дорогою  
сразу за избами.  
Я перед всем отвечаю, что дорого  
сказками,  
играми,  
и перед бором, засыпанным доверху  
клейкими иглами.  
Принял тебя я и горько, и пристально,  
ждал тебя в горечи.  
Я отвечаю пред давними письмами —  
верными гончими.  
Я отвечаю все время, немедленно —  
весело ль, грустно,

перед проходим,  
который приветливо  
вдруг улыбнулся.  
И перед тою девчонкой, что весело  
тянется на руки,  
тою, что голову с рук твоих свесила —  
купишь ли яблоки?  
Перед тобой отвечаю я издавна  
силою,  
нервностью.  
Так получилось, так уже избрано —  
верю я нежностью.  
Месяцы шли.  
Снег сильнее нападывал  
инеем,  
сполохом.  
Кем оказался, чем я нарядовал —  
вороном,  
соколом?  
Все, что нагадано, все, что наверено,  
нежно встречаю.  
Чтобы жила ты легко и уверенно —  
я отвечаю.



Взлетят над снами снегири  
и белые разбудят рощи  
и скажут тихо:  
— Посмотри,  
сегодня день такой хороший.—  
Что видишь ты сейчас во сне?  
Гусиные на окнах перья  
иль колокольчики капли,  
подвешенные на сосне?  
Иль этот ясный, теплый день,  
что появился только-только,  
иль видишь  
от рябины горькой  
сквозную розовую тень?  
Или в сосновых иглах тишь,  
или созвездья первых почек?

Ты там,  
во сне своем, бежишь,  
звоня в капель, как в колокольчик.  
Ты спишь спокойно —  
вся в пуху  
лесного утреннего света.  
Ты спи. Я сон твой берегу,  
пока во сне ты видишь это.  
А как проснешься от зари,  
что осыпается порошей,  
скажу тебе:  
— Ты посмотри,  
сегодня день такой хороший!



Я в прошлое твое  
тебя верну,  
чтобы оставить там тебя одну,  
чтоб испытать и вспомнить ты могла  
те дни, когда влюбленной не была.  
Я душу твою  
в прошлое впущу,  
впущу — и за него тебя прощу,  
скажу тебе: ты как жила — живи!

И вспомнишь, как живется без любви.  
На ту черту верну тебя опять,  
где ты еще не научилась ждать.  
И если ты захочешь, может быть,  
путь к нашей встрече  
снова повторить —  
тогда и я, тогда и я, клянусь,  
в года былые  
за тобой вернусь!

## Феликс Чуев



*Брату*

Как нам дальше с тобою, Саша?  
Есть что кушать, живем в тепле.  
С каждым годом мы оба старше —  
так положено на земле.

— Папа умер. И мама тоже,—  
сядешь с краешку у стола,—  
сразу оба. Нет, так негоже,  
хоть бы бабушка пожила!

Почему они мало прожили?  
Никогошеньки... Я-то мал!

И собака была хорошая,  
и собаку гицель поймал...

Ты не знаешь еще, мой милый,  
только в полдень вынесли мать,  
только маму похоронили,—  
к нам пришли домой — выселять.  
Мол, большая квартира, дети...  
И решил я — как бы навек:  
вот стою такой на планете  
всем назло — один против всех.

Всем назло — я в сады не лазил  
и не хныкал — к черту печаль,  
всем назло — я в десятом классе  
получил золотую медаль.

И скитался я по собесам,  
и в Москву я письма писал,  
и таких великих балбесов  
я в четырнадцать лет узнал!

Но однажды понял впервые  
и потом понимал не раз:  
есть большая мама Россия,  
и она не обидит нас.

И когда мы с тобой замерзали,  
и домишко чах от ветров,  
чьи-то очень добрые сани  
привезли нам угля и дров...



В тиши окраинных ночей  
пустынных улиц Лиепаи  
я выходил один, ничей,  
свое призванье забывая.  
Есть чувство странное,  
когда  
тебя почти что разлюбили,  
но ты не веришь, что беда  
неотвратима: или — или.  
И ты надеешься, что вот  
разлука все переиграет  
и женщина пообещает,  
что передумает, придет.  
Хотя б намек! Хотя едва...  
И ты особенно поверишь  
в ее обманные слова  
в обмен на прошлые потери.

Я тихо к небу выходил,  
где море светит у обрыва,  
и небо мне дарило диво  
среди разрозненных светил.  
Как будто два живых крыла  
просили бури за спиною,  
и бурю женщина несла

в руках светящейся волною.  
Еще далекая, вдали  
всходила та, совсем иная,  
моя, до лучика земная,  
хоть в небе не было земли...

Я так люблю твоё лицо  
с такими черными бровями,  
с такими синими ветрами,  
тебя объявшими в кольцо.

Походку гордую твою —  
казацкой верности рисунок, —  
в котором чисто, как спросонок,  
ты утром светишься;  
люблю  
твои полночные глаза,  
невыносимые, родные,  
какие только образа  
хранят нетленными доныне...

Любите тех, кто любит вас, —  
скажу в конце стихотворенья,  
как будто этих слов значенье  
насквозь увидел в первый раз.

## Екатерина Шевелева

### У памятника Дзержинскому

...Будто вышел он  
из Комитета,  
Отодвинув совещаний гул;  
Будто встал под куполом рассвета  
И в грядущий полдень заглянул;  
Будто, бури выдержав и грозы,  
Ленинскую зоркость сохраняя,  
Он — такой большой, такой  
из бронзы —  
С пьедестала разглядел меня;  
Все мои сомнения заметил,  
Вникнул в очень сложные дела.  
И его тревожное бессмертье

Я в тот миг яснее понял.  
Можно было б мягче жить  
и проще,  
Отступив всего на шаг, на пядь,  
В госпиталь пойти, а не на площадь  
И навеки бронзовым не стать.  
Быть с врагами не прямым,  
как выстрел, —  
Помнить в битвах, что и сам  
раним.  
Можно б...  
Не ему. Не коммунисту.  
И не вам, идущим вслед за ним,

## Варлам Шаламов



По старому следу сегодня уеду,  
Уеду сквозь март и февраль,  
По старому следу, по старому следу,  
В знакомую горную даль.

Кончаются стежки мои снеговые,  
Кончаются зимние сны,  
И тают в реке, словно льдинки живые,  
Слова в половодье весны.



Поблескивает озеро,  
Качается вода,  
И ветер ходит козырем  
Перед приходом льда.

На миг тот лед появится  
И скроется опять,—  
Капризнице-красавице  
Повадками под стать.

Ползет каймой хрустальнойю  
По заберегам лед,  
Пройдя дорогу дальнюю,  
Лед очень устает.

Он был ледник медлительный,  
Сползающий с горы,  
Кидавший в трепет жителей  
Далекой той поры.

Хребты и плоскогория  
Географам лепил,  
И меряли историю  
Движеньем этих сил.

Он жил как князь владетельный,  
Хозяин тех времен,  
О них живых свидетелей  
Не оставляет он.



На небе, бледно-васильковым,  
Как облачко, висит луна,  
И пруд морозом оцинкован  
И стужей высушен до дна.

Здесь солнце держат в черном теле,  
И так оно истощено,  
Что даже светит еле-еле  
И не приходит под окно.

Здесь — вместо детского смятенья  
И героической тщеты —  
Одушевленные растенья,  
Деревья, камни и цветы...



Я пришел на ржавый берег  
Перемятых рыжих скал,  
Где когда-то Витус Беринг  
Адмиралом умирал,

Где весенней силой полны,  
Силой солнца и воды,  
Напряженно и безмолвно  
Выгибали спину льды.

Океан упрятал тело  
Под саженный теплый лед,  
Заворочался в постели,  
Потянулся и встает.

Ледяное одеяло  
Разрывает в лоскутки,  
Грозным гневом обуялый,  
Тычет в небо кулаки.

И взволнованные воды,  
Сотрясая якоря,

Подбивают пароходы  
На прогулки по морям.

Океан затем разбужен,  
Что весною корабли  
Плыть готовы хоть по лужам,  
Только б дальше от земли.

Он затем весной разбужен,  
Что пролеживать бока  
Круглый год совсем не нужно  
Морякам и рыбакам.

Океан затем разбужен  
От трехмесячного сна,  
Что уже слабеет стужа  
И командует весна.

Если б люди без флотилий  
Проводили свою жизнь —  
Океана б не будили,  
Без него бы обошлись.

## Игорь Шкляревский

### Родине



Люблю протяжный стон гусей,  
березы желтое отрепье  
и поздней осени твоей  
угрюмое великолепье!

Люблю, когда прозрачный лед  
звенит, расколотый о сваи,  
и с крыльев золото течет  
на деревянные сараи.

А ночью ветер ледяной  
солому кружит во вселенной.  
И не поймешь, где звук живой,  
где только отзвук незабвенный.  
В такую ночь уже нельзя  
всю душу выболтать растеньям,  
надежды, женщины, друзья —  
все подвергается сомненьям.

Но ты — моя святая дрожь!  
Где шум лесов, где вздох народа?  
Где слезы матери, где дождь?  
Где родина, а где природа?

Я жил в лесах на 107-й версте.  
И до утра на воле, на пределе  
березы на твоем лице шумели!..  
Под шум берез я думал о тебе...  
Под шум берез я думал о тебе.  
Я вздрагивал — казалось, что светает.  
Какой-то свет блуждает в темноте,  
какой-то звук его сопровождает.  
Кричали птицы, угасал костер,  
а небосвод все ярче разгорался.  
Я забывался, слушая простор,  
но с именем твоим не расставался.  
И от тебя в отчаянной дали,  
я понял вдруг, когда кричали птицы  
и к звездам рвался хриплый крик  
возницы,  
как нам немного надо для любви —  
чтоб нас двоих в один и тот же миг  
одно живое пламя озарило  
и чувство синей вечности пронзило  
насквозь, как этот журавлиный крик!..

## Проходя мимо литейки

Литейка, мы с тобою квиты!  
Опоки черные раскрыты —  
детали правильно отлиты.  
Железо, пламя и земля  
лопатой смешаны не зря.  
Недаром молодость в трубу

с фабричным дымом улетела,—  
все силы отданы труду,  
в словах железо зазвенело.  
Литейка, ты дала мне голос,  
тавро поставила: «он — твой!»  
Но поредел мой жесткий волос,  
а значит, квиты мы с тобой!



Детдомовцы и колонисты,  
друзья послевоенных лет —  
все до едина реалисты,  
мечтателей наивных нет...

А что? Предельно ясен путь —  
из семилетки в ремеслуху!  
Учись, работай, строй житуху  
и человеком честным будь.

А если все-таки срывались,  
тянулись за чужим добром,  
все до едина попадались,  
все прогорали на одном —  
старушка, ива над прудом...

Заглядывали в отчий дом!



Я пил вино со школьными друзьями —  
воспоминанья, ночь, днепровский вал...  
А листопад над нами бушевал!  
И вдруг я их увидел стариками.  
— Откройте форточку! — Но дым стоял  
столбом,

и уплывали дорогие лица...  
Скользили тени, и металась листва,  
сырой землею пахло за окном.  
И думал я, что не случится чудо,  
не ошибется адресом беда,  
по одному уйдем туда, откуда  
никто не возвращался никогда...  
Но если есть бессмертье под луною,  
вот этот станет дремой луговою!..  
А этот в сосны уползет змеею!..  
А тот промчится тучей дождевою!..  
Махну ему зеленою рукою!..

## Нина Эскович

### Алая березка

Современное русское название «март» восходит к латинскому «мартиус». Римляне посвящали его богу полей и урожая Марсу (богом войны у римлян Марс стал позже).

*«Русская речь»*

Я знаю поле Марсово. На нем  
свет вечника всегда бледнее днем.

Я в марте знала поле в Старой Рузе.  
Снега уже обмякли и огрузли.  
Заглохшая была передовая,  
и серый наст шинелями пролег,  
и, привалясь, как прикурить давая,  
закат березку, высветя, берег.

Живого или мертвого покоя  
ждемся от подсвеченного поля?

Что там?

Не рожь ли,

в окантовке тмина?..

Не призрак мин? Что надо знать о минах?  
Как римлянки, прошу тепла.

Тепла.

Тепла для всех, кто кланяется всходам.  
Тепла, апрель!

Не вспомни Риму зла,  
не обмани,— я спрашиваю: — Что там?

Капли пробудились не вполне.  
На вербе веретенца в волокне.

Под вербою, что затемно густилась,  
на бревнах, что оттаяли совсем,  
художница сидит спиной ко всем.  
Она перед овражком примостилась.

Должно быть, в это утро возрожденья,  
рисует речку, полную броженья,  
и елку; и проплешины овражка,  
и снег податливый, полувисящий тяжело  
над виноградной снежною водой.

Зеленый кончик кисти вижу!

— Стой,—

говорю себе... И, расцветая на месте,  
забыв, за что меня пилили в детстве,

вытягиваюсь:

— Можно посмотреть?

Она мне:

— Нет! —

как на воду столкнула.

Кисть холодно в белила обмакнула  
и елку засугробила на треть.

И, густо покрасневши:

— Извините! —

я в валенках потопала к весне —  
работнице, еще не знаменитой  
каплями на ветхом полотне.

Чернила снег

как раз,

и для завязки

метнула мне облетыш свежей краски!

И, надышав озерное окольце,  
пережелтила дрогнувшее солнце.

Меня ошеломляя новизною,  
потел сугроб в тени, в голубизне...  
И целый день, петляя, шла со мною  
капель, вися на солнечной блесне.

— Смотри!

— Смотрю.—

А вот мне и награда.

На мартовских смотринах солнцепада.

Равнинный снег до кромки леса розов!  
У раздорожья ближняя береза  
встает и блещет. В красной оболочке.  
Она и я — одной картины часть!  
Живой весны одна над нами власть,  
простые между нами биотоки.  
На горизонте светлая полоска.  
А здесь темно.

И с красною березкой  
весна уже свернула полотно.



# П а р о д и и

**Юрий Левитанский**

**Вышел зайчик погулять...**

**Испытание на преодоление**

**(Михаил Луконин)**

Уезжаю на Волгу единственную,  
на единственной «Волге»  
уезжаю к себе на дачу —  
замирая от жалости,  
на трудной волне  
веду передачу.

Губами отвыкнутыми  
сложно вздыхаю:  
— За что вдруг убили!  
За что вдруг сгубили зайца,  
почему не ласкали его,  
почему не любили! —

Помню заплески гордой радости,  
давление восторга  
в конце декабря  
ушедшего года,  
когда погулять он вышел,  
а вы его подняли над землю,  
подняли и не опустили,  
и он не выжил.

Лестью заманили,  
мягкой смертельной опасностью —  
незавидная участь.

Он тончал и мельчал,

все обдуется, думал, прояснеет,  
но рывок ослабел,  
потерял прыгучесть.  
Так это зовется! Так пишется!  
Это и есть!  
Как же это такое!

Странно все-таки,  
его убили,  
а мне из него — жаркое!

А мне эти клочья кошмара,  
пересвет непоседливой живости,  
громоздите на блюде!

Не маните, не надо,  
глазами в глаза не дразните,  
слышите, люди!

Все равно я не стану есть его —  
не ждите такое увидеть!

Ну, разве что самую малость  
отведаю,  
чтобы вас не обидеть.

Худого слова вам не скажу,  
огорчать вас отказом не стану.

Ну, ладно, поставьте,  
я сам достану.

**Арфа, Марфа и Заяц**

**(Давид Самойлов)**

В Опалихе, возле Плаццо де Пеццо,  
в котельной жил одинокий заяц,  
который,

как это умеют зайцы,  
долгими зимними вечерами  
очень любил поиграть на арфе.

Правда, казалось несколько странным,  
что заяц в котельной играл вечерами  
не на органе иль клавесине,  
на окарине иль клавикорде,  
не на волторне или тромбоне

и даже не на виоле де гамбо,  
как это любят другие зайцы,  
а на обычной концертной арфе.  
Впрочем, стоит ли удивляться,  
что заяц в котельной играл на арфе!  
Просто мы с тобой не имеем арфы,  
и потому мы на ней не играем...  
Однажды зашел я к нему под вечер  
{люблю провести вечерок в котельной,  
в боленрой, в камергерском блеске  
черных венецианских кресел!},  
и мы разговорились о Бахе,  
о Брамсе, о Шуберте и Сен-Сансе,  
о Скарлатти и Доницетти,  
о кантилене и о бельканто  
италианской оперной школы.  
Потом он стал в концертную позу,  
как это умеют одни лишь зайцы,  
и положил холеную руку  
на струны, натянутые вертикально,  
настроенные в до-бемоль мажоре,  
синие, как гусарский ментик,  
красные, как бутылка кьянти.  
А на чердаке распевала Марфа,  
в манере, присущей одной лишь Марфе,  
и я задохнувшись тогда подумал:  
ах, арфа,  
ах, Марфа,  
ах, боже мой!

## Ключик

(Владимир Соколов)

Был дождик в полусне,  
канун исхода.  
Был зайчик на стене,  
была охота.

Был дачный перегон,  
грибы, сугробы.  
Варили самогон.  
Зачем? А чтобы.

Варили вермишель.  
Когда! Вначале.  
Когда еще — Мишель,  
ау! — кричали.

Меж всех этих забот,  
охот, получек  
он был как словно тот  
скрипичный ключик.

Он смутно различал  
сквозь суть причины  
концы иных начал,  
иной кручины.

Диван вносили в дом,  
тахту с буфетом.  
Но суть была не в том,  
а в том и в этом.

И пусть он не был тем,  
а все ж заметим,  
что был он, между тем,  
и тем и этим.

Он частью был всего,  
что было тоже.  
А впрочем, ничего.  
Возможно все же.

## **Маленький Гулливер**

**(Михаил Львов)**

Чтоб зайцем стать — не надо им родиться,  
как стать рагу — не надо быть рагу.  
Не собираюсь в зайца превратиться,  
но бить по зайцу — тоже не могу!

Напрасно зайцефобы-зайцегубы  
ехидно морщат маленькие губы!  
Напрасно зайцеловы-зайцестрелы  
в меня пускают маленькие стрелы!  
И вовсе зря иные зайцефилы  
в меня втыкают маленькие вилы,  
свои мне предлагают постулаты,  
как надевают маленькие латы,  
и маленькую должность, и в придачу  
мне предлагают маленькую дачу!..

Мне ведом путь, который им неведом:  
не зайцеедом быть, а зайцеедом!  
И пусть погибну я от зайцелюбья —  
но, зайцелюб,  
останусь зайцу люб я!

## **Не в соли — соль. Сонет.**

**(Новелла Матвеева)**

Окрошка вышла замуж за кисель.  
Кастриюлю в жены взял чревоугодник.  
А заяц только сел на карусель,  
как тут же застрелил его охотник.

Охотник, был он малый не отсель,  
к тому же — бонвиван и второгодник.  
Марсель Марсо писал о нем в Марсель  
Марселю Прусту: «Плут и греховодник!»

Известно всем, что черное бело  
и нужен бас, чтоб сочинить побаску.  
Но заяц ест охотничью колбаску  
охотней, чем толченное стекло.

Не надо прятать соль на антресоли:  
не в соли — соль, когда в ней нету соли!

## Полезные советы

(Станислав Куняев)

Лицо должно быть со щеками,  
с клыками быть обязан рот,  
чтобы летела шерсть клоками,  
когда охотник зайца жрет.

Охотник должен быть с наганом,  
когда выходит пострелять.  
А заяц должен быть с ногами,  
когда выходит погулять.

Бедой не будет роковой —  
пришить к жилетке рукава.  
Должна быть шея с головою  
и не пустою — голова.

Солист не должен петь дуэтом.  
Кларнет не должен быть трубой.  
Поэт обязан быть поэтом.  
Я должен быть самим собой.

## Прощание с Ленькой Зайцевым

(Булат Окуджава)

Словно бы на зависть грустным арбатским  
мальчикам,  
арбатские девочки, безнадежно влюбясь,  
Леньку Зайцева называли ласково Зайчиком —  
ваше высочество, говорили,  
и просто князь.

А когда погулять выходил он с черного хода,  
сто прелестных охотниц выбегали из своих засад,  
розовые лошади били крылами, начиналась охота,  
из которой никто не старался вернуться назад.

А они в него корочкой, видите ли, поджаристой,  
пирогом с грибами — в семейный, извините, круг.  
А он на плечо шарманочку —  
и пожалуйста,  
потому что шофер в автобусе —  
его лучший друг.

А он на свои на рыжие, как порфиру, фуражку.  
А он их сам, понимаете, убивал.  
И последний троллейбус  
развозил по Сивцеву Вражку  
ситцевых девочек, убитых им наповал.

Плакала на Смоленской флейта, лесная дудочка.  
Бил на Садово-Кудринской барабан любви.  
Ночь опускалась,  
короткая как мини-юбочка,  
над белыми дворниками,  
изящными, как соловьи.

И стоял, как замок отчаянья, арбатский дворик,  
жалуясь, печалуясь, безнадежно моля...  
Плачьте, милые девочки,  
пейте паригорик!  
Пейте капли датского короля!

# Александр Иванов

## Для того ли?

Для того ль  
Мичурину усталость  
не давала роздыха в пути,  
чтобы ныне  
вдруг такое сталось:  
яблока в Тамбове не найти?!

(Василий Журавлев)

Нету яблок!  
Братцы, вот несчастье!  
Мочи нету взять такое в толк.  
Где-то слышал я,  
что в одночасье  
яблоки пожрал тамбовский волк.

Для того ль  
ловили наши уши  
песню молодых горячих душ  
«Расцвели яблони и груши»,  
если нет  
ни яблок  
и ни груш!!

Для того ль  
Мичурин,  
сын России,  
скрещивал плоды в родном краю,

чтобы  
из Марокко апельсины  
оскорбляли внутренность мою!!

Нету яблок!  
Я вконец запутан,  
разобраться не могу никак.  
Ведь за что-то  
греб зарплату  
Ньютон,  
он же, извиняюсь, Исаак!

И от есей души землепроходца  
вослицаю:  
«Надо ж понимать,  
что-то нынче  
яблочка мне хотца,—  
очередь  
не хотца  
занимать!»

## Медведь

(Анатолий Жигулин)

Как-то в чертовой глухомани,  
Где ходить-то надо уметь,  
Мне в густом, как кефир, тумане  
Повстречался шатун-медведь.

Был он страшно худой и нервный  
И давно, как и я, не сыт.  
Я подумал:  
«Убьет, наверно.  
Он голодный как сукин сын».

Что ж поделывать, такая доля...  
Не такой уж я важный гусь.

Вдруг сказал он:  
— Ну, что ты, Толя,  
Ты не бойся, я сам боюсь.

Под холодным и хмурым небом  
Так и зажили мы рядком.  
Я подкармливал его хлебом,  
Он делился со мной медком.

Путь его мне теперь неведом,  
Но одно я запомнил впредь:  
Основное — быть человеком,  
Даже ежели ты медведь.

# **ДЕНЬ ПОЭЗИИ**

**1969**

**2**

**Анкета  
«Дня поэзии  
— 69»  
Сегодня  
и завтра  
нашей  
поэзии**

**Лев Аннинский  
Дмитрий Голубков  
Иосиф Гринберг  
Юрий Идашкин  
Лазарь Лазарев  
Анатолий Ланциков  
Станислав Лесневский  
Александр Михайлов  
Станислав Рассадин  
Евгений Сидоров  
Михаил Синельников  
Дмитрий Стариков  
Виктор Чалмаев  
Вадим Кожин**

Редколлегия «Дня поэзии» поставила перед критиками, пишущими о поэзии, и поэтами, пишущими критические статьи, два вопроса.

**Заканчивается календарный период, который войдет в историю литературы как поэзия 60-х годов XX века,— какие явления в поэзии этого десятилетия представляются Вам наиболее характерными и ценными, достойными войти в историю русской литературы?**

Мы вступаем в 70-е годы. Во всех общественных науках, как одно из важнейших устремлений, присутствует сегодня всякого рода прогнозирование, попытки предвидеть грядущее развитие хотя бы в объеме десятилетия.

По-видимому, эту задачу уместно поставить и перед критикой. Итак, наш второй вопрос:

**В каком направлении будет, на Ваш взгляд, развиваться поэзия 70-х годов и от кого из поэтов Вы ждете наиболее серьезных результатов?**

Вот что нам ответили.



## Лев Аннинский

Поэзия находится в слишком сложных отношениях с календарными периодами, чтобы загонять ее в рамки «десятилетий». Во всяком случае, ни один крупный поэт своей судьбой не повторяет календарной сетки, а в истории литературы остаются, в конце концов, лишь крупные судьбы. Так что, размышляя о логике десятилетий в поэзии, мы берем весьма специфический угол зрения. Мы отвлекаемся от крупных судеб в сторону поэтической средней, мы отклоняемся от качеств к количествам, мы осмысляем не столько нравственное ядро поэзии, сколько оболочку, статистический контур, реакцию на общий спрос. Это тоже интересно, при том, однако, условии, чтобы называть вещи своими именами. Разговор о «десятилетиях» в поэзии — разговор не о ценностях. «Характерное» — да! «Ценное» — это мы еще посмотрим. Когда-нибудь.

Пятидесятые годы определились выходом к широкой публике двух поэтических поколений, двух типов судьбы и двух поэтических принципов. В силу внешних и внутренних причин воевавшие подзадержались с выходом, а когда в начале десятилетия они сформировались как поэтическое течение, — тут догнали их младшие, более легкие и подвижные, более праздничные и быстрые на реакцию. Поэтическая драма 50-х годов заключается в том, что легкие элементы победили в открытом состязании, что массовая аудитория молодежи пошла за ними. Наверное, это было закономерно: поэты стиля Евтушенко, между прочим, остро нуждались в сочувствии слушателей, здесь к слушателям прямо адресовались, ими специально занимались, за ними почти ухаживали. Немыслимо представить себе самое заискивание перед слушателем у Слуцкого или Самойлова. И драма совершилась. Откровенный человек победил сокровенного человека, шум победил тишину, внешнее оказалось ярче внутреннего. Тяжелый опыт отступил перед легким возбуждением. Общий поэтический стиль определился как стиль экспрессивный, как стиль обнажения слов, красок и чувств, как стиль выкладывания вовне, как стиль — крик (ликующий или жалобный — какой угодно, но — крик, обращенный ко всем).

Вот характерное из А. Вознесенского:

Немых обсчитали.  
Немые вопили.  
Медяшек медали  
Влипали в опилки...

Все кричит и все требует сочувствия.

Шестидесятые годы пришли как отрезвление. В наступившей тишине этого поэтического периода начались слышимые процессы, которые можно понять как реакцию и компенсацию предыдущего этапа. Прежде всего взяло реванш воевавшее поколение; внимание читающей публики (читающей, а не слушающей!) стало отходить к поэтам тяжелого опыта. Затем наметилось необычайное возрождение в деревенской сфере, в той среднесельской коренной полосе, которая связывается у нас со словом «Россия» в его многовековом звучании. Успех таких поэтов, как Н. Тряпкин,

Н. Рубцов, А. Передреев,— это симптом, и очень важный. Наконец, произошло перерасслоение ценностей и внутри самой «кричавшей» поэзии 50-х годов. Элементы легкие и моментальные в ней стусевались и отступили; элементы тяжелые и прочные проступили, вышли вперед. Вот четыре характерные строчки из Владимира Соколова:

Осеннее золото куполов  
Всплывает на синеве  
При полном молчании колоколов  
Со звонницей во главе...

Поразительное ощущение округлости, завершенности мира. Никаких углов, никаких воплей. Созерцание и тишина, словно очерченная плывущим звоном колоколов. Все светное уходит. Остается вечное: мудрость и достоинство.

Мне, например, такая поэзия сейчас ближе всего. Но я думаю, что сегодняшняя сосредоточенная сдержанность в поэзии должна кончиться. Процессы компенсации никогда не длятся долго. Тишина разрядится — она разрядится приходом какого-то совершенно нового молодого героя. И от того, кто придет, зависит наша поэтическая погода 70-х годов.

Не берусь предугадывать, каков будет лирический герой наступающего десятилетия. Разве что в самой общей форме?

Ему сейчас — около двадцати. Войны он не застал. Он не знает того ощущения, которое сформировало поэтов 30-х годов рождения, у которых на идеальную, романтическую основу предвоенного воспитания легло сложное чувство войны и ощущение того, что они — опоздали родиться, что главное — на фронте, а им досталось — ненастоящее. Эта мечта, перекрытая этой тоской, и дала тот беспокойный, психологически непрочный комплекс, который породил легкие стили в поэзии 50-х годов. Так вот, нынешние двадцатилетние не знают ни предвоенной романтической идеальности чувств, ни тоски военных лет. Они трезвее, реальнее... Не испытывавшие в детстве голода, они здоровее, наконец. Возьмите стихи нынешних молодых — какая энергия и какая жесткость!

Вот характерное из И. Шкляревского:

И потому, вбивая шаг  
в промерзлый грунт, в настил дощатый,  
я — молодой и сильный враг  
твоей тоски, твоей печали!

Похоже, что овалы опять сменятся углами. Вы видели молодых парней в фильме «Три дня Виктора Чернышева»? Вот оно!..

Еще раз: судьбы крупных поэтов в логику «десятилетий» никогда целиком не вписываются. Поэтому «поэтические результаты» 70-х годов зависят не столько от новой волны, сколько от реакции поэтов на эту волну. От того, чем ответит самосознание личности на приход этой новой энергии, новой силы.

## Дмитрий Голубков

I. В 60-х годах наметилось известное повзросление поэзии (я имею в виду главным образом поэзию молодую или условно молодую — тридцати- сорокалетних авторов). Мне кажется, что замирает тенденция фельетонной крикливости, поверхностной злободневности.

Однако тревожит все возрастающее обилие, разливанность стихотворного океана. За каждым сколько-нибудь значительным именем, явлением, даже стихотворением, поспешает, отдавливая друг дружку пятки, целая ватага двойников и подражателей. Вспоминаются озабоченные строки вневитиновской статьи, написанной сто сорок лет назад: «Надобно совершенно остановить нынешний ход словесности и заставить ее более думать, нежели производить».

Одну из главных бед нынешней лирики я вижу в том, что она как бы расщепилась на два потока: представители одного претендуют на звание поэтов-философов и усиленно специализируются в этом русле; другие с отроческим восторгом предаются стихии эмоционального саморасплескивания. Первые считаются наследниками Боратынского, Тютчева; вторые учителями своими называют Есенина, Павла Васильева, Бориса Корнилова.

Первые «философят» по любому поводу, их творчество можно свести к несложной математической схеме: А. Впечатление, чертеж-иллюстрация. Б. Формула, резюме.

Хорошо упражненный мозг, как трицепс руки, натренированной гантельной гимнастикой, мгновенно сжимается и, разжимаясь, выбрасывает обязательную формулу... Скажем — смеются. Люди смеются. Это надо энергично обдумать, отчеканить, отлить в металлическую форму... и вот:

Что говорить: но тайна смеха,  
Как тайна плача, глубока.

А тайна плача? Тайна улыбки? Крика? Ходьбы? Сновидения? Пищеварения? Ведь этот ряд бесконечен. И обо всем надо написать, изо всего необходимо выжать эссенцию псевдомудрости... Читаешь кряду десять, пятьдесят, сто таких стихотворений-«раздумий» — и чувствуешь: нечем дышать, не о чем писать, даже подумать — за тебя все обдуманно, все решено по законам неоспоримой логики... И потянешься к томику Тютчева или Вневитинова. Там тоже много мысли, и там тоже обилие точных афоризмов — но там они рождаются естественно, соразмерно, неназойливо: человек гуляет, любит миром, негодует, радуется — останавливается подумать и вас приглашает, сосредоточивая ваше внимание лишь на главном, на наиболее, на пристрастном...

Вторые («эмоционалисты») падки на образность. Оригинальная мысль, емкое обобщение для них необязательны. Ставка на внешнюю изобразительность, на «бросовитость» слова, стиха:

Пообмякнуть, на досках ложмя,  
чтоб от веника след — как лыжня.  
Эх ты, веник, березовый еж,  
ну, лупи, ну, вали ты, как ерш (?)..

Это — крайние, абсурдные примеры, выбранные из книг бесспорно даровитых наших поэтов. А сколько за ними плетется подражателей, уже совсем пренебрегших и чувством меры, и здравым смыслом!

Но классика никогда не разделяла оба эти качества, оба компонента: образ, чувство — и мысль, порожденная им, вытекающая из него (или растворенная в нем, в пластической картине, как это часто у Пушкина и Есенина). Вспомним Есенина, любившего как бы с разбегу остановиться перед глубоким, таинственно темным омутом философического раздумья:

Грубым дается радость,  
Нежным дается печаль...

или:

Лицом к лицу лица не увидать,  
Большое видится на расстояньи.

И, с другой стороны, сочность и свежесть красок в строгих, исполненных напряженной мысли созданиях Боратынского:

А ваша муза площадная,  
Тоской заемною мечтая  
Родить участие в сердцах,  
Подобна нищей развращенной,  
Молящей лепты незаконной  
С чужим ребенком на руках.

*(«Подражателям»)*

Итак, самое ценное, по-моему, в молодой поэзии 60-х годов — это некоторое повзросление, отрешение от суетности. Не следует преувеличивать размеры этого явления: оно еще только намечается, и отчетливо выражают его лишь немногие.

II. Думаю (надеюсь!), что в конечном счете возобладает и победит строгая классическая традиция, исторически очень еще молодая и долгое время сбиваемая с панталыку всякими боковыми ответвлениями и привнесениями извне, то есть — органичная слиянность чувства, образа и мысли. Только такой поэтике по плечу решение великих задач, диктуемых временем. Только такая поэзия может стать подлинно гражданской — служительницей, а не прислужницей эпохи.

По-прежнему вижу в Твардовском крупнейшего и значительнейшего стихотворца современности. Он — поэт богатейшего склада. А богатыри, как известно, старятся неохотно и неуступчиво...

Жду новых интересных вещей от Семена Липкина.

Из молодых наиболее перспективными считаю Игоря Шкляревского и Вл. Леоновича.

## Иосиф Гринберг

Отвечая на анкету, предложенную редакционной коллегией сборника «День поэзии — 69», позволю себе не разделять вопросы, нам заданные,— ведь прошлое, настоящее и грядущее так тесно связаны между собою.

Да, «всякого рода прогнозирование» в наше время весьма распространено и по преимуществу имеет достаточно прочное основание... Но в художественном творчестве, пожалуй, больше, чем в любой другой области, возможности «прогнозирования» несколько ограничены.

И не напрасно! Каждое стихотворение, достойное того, чтобы мы его считали подлинно поэтическим, обязательно открывает нам то, чего мы раньше не знали, обязательно обогащает нас знаниями, переживаниями, раздумьями, прежде нам неведомыми.

Можно ли было в свое время предсказать, предугадать появление «Баллады о синем пакете», «Гренады», «Синих гусар», «Думы про Опанаса», «Я не ищу гармонии в природе», «Я убит подо Ржевом», «Хорошей девочки Лиды» и других стихотворений, ставших гордостью и славой нашей поэзии прежних лет! Стихи и поэмы эти были нечаянной радостью, внезапным, мгновенным озарением.

Но могут возразить: вы толкуете о мощных вспышках таланта, а речь надс вести о широких устремлениях, общих тенденциях развития поэтического творчества.

Что ж, прежде всего стоит помнить о том, что именно в таких «вспышках» с наибольшей отчетливостью, с неопровержимой очевидностью и выступает могущество поэзии. А затем, обратившись к творческим биографиям поэтов, убедимся в том, что, прослеживая избранные ими пути, можно обнаружить повороты, перемены, удивительные своей неожиданностью. Не будем углубляться в прошлое,— останемся в пределах 60-х годов.

Можно ли было предполагать, к примеру, что после эпической «За далью — даль» Александр Твардовский обратится к лирике, которую можно назвать элегической, и добьется здесь такой прозрачной сжатости, сосредоточенности стиха, передающего безграничную широту жизни? Что Ярослав Смеляков, преодолев разбросанность, несобранность стихотворений, появившихся вслед за поэмой «Строгая любовь», так уверенно утвердится в жанре, близком к балладному, смело раздвигая его пределы и находя все новые и новые краски в своем стремлении постичь, воплотить живое движение истории? Что Кайсын Кулиев, оставаясь верным предельно прямому, пронзительно ясному строю стиха, сообщит ему безграничную гибкость, способность к бесконечному внутреннему обновлению? Неожиданности эти, как видим, разного рода: одни заметны с первого взгляда, другие открываются не сразу... Но так или иначе, они налицо, они неотъемлемая часть нашей поэтической действительности.

Правда, произошли и такие перемены, предвидеть которые имелось достаточно оснований. Можно было быть уверенным в том, что «пора эстрады» окажется недолговечной, что возросший интерес читателей к стиху предполагает и возрастающую требовательность, нежелание удовлетво-

ряться версификационной пиротехникой, риторическими декларациями, кулуарной полемикой... Но что же должно было произойти дальше? Убедительнее, весомее вырисовывалась устойчивость стихов, написанных всерьез, с подлинным мастерством, действительно исследующих жизнь, причастных к ней, обнажающих глубинную связь поэта и времени.

В последнее время те, кому дороги судьбы стихового творчества, все тревожнее говорят о паводке рифмованных строк. Отменить, запретить появление новых стихотворцев невозможно, да и не полезно: будущие мастера, таланты где-то рассеяны, спрятаны пока в толпах дебютантов. Очевидно, наилучший, если не единственный, выход — обостреннейшая внимательность, позволяющая отбрасывать все мнимое, поддельное, незрелое и сочувственно встречать все отмеченное живым, истинно поэтическим восприятием жизни.

Будем же далеки от предвзятости, чутки в отрицании и в утверждении, и тогда получим возможность порадоваться успехам, достигнутым нашей поэзией на подходе к 70-м годам. Каждый, кто пытается перечислять поэтов, ему наиболее близких, тотчас оказывается меж Сциллой необъятности и Харибдой неполноты. Пишущий эти строки решается признаться в том, что помимо уже упомянутых мастеров его привлекают стихи Сергея Орлова и Веры Звягинцевой, Александра Межирова и Елены Николаевской, Михаила Луконина и Реваза Маргиани, Маргариты Алигер и Владимира Соколова, Леонида Мартынова и Юстинаса Марцинкявичюса, что он с волнением читал итоговый том стихотворений Евгения Винокурова и новую книжку Константина Ваншенкина, с сочувствием следит за работой над «сюжетным» стихом, которую ведут Олег Дмитриев, Евгений Храмов, Владимир Костров, за лирическими поисками Беллы Ахмадулиной, Ларисы Васильевой, Татьяны Кузовлевой, Дины Терещенко... Не одно еще имя, признаться, просится под перо, но длинные перечни никому не нужны, никакой пользы не приносят.

Все эти названные и не названные здесь поэты и есть наше будущее. Нет, не только простое чувство такта, не только боязнь попасть впросак не позволяют называть сейчас тех, от кого можно ждать «наиболее серьезных результатов». Ведь ими могут оказаться и те работники стиха, которые ныне представляются «достигшими /потолка», а на самом деле еще не нашли себя, действуют лишь в пол, а то и в четверть силы. Все сверстники Ольги Берггольц хорошо помнят, каким поразительным был взлет ее в осажденном Ленинграде. А расцвет Владимира Луговского перед самой кончиной... А такой же финальный подъем Александра Гитовича... Неожиданностей будет много — вот это можно предсказать, — и, наверное, счастливых. А отсюда и пожелание... Бесспорно, созданное нашими поэтами требует постоянного обобщения, осмысления. Но нет никакого толка в сочинении тех или иных «концепций», предрекающих одним унылое увяданье, другим молниеносный успех. Группировать художников слова, прикреплять их к тем или иным течениям — дело, быть может, и занимательное, но малопродуктивное. И, главное, подобные «сортировки» постоянно зачеркиваются живым развитием поэзии. Так бывало и в ту

пору, когда сами стихотворцы считали себя — кто «перевальцем», кто «конструктивистом». Так происходит и теперь, когда жажда взаимоотталкивания владеет уже очень немногими.

Предстоит внимательная, вдумчивая, пронизательная оценка открытий, совершаемых нашей поэзией. Это кропотливая, трудная работа. Но она-то и может помочь рождению завтрашней поэзии — ведущей нас в будущее, не отделимой от него и потому — исполненной обаяния.

## Юрий Идашкин

1. Вопросы периодизации литературы далеко не всегда возможно подчинить принципу «круглой» хронологии. Мне представляется, что правильнее было бы говорить о явлениях поэзии не последнего десятилетия, а, скорее, последних 13—14 лет. Но это касается лишь одной границы периода. Другая же граница периода, на мой взгляд, действительно проходит через наши дни.

Я далек от мысли, которая высказывалась некоторыми авторами, что применительно к поэзии 1956 год стал своеобразной точкой отсчета, моментом прерыва постепенности развития, что советская поэзия до и после XX съезда представляет собой качественно различные явления. Творчество многих крупных советских поэтов старшего и среднего поколения убедительно опровергает эту точку зрения. Но то, что общественная атмосфера тех лет вызвала необычайный прилив творческой активности, выдвинула или оживила много проблем, нуждавшихся, в частности, и в художественном освоении, — непреложный факт.

Совершенно естественно, что в силу самой жанровой специфики поэзия быстрее и шире откликнулась на эту потребность.

Тут были и свои достижения, и свои издержки.

На правых порах легкая кавалерия «эстрадных» стихов добилась, казалось, решительного успеха. Евг. Евтушенко с его размахистыми, резкими, порой грубыми прикосновениями к острым и больным темам, с его удивительно быстрой, но почти всегда неглубокой реакцией; А. Вознесенский с его гипертрофированным, напряженным до болезненности мироощущением человека, не способного отыскать равновесие между технизированным макромиром и гиперболизированными почти (а иногда и прямо) до крика сигналами из внутреннего микромира; Б. Ахмадулина и Б. Окуджава с их сконцентрированностью на внутреннем, сугубо личном, порою предельно интимном, стремящиеся усложненностью форм выражения скомпенсировать явно недостаточную общественную значимость содержания; Р. Рождественский с его поверхностной смелостью и раскованностью — эти и некоторые другие имена на какой-то период времени задавали тон, добившись шумного успеха. Думаю, что не без влияния этого успеха, вызвавшегося и в сенсационных аншлагах поэтических вечеров, и в резком росте тиражей поэтических сборников, заметно увеличился приток в поэзию молодых новобранцев.

Но отнюдь не под сенью этого успеха, хотя, пожалуй, в

тени его, шла своей дорогой поэзия, питающаяся живительными корнями великой русской литературы, поэзия, стремящаяся сохранить связь времен, поэзия глубоких общественных идей и сильных человеческих чувств, не низведенных до крика, до простейшей эмоции, поэзия света и разума, страстей и деяний.

Прошло время, и всякий объективный ценитель поэзии увидел, сколь сильно отличаются произведения Я. Смелякова, Б. Ручьева, Вас. Федорова, с их высотой политического и гражданского мышления, с их ясной и волнующей образностью, от мнимых, шумноватых откровений Евг. Евтушенко. Стало ясно, что назойливая жаргонизация стиха, осуществляемая тем же Евг. Евтушенко, А. Вознесенским и некоторыми их эпигонами, не стала и не станет нормой. Оказалось, что постепенное выхолащивание общественного содержания из стихов и поэм Р. Рождественского проявляется тем яснее, чем упорнее пытается поэт следовать якобы формальной традиции поэтики Маяковского. Я думаю, что на примере печальной «эволюции» Р. Рождественского еще раз доказана бесплодность и даже невозможность подражания Маяковскому. Традиции Маяковского ни в коем случае не «лесенки», а прежде всего творческий принцип, метод. Потому-то, замечу попутно, современные поэты, формально близкие к Маяковскому, по существу оказываются намного дальше от него, чем формально далекие.

И наконец, закономерно, что поэты, громко заявившие о себе как трубадуры интимной лирики (Ахмадулина, Окуджав, Вознесенский), к концу рассматриваемого периода и в этом качестве уступили свои позиции. Мне представляется, что такие разные поэты, как А. Межиров, Вл. Соколов, В. Цыбин, С. Куняев, С. Кузнецова, М. Соболев, В. Сидоров, М. Румянцева, Дм. Ковалев, Ф. Чуев, Р. Казакова, И. Волгин, каждый в присущем ему поэтическом ключе, дали немало образцов подлинной лирики, значительно более близких к лучшим традициям отечественной поэзии.

Так что же все-таки было в этом периоде наиболее ценного и что войдет в историю русской литературы?

Наиболее ценным в эти годы мне представляется, во-первых, творчество старейших наших поэтов, таких, как покойные Н. Асеев, И. Сельвинский, а также А. Прокофьев, П. Антокольский, С. Кирсанов, Н. Ушаков, Н. Браун, которым мы обязаны созданными именно в эти годы великолепными стихами, своеобразным эталоном для молодых. Во-вторых, работа уже упоминавшихся мною Б. Ручьева, Я. Смелякова, Вас. Федорова, а также более молодых А. Межирова, Е. Исаева, Вл. Соколова, И. Рядченко, Н. Доризо.

Наконец, поэтический труд группы поэтов, которые вкупе с уже названными выше много сделали для того, чтобы отстоять русский стих от чуждых ему влияний. Я имею в виду С. Викулова, В. Гордейчева, Дм. Ковалева, В. Цыбина, А. Пердреева, С. Куняева, Н. Рубцова, В. Сидорова, В. Кострова. Причем задача всех этих поэтов была особенно трудной потому, что им приходилось отстаивать основные традиции отечественной поэзии как от покушений «космической поэзии» (Вознесенский, Рождественский), так и от стилизации, весьма далекой от подлинной народности (В. Соснора, И. Лысцов, А. Говоров).



А в историю литературы, по моему убеждению, должно войти и творчество Евг. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, В. Сосноры. История есть история! И в ней должно остаться все, что поучительно...

2. Думаю, что поэзия будет развиваться в направлении все более глубокого освоения и развития традиций русской классической поэзии XIX века и лучших традиций советской поэзии Маяковского и Багрицкого, Асеева и Тихонова, Есенина и Луговского. Ибо в этих традициях заключено все то, что делает нашу литературу величайшей литературой мира: теснейшая связь с общественными потребностями, страстная тенденциозность, преклонение перед человеком и стремление содействовать его прогрессу, не отделимому от прогресса общества. Холодное формотворчество, разрушение традиционного русского стиха, отчуждение личности от общества, мелкость переживаний не имеют будущего в нашей поэзии. А кто именно из наших поэтов достигнет наивысших результатов — вопрос, по-моему, не столь важный, и, кроме того, ответ на него слишком уж трудно отделить от личных привязанностей, субъективных симпатий. Все же скажу, что очень многого жду от Вл. Соколова, А. Передреева, В. Цыбина, Ф. Чуева, О. Дмитриева, И. Волгина.

## **Лазарь Лазарев**

1. Я не думаю, что русская поэзия 60-х годов XX века представляет собой внутренне цельный и заверченный этап. Больше того, мне кажется, что где-то в первой половине этого десятилетия в поэзии заканчивается один период и начинается другой, хотя, как известно (и я об этом не забываю), наносить на литературную карту демаркационные линии нужно с крайней осторожностью и по возможности пунктиром — очень уж зыбки и причудливы в искусстве границы.

Каким был завершившийся период? В это время наша поэзия пережила пору невиданной популярности у читателей. И не только невиданной, но и неожиданной, вспыхнувшей, как лесной пожар. От растерянности и критики, и особенно рьяно некоторые поэты стали искать «виновников» чрезвычайного происшествия, «заинтересованных лиц», — ими, нетрудно догадаться, оказались те поэты, которые больше других пожали у читателей лавров, а лавры действительно были распределены очень неравномерно и далеко не во всех случаях справедливо — правда, так в искусстве случалось уже не раз. В обзорах поэзии и проблемных статьях замелькало уничижительное слово «мода» — и на самом деле не обошлось без спекулятивного подражания тому, что имело наибольший успех у публики. И все-таки ссылки на моду, поиски «виновников», нередко подсканзанные дурными советчиками — уязвленным самолюбием, неутоленным тщеславием, не касались сути, а уводили от нее.

Поэзия призывала к духовному и нравственному обогащению, а этот призыв как нельзя лучше соответствовал мироощущению читателей, многие из которых и до и после

этого столь страстного интереса к стихам не проявляли, предпочитая им прозу. Пусть этот призыв часто был и слишком общ и риторичен — читатели до поры до времени не замечали отвлеченности и умозрительности многих поэтических формул, для них жизненно важным было то, что их гражданские и нравственные устремления были освящены высоким авторитетом поэзии. Выразить такого рода строй чувств поэзии удастся лучше, чем прозе, и в этот период поэзия потеснила в читательском сознании прозу. Именно в таком вторжении поэзии в действительность была тогда общественная потребность.

Однако эта потребность не стала и вряд ли могла стать долговечной. В первой половине 60-х годов жажда искренне-приподнятых слов, которую наилучшим образом утоляла поэзия, сменяется у читателей — конечно, не сразу, не вдруг — острой заинтересованностью в конкретном разностороннем исследовании противоречий действительности, в строгом и трезвом анализе обстоятельств, под влиянием которых или в сопротивлении им формируются характеры. Короче говоря, время выдвинуло новые задачи, с которыми прозе справиться легче, чем поэзии. Задачи эти были общими для всей литературы, но поэзия, само собой разумеется, должна была их решать по-своему, иначе, чем проза.

Что-то меняется в отношениях поэзии и действительности, поэзии и читателя — это ощущение, пусть смутное, неотчетливое, возникло у некоторых поэтов.

Казалось бы, без видимого повода заговорили о поэме, о том, что здесь меньше достижений, чем могло бы быть, о ее разновидностях — более или менее перспективных. Но вспомним, какие возможности открывает этот жанр для аналитической панорамы действительности! Впрочем, главное, что вызвало эту дискуссию, прошедшую несколько лет назад на страницах «Литературной газеты», — беспокойство по поводу нынешнего состояния дел в поэзии — так и осталось под спудом, не было осознано.

Не случайно и другое — то, что разных по складу поэтов именно в эти годы потянуло к философской лирике, они нащупывали для себя новые пути, новые способы осмысления современности.

Все это были приметы — первые, едва заметные — нового периода в развитии поэзии (вслед за анкетой я употребляю это слово «период», хотя, вероятно, уместнее было бы какое-нибудь другое, менее обязывающее), который продолжается по сей день и, пожалуй, не завтра кончится. Он, этот период, внешне более скромнен, чем предыдущий, нет былого блеска и шума, утихли критические битвы, более скупно распределяются листья лавра и не чохом — на всю поэтическую «обойму», а за персональные заслуги и достижения. Медовые месяцы пылкой читательской любви к поэзии, когда в ослеплении страсти привязанность нередко делилась поровну между дарованиями, взаимоисключающими друг друга по характеру и направлению и слишком уж не равноценными, — это время безоглядной любви кончилось.

Но здесь, чтобы не быть ложно истолкованным, я должен сделать одну оговорку. Меньше всего я хочу, чтобы из сравнения двух периодов был сделан прямолинейный и далекий от истины вывод: дескать, поэзия предшествующего

периода была на недостижимой высоте, а нынешняя совершенно не справляется со своими обязанностями, сникла, влачит жалкое существование. Речь шла о том, в какой мере поэзия удовлетворяла и удовлетворяет запросы читателей. Но при этом нельзя не учитывать, что запросы бывают разные. Сегодня перед поэзией стоят задачи куда более трудные и сложные. Однако в нынешние годы созданы поэтические ценности, хотя и не встреченные при появлении бурей восторгов и громогласными проклятиями, как случилось в прошлом, но сработанные на совесть и отличающиеся завидной долговечностью. Я бы назвал (предупредив, что выбор мой субъективен) последние стихи ушедших от нас А. Ахматовой, С. Маршака, М. Светлова и ныне здравствующих поэтов А. Твардовского, С. Липкина, А. Тарковского, Я. Смелякова, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Е. Винокурова, А. Межирова, Н. Коржавина, В. Корнилова, О. Чухонцева.

Та внутренняя работа и поиски, которые идут сейчас в поэзии, не дают немедленной отдачи. Многое из посеянного сегодня принесет плоды лишь в будущем, и ждать придется, быть может, немалый срок. Ничего в этом зазорного нет. В будущее смотрят с надеждой. Показательно, что столь разные поэты, как А. Тарковский и С. Наровчатов, высказали недавно, словно сговорившись, одну и ту же мысль. Они считают, что поэзией уже так много накоплено впрок, что не за горами пора синтеза, надо ждать появления всеобъемлющего гения, который, подобно Пушкину, — именно это имя было названо — подведет итог предшествующему развитию нашей поэзии и на долгий срок определит ее пути.

Однако как бы ни отличались друг от друга бегло охарактеризованные мной последние периоды в развитии отечественной поэзии, есть тенденции, которые пробили себе дорогу сквозь все десятилетие. Одна из них — заинтересованное внимание к индивидуальности художника, обогащение диапазона средств поэтической выразительности и связанное с этим расширение активно используемого наследия (последнее в одинаковой степени относится к поэзии XIX и XX веков).

2. Прогнозирование в искусстве если и станет возможно, то лишь тогда, когда за сочинение стихов возьмутся кибернетические машины. А до той поры, которая, надо надеяться, никогда не наступит, если человеку не придется жить по программе, выработанной роботами, расхожий научный термин «прогнозирование» применительно к искусству лучше не употреблять. Очень уж это «прогнозирование» напоминает то, что наши дедушки и бабушки называли гаданием на кофейной гуще. Стоит ли возрождать это увлекательное, но малопродуктивное занятие?

Спору нет, можно в общей форме определить те проблемы, которые в ближайшем будущем встанут — вернее, уже встали — перед искусством (я говорил уже об этом, отвечая на первый вопрос анкеты), но как эти проблемы будут решены в поэзии и будут ли они вообще решены, появятся ли новый Пушкин, которого ждут А. Тарковский и С. Наровчатов, кто из поэтов, как сказано в анкете, добьется в грядущем десятилетии «наиболее серьезных результатов», — все эти и им подобные вопросы «спиритизма в роде».

Известно, что даже реальные возможности не всегда

осуществляются, даже самые насущные запросы не во всех случаях удовлетворяются: история своевольничает, и путь ее не кратчайшее расстояние между двумя точками, которое преодолевается при равномерном и прямолинейном движении за заранее вычисленное время.

## **Анатолий Ланциков**

Любая эпоха, хотя и опирается в определенные хронологические рамки, не может рассматриваться автономно, вне связи со временем ей предшествующим и временем грядущим. В этом отношении и наши шестидесятые годы не представляют исключения. Думается, истекающее сейчас десятилетие завершает собой какой-то очень значительный временной этап нашей поэзии, необычайно противоречивый и многогранный. Начало этого периода я отношу в 60-е годы прошлого века, когда идея «непосредственной пользы» (сапоги дороже, чем Шекспир), став знаменем своего времени, отвоевала у истории нашей поэзии целое столетие.

Если же говорить о характерных явлениях нынешнего десятилетия, то здесь, на мой взгляд, необходимо обратить внимание на два явления. Одно из них — это направление, с которым чаще всего связывались имена Е. Евтушенко, А. Вознесенского и Р. Рождественского. В творчестве каждого из них находят свое логическое завершение какие-то ранее уже бытовавшие «начала». Так, в стихах Р. Рождественского я вижу окончание течения, которое столь же ярко и целостно проявилось в свое время, скажем, в стихах А. Безыменского. В поэтическом кризисе А. Вознесенского без особого труда угадываются его литературные предшественники, поэтической сущностью которых всегда был кризис их души. А. Вознесенский — «окончание» этого течения. Наиболее универсален Е. Евтушенко. Он — единое «окончание» многих «начал», но ни одно из них не опускается в историю отечественной поэзии глубже, чем 60-е годы XIX века, впрочем, так же, как и те «начала», что завершают А. Вознесенский и Р. Рождественский.

Итак, для первой половины 60-х годов необычайно характерна яркая вспышка (так обычно вспыхивает лампочка перед тем, как погаснуть окончательно) тех эстетических принципов поэтики, которые обуславливали поэтическую жизнь на протяжении целого века.

Разумеется, тот или иной временной рубеж не является абсолютным водоразделом, ибо «новое» всегда зарождается в недрах «старого» и в борьбе с ним, а «старое» еще долго продолжает жить в «новом», поэтому порой так трудно сквозь частокол отдельных фактов разглядеть важнейшие тенденции, предопределяющие перспективу развития.

Вторая половина 60-х годов не столь ярко и не столь отчетливо выявляет свои тенденции в именах, но устремления этих тенденций очевидны. Здесь я имею в виду то направление, которое через Есенина, Блока, Тютчева, Кольцова, Лермонтова приближается к пушкинским «началам» поэзии, вобравшим в себя многовековую культуру нашего народа. Это направление видит в поэзии ее самоценное зна-

чение, не подчиняет, но и не противопоставляет духовные ценности ценностям материальным, на чем, пожалуй, больше всего и спотыкалось минувшее поэтическое столетие.

Поскольку анкета требует, назову имена: Анатолий Педреев, Николай Рубцов, Валентин Сидоров, Владимир Соколов. Я называю только тех поэтов, чей творческий путь целиком связан с 60-ми годами.

2. Памятуя, что поэзия предпочитает дружить с молодостью, и учитывая пугающую статистику средней продолжительности жизни крупных поэтов, я не возьмусь связывать «серьезные результаты» будущего с конкретными именами ныне работающих поэтов. Не стану этого делать и в силу соображений «педагогических».

Для меня очевидно, что в 70-е годы необычайно серьезную роль сыграет поэзия Пушкина, а также Есенина и Маяковского. Мне представляется, что Есенин и Маяковский были в какой-то мере поэтами «преждевременными», но, видимо, в этой «преждевременности» была своя необходимость и закономерность. Теперь настало время нового их прочтения. Кстати, именно новое прочтение Есенина дало нам Н. Рубцова.

Нет, возвращение к Пушкину — это вовсе не движение вспять. Мы вернемся к нему совершенно в ином духовном качестве. Перестав поклоняться научно-техническому прогрессу и одновременно перестав его проклинать, а то и другое, по-моему, должно случиться именно в будущем десятилетии, человек станет обретать ту цельность, когда наука и искусство становятся для него единственными.

В осмысленном стремлении обрести цельность мы вновь и вновь будем обращаться к Пушкину, и вовсе не потому, что он величайший поэт. Для нас Пушкин не просто поэт...

Пушкин — это наша античность. И возвращение к «началам» его поэзии позволит нам, людям второй половины XX века, создать невиданную доселе цивилизацию, когда человек перестанет вести изнурительную борьбу с «неумирающими» пережитками прошлого, так как попросту станет невосприимчивым к ним, как сейчас, скажем, мы невосприимчивы к вульгарному людоедству.

Я не уверен, что все это завершится в 70-е годы, больше того, я уверен, что для этого потребуется не одно десятилетие, однако именно наши семидесятые годы должны стать тем поворотом, от которого начнет потом исчисляться новая поэтическая эпоха и историческая судьба Нового Человека, отринувшего все предрассудки и суеверия как нецивилизованной дикости, так и цивилизованного одичания, от которых сейчас мы еще так несвободны...

На поэтическом знамени новой эпохи будут начертаны радостные всякому чуткому человеку слова: «Вперед, к Пушкину!»

А кто же из нынешних наших поэтов вскоре понесет это знамя? Я думаю, об этом у нас еще будет достаточно времени поговорить на страницах сборника «День поэзии — 79».

## Станислав Лесневский

1. Все мы, не сомневаюсь, и составители предложенной анкеты знаем, что «десятилетия» поэзии не совпадают с календарными. Минувший поэтический период — это, очевидно, не шестидесятые, а пятидесятые — шестидесятые годы (примерно с 1952—1954 до 1964—1966 годов).

Для всего периода 50-х — 60-х годов характерно сгущенное выявление в поэзии уроков гражданского, нравственного, духовного опыта, нажитого народом в предшествующие годы, особенно в войну и послевоенную пору. При этом существенно важными мне кажутся не только даты написания, но и даты публикации произведений, «затребованных» духом времени.

В эти годы продолжали работать и в эти годы ушли от нас крупнейшие мастера, прожившие в поэзии чуть не целую эпоху. Закатные их дни были озарены настоящим художническим взлетом, «последней молодостью». Это поэтическое завещание плеяды старейшин, поэзия итогов, ответов, прощальных решений. Многие из этих песен грядущие поколения сохраняют надолго. Стихи эти пробьют толщу времени, — движимы они целой жизнью, всей судьбой.

Новый творческий подъем испытали поэты, чьим величайшим переживанием была война. Одно время помножилось на другое, одно время прошло сквозь другое — сороковые годы сквозь пятидесятые — шестидесятые. В поэзию наших дней вновь явилось слово, закаленное и отграненное подвигом народа. Слово, которое впору было высекать на бронзе и граните. И оно впечатывалось в камень. «Никто не забыт, и ничто не забыто» — стало всенародной заповедью. Заповедь эта не только о войне. Так говорит само время устами своих поэтов, которые пишут если не о войне, то «войною», ее заветом.

В поэзии 50-х—60-х годов была настойчива монументальная, провидческая интонация. В той или иной мере она захватывала поэтов всех поколений. Чувство масштабов, чувство истории, связь времен одухотворяли поэзию. В ней сильны были мотивы общечеловеческие, философско-исторические, вселенские. Поэзия выразила чувство нашей ответственности за судьбу человечества.

Пятидесятые — шестидесятые годы богаты читательскими открытиями. Иных поэтов читатели впервые открыли для себя, иные поэты открылись какими-то негаданными сторонами. Не так-то легко давалось поэтам их «второе рождение», некоторых оно сожгло...

Характернейшей приметой отошедшего десятилетия поэзии было бурное выдвижение новых (или впервые замеченных) имен. Сейчас принято говорить об издержках «эстрады», «моды» и т. д. Издержки были. Главным же результатом бранимого явления осталось приобщение небывало широкого круга читателей к поэзии. Читательский интерес не остановился на новых именах — он распространился далеко за пределы этих имен, стал достоянием всего спектра поэзии. Опрометчиво полагать, что подразумеваемые имена отыграли назначение «ракеты-носителя» и будут преданы забвению. Убежден в дальности полета лучших произ-

ведений молодых поэтов 50-х — 60-х годов (и тех, кого вознес «успех», и тех, кто обрел сравнительно малую известность). Убежден в значимости духовного опыта молодых поэтов, для которых это десятилетие было временем гражданского возмужания. История вообще не склонна оставлять от прошлого пустыню, в которой высятся лишь несколько седых пирамид. В отличие от субъективных ценителей, история, народ забирают с собой многое. То, чем жило наше время, взволнует потомков!

Поэзия 50-х — 60-х годов преемственно связана со всей историей русской, советской поэзии. Десятилетие, ближайшее к нам по времени, органически вырастает из поэзии военных лет, послевоенного творчества тех поэтов, которые, кстати сказать, зачастую были влиятельными учителями начинавших тогда стихотворцев. Поэтическую атмосферу минувшего десятилетия нельзя представить без нового прочтения творчества значительнейших русских, советских поэтов, без обращения к истокам, без тех поэтов, которых время вернуло нынешним читателям. Это было десятилетие активнейшего общения с нашим поэтическим прошлым. Последующие десятилетия, надо полагать, углубят эту связь, расставят в ней свои акценты...

Очень трудно выделять лучшие произведения поэтов обозреваемого десятилетия. Жаль забыть хоть одного поэта, близкого тебе или всей своей судьбой, или отдельными поэтическими страницами, или только одним стихотворением. Да и зачем спешить?

2. В поэзии предшествовавшего десятилетия заметно стремление к прямому разговору с читателем на общие, всех волнующие темы («От сердца к сердцу»). Отсюда зачастую — формулировочность, учительность, витийство, умозрение, и в лучших вещах — не холодное, не равнодушное, но страстное. Отсюда — разговорность (или песенность), «произносительная» (или доказывающая) установка. Обращенность, открытость... Вера, что слово может многое. Стихи были нередко на той черте, где «дышат почва и судьба» и где «кончается искусство». Но это именно та черта, где искусство и начинается!

Сейчас заметно определенное отталкивание от этой активной тенденции, разочарование в ней. В поэзии усилились реминисцентные мотивы, светящие отраженным светом. Кажется, многие сегодняшние стихи — это словно бы сон — хороший сон, где всплывают воспоминания о том, что были когда-то Кольцов, Некрасов, Фет, Аполлон Григорьев, Блок, Есенин... «Еще не все потеряно, мой друг...»

Естественно предположить, что это «отрицание» сменится «отрицанием отрицания» и кому-то посчастливится найти синтез.

Мы рассуждаем в момент, когда трудно и невидимо происходит в поэзии «смена дней». Ушли многие из виднейших мастеров, долгие годы составлявших славу советской поэзии. На перепутье, в раздумье, на подступах к неизвестному — талантливейшие из современников. Никакими статьями, даже если их пишут поэты, не заменишь поэзии.

## Александр Михайлов

1. Первый вопрос надо разделить на две части. Не берусь определять, какие явления поэзии нынешнего десятилетия можно считать наиболее «ценными, достойными войти в историю русской литературы». Идеино-эстетическая ценность и жизненность произведений искусства определяется временем, устойчивостью народного признания. Хорошо известно, чем закончилась недавняя попытка составить опись «золотого фонда» советской литературы.

Что же было наиболее характерным в поэзии 60-х годов? Нравственное возвышение человека, утверждение личности, интеллектуальное обогащение, свобода лирического высказывания. К концу десятилетия, мне кажется, произошло некоторое понижение общественного тона поэзии. Самоуглубление и самовыражение идет с заметным акцентом на интимной, психологической и нравственной стороне жизни. Философия времени, занимавшая столь большое место в поэзии на рубеже 50-х и 60-х годов, уступает место интроспекции.

Если еще каких-нибудь пять-шесть лет назад можно было наблюдать общую тенденцию выразить все богатство внутренней жизни человека с преобладанием пафоса действия, то сегодня в поэзии ощущается недостаток кислорода от некоторого разобщения с социальными проблемами современности.

В сфере эстетической хочу обратить внимание на обратное движение к гармоническому, строго организованному, традиционному стиху. Поиски новой выразительности в большинстве случаев идут на основе устойчивых поэтических форм и за счет их обогащения. Рядом с этим предпринимались и предпринимаются смелые, существенные по результатам попытки радикального обновления поэтического языка.

2. Несмотря на некоторое понижение общественного тона — явление, безусловно, временное, поэзия находится в движении, в соприкосновении с различными сторонами действительности, и если она всерьез рассчитывает и дальше занимать достойное место в духовной жизни общества, то непременно должна будет развивать гражданскую активность, сосредоточить внимание на социальном разрезе жизни.

Без общественного темперамента, без гражданской страстности не может быть великой поэзии. Но ни общественный темперамент, ни гражданская страстность не могут помешать великому поэту выразить всю полноту личности, все богатство чувств и мыслей, все тончайшие нюансы духовной жизни.

К этому синтезу должна и будет идти поэзия в 70-е годы, им будет обусловлено обновление выразительности поэтического языка.

Кто из поэтов добьется наиболее серьезных результатов? Крупный талант, крупная личность, человек с сильным характером.



## Станислав Рассадин

Я с недоверием отношусь к прогнозам.

Шестьдесят лет назад в журнале «Нива» было сообщено, что художник Иван Пархоменко «готовит России невиданное зрелище»: пишет маслом галерею писательских портретов. «Тут,— возглашал журнал,— будут собраны все выдающиеся представители современной русской литературы».

И выдающиеся перечислялись (советую дочитать список до конца): «Гр. Петров, Арцыбашев, Баранцевич, Рославлев, Фофанов, Чириков, Ясинский, Щепкина-Куперник, Кузьмин-Караваев, Градовский, Фидлер, Тан, В. Гордин, Каменский, Найденов, Будищев, Пешехонов, Мамин-Сибиряк, Елпатьевский, Л. Толстой, Милюков, Волынский, Анненский, Ремизов, Федоров, Вяч. Иванов, Бор. Лазаревский, Вересаев, Боборыкин, Златовратский, Луговой, Муйжель, Дрожжин, Бунин, Короленко, Розанов, Вас. Немирович-Данченко, Ос. Дымов, Овсянко-Куликовский, Богучарский, Дорошевич, Ольга Шапир, Зарин, Л. Шестов, Блок, Андреев, Голенищев-Кутузов, Рышков, Батюшков, Рукавишников, Гриневская, Буренин, Кони, Пантелеев, Карпов, М. Ковалевский, Потапенко, Ив. Щеглов, Клавдия Лукашевич, Горнфельд, Лихачев...»

Занятно видеть сегодня, как тонут Л. Толстой и Блок, Анненский и Бунин среди Гр. Петровых и В. Гординых. Между тем это не курьез. Конечно, другой, более солидный, чем «Нива», журнал дал бы списочек покороче, но я не думаю, что дело здесь просто в диком невежестве «желтых». Снисходительность современников, когда художественная несостоятельность порою прощается ради вовремя сказанного словца, та их слепота, которая, по словам Тынянова, бывает сознательной,— понятны. С ними можно (и, вероятно, нужно) не соглашаться, но миновать — нельзя: что поделаешь, современнику иной раз хороший поступок и в самом деле нужнее хорошего стихотворения.

Я не призываю к отказу от критериев; напротив, по мере сил пытаюсь их нащупывать, но предсказывать боюсь и не хочу.

Лучше просто сказать несколько слов о современности, пока не ставшей историей.

Думаю, не один участник анкеты будет говорить о том, о чем говорят все: уходит пора эстрады в поэзии, приходит обретение традиции. Да, слава богу, приходит.

Только радость по поводу того и другого слишком безоглядна (я не говорю уже о том, что иной раз проклятия эстраде со стороны поэтов так похожи на обиду за собственную непопулярность).

Говорить об эстраде только ругательски просто неисторично. Она неминуемо должна была восторжествовать, ибо долгожданное пробуждение интереса к стихам не могло не обрести крайних форм. Но, помня о ее заслугах, надо видеть глубокие нарушения в отношениях читателя (слушателя, болельщика) и поэта.

За поэзию болекст. Как за футбол.

На моей памяти неслыханная вспышка футбольной страсти в послевоенные годы. Творились кумиры, накалялась

атмосфера обожания — и в то же время юмористы сочиняли ернические сказочки: «Было у них три сына. Двое умных, а третий футболист...»

Только дети обожали бескорыстно, до легенд, вроде той, что у Николая Старостина на правой ноге череп и кости — вратарей убивает. Футбольные легенды были для нас современной трансформацией рыцарских романов. Но дети — исключение...

Чувство болельщика — немного и чувство собственника, не исключаяющее фамильярности и самоутверждения за счет кумира.

Дух спортивного соревнования в поэзии — соревнования одиночек или целых поколений — опасен, ибо не скоротечен.

Мне кажется, в ликующих провозглашениях победы (условно говоря) традиции над эстрадой слышен прежний спортивный ажиотаж. Опять у читателя есть основания не слишком уважать заискивающих перед ним состязателей. Опять шумит мода — только теперь мода на старомодность.

Если искусство — это мышление образами, то искусство критики сейчас многие понимают как мышление списками, поколениями, направлениями, спортивными командами. Традиционалисты гуртом наваливаются на эстрадников. Те крепят строй, спешно забывая междуусобицы.

Реальный, к счастью, далеко не выдуманный поворот поэтов к зрелости, к мудрости, к традиции (страшно проносить эти слова, так костенеют они на глазах, превращаясь в штампы) может быть опошлен, если мы не поймем, что овладение традицией — мучительный труд и душевная склонность; ни нахрапом, ни по заказу к ней не придешь.

Вернее, опошлить сам литературный процесс, конечно, не удастся. Поэзия создается «вне школ и систем», в одиночку, и создающие ее будут делать дело, о чем бы мы ни шумели. Но то, что многие читатели по-прежнему будут довольствоваться пенками, снимаемыми с общих котлов, а не искать неповторимых, индивидуальных ценностей, — это опасность реальная.

Когда приходит зрелость, резче проступает не общность тенденций, а различие индивидуальностей. Надеюсь, семидесятые годы заставят нас окончательно покончить с гуртовым духом.

А жду я больше всего от тех поэтов, которых люблю и сегодня: от Твардовского, Кулиева, Коржавина, Липкина, Самойлова, Чухонцева...

Так что прогнозировать не хочется.

## **Евгений Сидоров**

Всякого рода «прогнозирование» в литературе — занятие малопочтенное, если не сказать — пустое. С этой точки зрения анкета «Дня поэзии» наталкивает критика на ответы недостаточно убедительные для будущего, но зато слишком убедительные для современников.

Поэзия не меряется десятилетиями, не укладывается в

них. Взлет Пастернака и Заболоцкого совпал в читательском сознании с событиями 50-х годов. Мартынова время нашло приблизительно в тот же период. Что из этого следует? Ничего, кроме того, что истинные поэты стараются или, лучше сказать, умеют быть самими собой во все времена. Эпоха проникает в их кровь и сознание не тем прямым, «публицистическим» способом, который еще многим кажется самым простым и логичным.

Конечно, есть поэты шестидесятых — по рождению книжек. Что с ними станет — пока неясно. В эти годы окреп Вознесенский. Противоречие между чувством неуверенности и чувством естественности голоса достигло в нем той критической стадии, когда становятся по судьбе либо Пастернаком, либо Маяковским. В эти годы несколько увял Винокуров и пышно расцвела псевдомедиативная лирика, заgrimированная под новую моду — интеллектуальность. Однако космос Данте и Блока слишком велик и обжигающ, чтобы мы всерьез рассуждали о космической риторике русского Межелайтиса.

А пока — наивная жажда Тютчева, Пушкина, Фета, которая сделалась почти повальной и очень шумной, вместо того чтобы быть естественным и нормальным состоянием профессионального русского литератора, делающего свои стихи. А пока — поспешные, похожие клятвы родным небесам и нивам, холодные слепки с Боратынского и Есенина, неприязнь «формотворчества» и обилие поучающих критических статей, принадлежащих перу поэтов.

Конечно, поиски утоляющего источника — естественная реакция замороженного человека, вдруг оказавшегося между Сциллой и Харибдой: с одной стороны — поток версификаций, а то и прямого непрофессионализма; с другой — утрата высоких критических критериев в публичной оценке поэтической продукции. Понятно, почему обычные размеры и слова Владимира Соколова обратили наконец на себя повышенное и благосклонное внимание критики. В них открылся естественный и гармоничный мир, почти лишенный того напряжения, которым дышит наша действительность. Этот мир поэтому ограничен, но он по-своему и привлекателен, ибо открыто опирается на русскую поэтическую традицию и точно уравновешен внутренне. Лирика Соколова (о которой сегодня пишут больше, чем говорят) совпала с настроением некоторой усталости от поэтических поз и манифестов и была подобна глотку воды, на миг освежившему пересохшие губы. Должен еще раз подчеркнуть, что это совпадение не обязательно свидетельствует о величине таланта. Здесь фиксируется лишь честная цельность художника, верность своей природе, что само по себе есть высочайшее нравственное достоинство, но еще не отличает поэта от читателя.

Меня беспокоит вялость, безмускульность сегодняшней молодой поэзии — и в мысли и в стихе. Образовался огромный разрыв между старшими мастерами (Твардовский, Смеляков), средним поколением и стихотворцами, пришедшими в литературу в 60-х годах. Долго так продолжаться не может. Семена, брошенные в прошлом десятилетии, еще дадут добрые всходы, остается запастись терпением и ждать, стараясь не обмануться и узнать в лицо нового Поэта.

Оглядываясь назад, перебирая в памяти крупные поэтические события прошлого десятилетия, нельзя не вспомнить «Кёльнскую яму» и другие стихи Бориса Слуцкого, сыгравшие заметную роль в художественном и гражданском воспитании целого ряда поэтов. Нельзя обойти молчанием «Второй перевал» Давида Самойлова с замечательными драматическими сценами о Меншикове, так и не оцененными по заслугам нашей критикой. Несомненно, одной из самых ярких фигур остается Евгений Евтушенко.

Решительно не знаю, как будет развиваться поэзия 70-х годов. Знаю только, что в нескольких и разных направлениях. Многого жду от Олега Чухонцева, Юнны Мориц, Беллы Ахмадулиной.

## **Михаил Синельников**

Заманчивы вопросы, предложенные редакцией «Дня поэзии». Ах, как хотелось бы остановиться, оглядеться, прикинуть текущее, каждодневно совершающееся на весах истории. Да только — возможно ли? Возможно ли определить, как расставит поэтов 60-х годов Время? Возможно ли провидеть персональный список поэтических достижений годов грядущих?

Интересно, конечно, попробовать, интересно назвать имена — и при этом не ошибиться, да еще не по случайному совпадению со временем, а по причине пронизательного постижения литературной действительности. И все-таки, думаю, факты этой действительности определятся в своем подлинном значении куда точнее и глубже, если не будут замкнуты рамками одного десятилетия. Слишком велика в развитии нашей поэзии сила духовной преемственности, слишком ощутима в ней принципиальная, содержательная цельность.

Для меня несомненно, что достоянием истории русской поэзии будут лучшие стихи из книги Ярослава Смелякова «День России». Но как ни пытаюсь — не могу отделить для себя Смелякова годов 60-х от Смелякова других, прежних годов. Корни, вспоившие «День России» — изобразительные, психологические, идейные, — уходят в глубины всего творчества поэта.

Другой — и разительный — пример — «Узел» Ольги Берггольц. Книга, ставшая поэтическим явлением 60-х годов, вся почти состоит из стихов, созданных в 40-е и 50-е годы. Причем не только из тех, что не публиковались раньше, но из тех, что уже включались в сборники Берггольц, в том числе и в появившиеся еще в самом начале 50-х годов. Разумеется, смысл каждого из этих мужественных, драматичных стихотворений уточняется в новой книге, приобретает дополнительные оттенки. Но как важно, размышляя о сборнике «Узел» и его месте в поэзии 60-х годов, видеть, помимо даты издания, еще и временные особенности составивших сборник стихов. Вот тогда только по-настоящему и оценишь органическую цельность книги, тогда и выявится во всей полноте главное — убежденность поэта в правоте дела Революции, непреходящая вера его в силу человека — борца, а не простого орудия обстоятельств.

Не отваживаясь на персональное прогнозирование поэтических 70-х годов, позволю себе все же один самый общий и полусерьезный прогноз. Сейчас часто — и справедливо — пишут о девальвации поэтического слова, о засилье вполне «грамотных», но безликих стихов. Административно-пресекающими мерами поток таких стихов не остановить, это, кажется, уже всем ясно. Но вот почему бы не пометать о том, что лет эдак через пять — десять критика отвыкнет вдруг использовать безликие, бездушные стихотворные строки (не желая, естественно, при этом замечать их безликости и бездушности) для иллюстрирования тех или иных общих положений, для побивания оппонентов и для прочих практических целей? Будут себе печататься гладкие вирши, и их не будут замечать, станут смотреть на них просто как на одно из проявлений всеобщей грамотности. И вот тогда, может быть, поток понемногу станет иссякать...

## **Дмитрий Стариков**

На мой взгляд и вкус, одно из значительнейших и плодотворнейших направлений развития современной русской лирики связано с настойчивым и целеустремленным возобновлением классических традиций XIX века. Разумеется, советская поэзия в лучших своих достижениях всегда была их верным продолжателем. Но, мне кажется, с особой силой это ее качество стало ощущаться и культивироваться именно в последнем десятилетии. Недаром на самом его пороге, в 1960 году, у Владимира Соколова написано прекрасное, хрестоматийное в лучшем смысле этого слова, стихотворение «Все как в добром старинном романе...», которое сегодня перечитывается, без преувеличения, как своеобразный манифест целой плеяды молодых талантов, разными путями и по-разному пришедших ныне со своим поэтическим даром к подножию «позабытого людьми Аполлона»...

Вспоминаются свидетельства современников о личных поэтических пристрастиях В. И. Ленина. П. Н. Лепешинский, говоря о нем как о большом любителе поэзии, подчеркивал: «и именно поэзии классической, немного отдающей стариной»; «если не ошибаюсь,— добавлял мемуарист,— Тютчев пользуется его преимущественным благорасположением». Судя по воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, никакой ошибки тут нет: «В рабочем кабинете Владимира Ильича в Совнарком, на этажерочке, возле стола, а нередко и на самом столе, можно было видеть томик Ф. Тютчева. Он часто перелистывал, вновь и вновь перечитывал его стихи».

Этот, казалось бы, сугубо частный факт индивидуальной ленинской биографии, на мой взгляд, приобрел несомненный общественный смысл, естественным ходом вещей сомкнувшись с тем, как закономерности строительства новой, коммунистической культуры осознаются его, этого строительства, нынешними участниками. Не знаю, что по этому поводу думают те, кто составляет и издает обобщающие обзорные книги и учебники по истории нашей словесности.

Но сама-то реальная история литературы, как ни легко здесь ошибиться современнику, полагаю, благодарно вбирает в себя упорный и вдохновенный труд тех, кто с полным правом может повторить о себе программные строки того же Соколова:

Вдали от всех парнасов,  
От мелочных сует  
Со мной опять Некрасов  
И Афанасий Фет...

Думаю, достаточно назвать для примера кроме книг Владимира Соколова еще хотя бы стихи и статьи Анатолия Передреева и Станислава Куняева, поэтов уже вполне сложившегося в эти годы характера и стиля, чтобы оценить значение для будущего русского стиха этой все более мощной тяги к «прозрачным размерам, обычным словам». Они ли, другие ли вслед за ними выдвинутся в грядущем во «властители дум», никто не предскажет, но, по-моему, уже многие знают, что избранный ими путь — самый трудный и самый верный.

Размышляя об этом пути, очевидно, нельзя не взглянуть в его основные ориентиры. Некрасов и Фет восприняты здесь в одном ряду. Но значит ли это, что в Некрасове признается живым лишь то, что совместимо с Фетом, что не более Фета? Пройди ближайшими предшественниками современных наследников выступают Блок и Есенин; Маяковского для иных из них как бы и не было. И новый вопрос: достаточно ли сознаем мы новизну времени и читателя, новые потребности общественной жизни; достаточно ли стремимся на деле овладеть «думами» современников и уверены ли в самой серьезности и непреходящести этих «дум», в их ценности для большой культуры?..

На эти и связанные с ними вопросы ответит время. И, уверен, ответит в ленинском духе, на основе ленинских идей. Ведь всем нам, полагаю, внятно то серьезное и очень точное наблюдение над судьбой старой культуры, которое вынес Леонид Леонов, сказавший как-то, что истинная культура «есть организм, нуждающийся в постоянном обновлении молодыми идеями, соответственными народным потребностям».

## **Виктор Чалмаев**

...Первыми жертвами обширных нефтяных пятен на поверхности океана стали перелетные птицы. Говорят, они доверчиво отдыхают на волне, а затем, ощутив странную неловкость от слипшихся перьев, буквально задыхаясь, бросаются на песчаные отмели, чтобы соскоблить песком, стряхнуть вездесущую жирную пленку. И тысячи их, исковерканных, взлохмаченных, умирают, не долетев до наших лесов, полей, карнизов.

Поэзия наших дней — вся охвачена подобным же протестом, напряжена в поединке с подобной же пленкой — и не менее жирной и толстой! — мещанства, пошлости, литературности, дешевых сортов так называемой «коммуника-

бельной культуры», что растекается все шире, незримо и невольно облекает все живое, естественное своей вязкой массой.

Поэзия ищет еще открытые, дышащие поверхности жизненного океана, ищет души, не оскорбленные литературностью и газетчиной. Обилие стихов о природе творчества, о поэзии — это самоконтроль, перебирание «перьев», очистка их от «пленки», от прилипчивой банальщины, механических чувств, остывших слов, лишенных всякой духовной температуры.

Не ощупана, не куплена,  
Польхая и пля-ша —  
Шестикрылая, ра-душная,  
Между мнимыми — ниц! — сущая,  
Не задушена вашими тушами —  
Ду-ша! —

убеждаться в этом сейчас практически необходимо всем.

Мне кажутся карикатурой, пародией поэтического вдохновения строки, «творцы» которых, как правило, не перешагивают порога «обыденного сознания», «творцы», которые, даже напрягаясь в муках творчества, плывут в этой пленке пошлости, вторичных, изреченных уже истин, чисто житейских ощущений. В 70-е годы, бесспорно, из области взрослой поэзии в область детской нравоучительной прозы перейдут многие проблемы и формы изложения, еще живущие сейчас. «Я был любовью сбит, как самолет» (А. Заяц); «И снова скрипка в крадчивой повадк о й вдруг всколыхнула память в глубине» (И. Волобуева); «Я — балалайка. Я звучу. Душа моя на песни льется. Я самый близкий брат лучу, который солнечным зовется» (В. Боков); «Лежат в луны веками, пришли в луны с л е д н и к а м и и смотрят на мир быками, раздавшимися боками» (Е. Антошкин), — так мыслить в поэзии будет просто невозможно, ибо так освоить мир, внести в него такую гармонию сможет в недалеком будущем и машина. Тут поэтическая душа всецело «ощупана и куплена» вещами, пленкой литературности, пеной слов. И даже авторы этих строк в будущем не будут так писать.

В сущности, все 60-е годы мы искали путей преодоления этого самого «обыденного сознания», которое агрессивно лезло в поэзию, опираясь на якобы демократические вкусы толпы, мещанства, лезло то в виде растянутых поэм-рек, то гулких, но чисто механических од, то в форме асадовского мелодраматизма. Где-то проглядывало уже истинное понимание природы творчества как величайшей самоотдачи, как «дьявольской игры», которой бесследно не вынесла ни одна душа, как уменья уловить Верховный, звездный час, когда для поэта близок

Вдали раскат стихающего грома.  
Неузнанных и пленных голосов  
Мне чудятся и жалобы и стоны,  
Сужается какой-то тайный круг,  
Но в этой бездне шепотов и звонов  
Встает один, все победивший звук,—  
Так вокруг него непоправимо тихо,  
Что слышно, как в лесу растет трава,  
Как по земле идет с котомкой лихо...

*А. Ахмарова*

В 60-е годы мы поняли одно: покорять пространство и время по-настоящему можно только духовно, а не механически, с наивностью бодрых невежд, думающих, что, «очистив» природу от случайности, от всего, что «не к стати», от тайн и загадок, мы вырвемся в некий новый счастливый мир. В сущности, описательная фотографическая поэзия описала, «покорила» все уголки страны, все поверхностные движения души, но сейчас эти строки уступают даже в эмоциональном воздействии кинохронике или документам. «Один, все победивший звук», как символ Истины, образ Родины не в его плоском измерении, портрет личности и народа с большим духовным объемом страстей и дум,— все это не под силу былым покорителям пространства и времени. И прав был А. Яшин, в книге которого «Совесть» (1961) мелькнула произвольная догадка о каких-то новых пространствах и координатах движения:

...На душе неуютно, тревожно,  
Будто здесь обрывается свет:  
И назад повернуть невозможно  
И вперед указателей нет.

Очертанья земли незнакомы...  
Но внезапно, обрадовав слух,  
То ли из лесу,  
То ли из дому  
Загорланил совсем по-родному,  
По-российски,  
По-свойски петух.

А. Яшин, Н. Рубцов, Н. Тряпкин, Дм. Ковалев и другие стали открывать в 60-е годы пространство нравственной жизни, мир совести, человеческого достоинства, опираясь, как правило, на природу, заново открытый мир «простой» деревни. У них часто еще нет музыки, но есть молчание, тишина как почва ее, нет шума, нет самодовольства банальностями. Слово «засветилось», заиграло скромным, но живым светом. Дар естественности всегда стоял первым в ряду секретов поэзии.

К сожалению, в те же 60-е годы вместо движения к союзу с музыкой и с историей (в особенности отечественной, тысячелетней) неожиданно как средство преодоления «обыденного сознания» восторжествовал вновь какой-то рационалистический гигантизм, псевдофилософское великанство. Я отношу к этому и «Озу» А. Вознесенского, и многие главы «Братской ГЭС» Е. Евтушенко, и поэму-письмо сразу в ХХХ век Р. Рождественского, и др. Как будто избыток гипофиза, способствующего механическому росту клеток, был положен в них.

Игра с земным шаром, солнцем, перебрасывание их с руки на руку, весьма слабо отражает научный процесс, но зато так льстит чувству неполноценности перед всем вечным, таинственным, что всегда живет в мещанине. Имея все, что можно «съесть, выпить и поцеловать», он всегда будет чужаком, «человеком не к стати» в золотых снах поэзии, в сфере настоящей духовной жизни. Эта неполноценность, трусость перед вечностью трансформируется в мещанстве в наглость, агрессию против красоты, возвышенного. Зато как ему приятно, не замечая духовного своего пигмейства,



немоты, «смело» заглядывать в звездные дали, покорять их... риторикой.

Все это, как и характерное для Е. Винокурова проникновение в микроситуацию, его псевдоостановки мгновения, на мой взгляд, тот же натурализм, только наизнанку. Наука, на которую якобы опираются все эти поэты, дала им только лексику, терминологию, но не впустила их за закрытую дверь, где есть и радости, и потрясения, и муки. В огромных словесных пирамидах некому обитать.

Ныне поэзия учится и слушать музыку и сходится в историю. У нее нет, конечно, пушкинской, толстовской родословной — чудесной естественной лестницы во все уголки истории. Но есть уже глубокое уважение к историческому опыту народа, есть чувство Родины. В 70-е годы, на мой взгляд, поэзия будет искать «молнию индивидуальности» в человеке, брать его не в первичных жизненных проявлениях, а в поисках сложных духовных истин, в самопроизвольных, но отражающих стихийное самодвижение и богатство мира «крайностях», загадках душевной жизни. Наивные усилия пересоздать мир на основе чисто рационалистических, технократических идей, вскипятить все источники сырой воды (реки, озера, ручьи), чтобы покончить с желудочными заболеваниями, сменятся доверием к природе и истории, к неизвестному, таинственному, к глубине, а не плоскости.

Как океан объемлет шар земной,  
Земная жизнь кругом объята снами...

И безумцев, которые способны будут навевать и разгадывать эти золотые сны, возвращать вкус чуда, представление об ином, не механическом существовании человека будет все больше. Сначала они будут казаться юродивыми... Затем... Но это уже плановость, а ведь пламя нельзя взвесить.

## **Вадим Кожинов**

Редколлегия «Дня поэзии» поручила мне, как говорится, «подвести итоги» дискуссии, сложившейся из ответов на наши вопросы. Сделать это нелегко: мнения различны, разнороден даже самый тон ответов.

Но нельзя не отметить сразу же одно: ответы, полученные нами, интересны, значительны, своеобразны. Кажется, что-то важное происходит в критике — по крайней мере, в критике поэзии.

Кстати, почти все говорят об известном «спаде» поэзии в наши дни. Что ж, может быть, настало время критики, которая призвана вдохновить новый подъем?

Но, отмечая это, нельзя не сказать об однойстораживающей детали. В половине ответов содержится принципиальный отказ от «прогнозов» или, выражаясь проще, от критического предвидения. В нескольких ответах отрицается и возможность определять художественную ценность сегодняшней поэзии, ибо, мол, для этого потребно время.

О времени упомянуто вполне уместно. Да, определить ценность поэтического явления — значит прежде всего предвидеть его судьбу, уяснить его способность к долгой и славной жизни во времени.

У нас часто жалуются, что-де нет вот современных Белинских. Но Белинский — так же, как, впрочем, и любой действительно выдающийся русский критик, — недвусмысленно утверждал: «Определение степени эстетического достоинства произведения должно быть первым делом критики». Потом уже можно говорить обо всем остальном. Белинский был более всего горд и удовлетворен тем, что он по первым же произведениям смог предвидеть величие творческой судьбы Гоголя и Лермонтова и грядущую роль «натуральной школы» и отдельных ее представителей.

Собственно говоря, без предвидения (пусть и в небольшой мере) критика вообще не мыслима. И те самые критики, которые с порога его отрицают, в действительности дают свои предсказания — уже хотя бы в простом перечислении имен наиболее ценимых ими поэтов. Ибо, называя этих поэтов, критик, вольно или невольно, высказывает свою уверенность в том, что их стихи будут жить долго и что именно от них следует ожидать в будущем новых поэтических ценностей.

Воистину правая рука не ведает, что творит левая.

Правда, у нас достаточно много критиков, которые в самом деле всеми силами воздерживаются от оценок (если, конечно, они уже не стали всеобщими) и, тем более, предсказаний. Они пишут о ком угодно, устанавливают строгий баланс «поэтических достоинств» и «недостатков» (особенно они любят словечко «огрехи») и ухитряются не сказать ровно ничего определенного. Но статьи таких «критиков» в лучшем случае совершенно бесполезны, хотя, быть может, они и составляют большинство.

Ст. Рассадин приводит список «выдающихся» писателей из «Нивы» — список, в котором великие затерялись среди посредственностей. Но ведь этот список составлен как раз на основе мнений таких «критиков»... И не может же Ст. Рассадин не знать, что и в то время были люди, понимавшие истинное положение вещей в литературе.

Рассуждения о времени, которое, мол, всех поставит на свои места, — это только бездумная отговорка. Никакого абстрактного времени в общественной жизни нет. Время — это деющая деятельность людей. В данном случае — деятельность критиков и литературоведов, которые и должны обоснованно определить ценность каждого явления поэзии.

Ст. Рассадин откровенно признался, что он «боится» предсказывать. Почему? Потому, что в будущем придется, возможно, испытать чувство стыда за свои ошибочные предсказания? Но волков бояться — в лес не ходить, сиречь не заниматься критикой.

Ради истины замечу, что Ст. Рассадин здесь возводит на себя напраслину. Во многих его статьях есть и смелые оценки, и прямые предсказания. И все же пока в критике будет так распространено убеждение, что оценки дает некое отвлеченное время, — нечего ожидать Белинских...

Но пойдём дальше. Большинство участников анкеты стремится понять и объяснить недавно совершившийся переход

от «шумной» поэтической эпохи к «тихой», от широкого жеста — к углубленности. Точки зрения тут очень разные — в том числе самые крайние. С. Лесневский и Е. Сидоров высоко оценивают «шумный» период, а поэтическое сегодня представляется им только «сном»; В. Чалмаев и А. Ланщиков, напротив, резко отталкиваются от предшествующего периода, а в явлениях современной поэзии видят плодотворнейшие искания.

Эти крайности прежде всего неубедительны. Трудно, скажем, согласиться с В. Чалмаевым, когда он усматривает единственное «спасение» в поэзии, связанной с деревенской тематикой, противопоставляя ее всему остальному.

Кстати сказать, многие недоразумения обусловлены тем, что критики не разграничивают (а классическая русская критика считала это безусловно обязательным) поэтов и стихотворцев — то есть «беллетристов стиха». А ведь наряду с громкой жизнью «легкой», эстрадной поэзии, специально рассчитанной на популярность (как и легкая музыка), всегда продолжалось гораздо менее заметное «серьезное» поэтическое дело. В. Чалмаев, отвергающий «эстраду» (которую, между тем, надо судить по ее собственным законам и которая сыграла недавно свою особую громадную роль), не хочет этого замечать.

Те же, кто твердят об «упадке» поэзии в наши дни, не оговариваются, что они имеют в виду упадок (а он действительно очевиден) поэтической беллетристики, стихотворства. О поэзии же в серьезном смысле надо ставить вопрос особо. Иначе все запутывается, и спорящие просто не понимают своих противников.

Но нельзя не заметить, что, несмотря на все различия, участники анкеты едины в общем представлении о современной ситуации в поэзии: все они воспринимают сегодняшнее ее состояние как переходное, «поисковое», все ждут какой-то новой волны, нового периода в поэзии.

А. Ланщиков считает даже, что настает новая поэтическая эра, ибо сто лет назад русская поэзия во многом отошла от пушкинских начал и, в частности, пошла по пути своего рода «утилитаризма». Эта интересная мысль нуждается все же в уточнении. Ибо, скажем, в поэзии Блока и Есенина трудно обнаружить «утилитаризм» — а ведь они во многом определяют поэтическое лицо века. С другой стороны, ломка классических форм, сознательное противостояние пушкинской традиции действительно началось не в 1860-х годах, а на рубеже XIX—XX веков.

Но вернемся к современности. Меня очень удивило, что почти никто из участников анкеты не обратил внимания на один весьма выразительный факт: у нас сейчас почти нет поэтов моложе тридцати лет. А ведь если вспомнить, что к тридцати годам уже достигли высшего расцвета (или даже вообще завершили свой жизненный путь) Пушкин, Боратынский, Тютчев, Лермонтов, Кольцов, Блок, Есенин и многие другие, этот факт не может не вызвать тревогу. Нельзя не вспомнить также, что многие поэты ближайших предшествующих поколений — выступившие к середине 40-х и затем к середине 50-х годов — сложились творчески уже в 20—25 лет (напомню судьбы С. Гудзенко, М. Луконина, А. Межирова, Вл. Соколова, Евг. Евтушенко, Б. Ахмадулиной).

Сейчас предшествующее поэтическое поколение по существу выполняет работу нового, не явившегося вовремя на сцену. Л. Аннинский нарисовал образ современного двадцатилетнего поэта, но сослался только на стихи И. Шкляревского, которому, прошу прощения, уже минуло тридцать.

Да, сейчас вообще нет молодых поэтов, и можно подумать, что нынешние мальчишки вывернули для себя наизнанку выразительную формулу, данную Александром Межировым:

До тридцати почетно быть поэтом,  
И срам кромешный после тридцати.

У нас есть прекрасные поэты «среднего» поколения — или, точнее, двух средних поколений («военного» и «послевоенного»), — на которых я возлагаю большие надежды, но продолжателей что-то не видно и не слышно. Вероятно, именно поэтому до сих пор сомнительно величают «молодыми» таких давно сложившихся поэтов, как Г. Горбовский, С. Куняев, А. Передреев, Н. Рубцов, О. Чухонцев.

Никто не сменил на эстраде и модных стихотворцев, беллетристов стиха, — и они тоже так и остались в той или иной мере «молодыми» (хотя дело и близится к со-рока...).

Мы часто восхищаемся умением сохранять молодость. Но у этого превосходного качества есть и обратная сторона. И отсутствие младшего поколения едва ли полезно для наших поэтов среднего поколения. Но это уже особый вопрос...

В чем же дело? Л. Лазарев — и в его слова нельзя не вдуматься — говорит, что поэзия выполнила свою задачу и теперь настало время прозы.

Что ж, в русской литературе были периоды почти безраздельного господства прозы — например 1840-е годы. Лишь к середине 1850-х годов наступила новая поэтическая эпоха. Примечательно, что Некрасов издал свою первую книгу (не считая сожженного им юношеского сборника) в возрасте 35 лет, Мей — 39 лет, Огарев — 43 лет, Алексей Толстой — 50 лет, Тютчев, который, будучи за границей, не успел «издаться» в 1830-х годах, — лишь 51 года (к этому времени он, кстати сказать, создал более половины своих высших творений). Только в тридцатипятилетнем возрасте приобрели настоящую известность Фет и Полонский. Между тем все эти поэты писали стихи — и нередко первоклассные — с юношеских лет. Господство прозы заставило их отложить свои настоящие литературные дебюты на средний или даже пожилой возраст.

Так что же, может быть, и нынешние двадцатилетние выступят где-нибудь в 1980-х — 1990-х годах, когда вновь начнется время поэзии?

Была в русской литературе и еще одна пора запоздалых дебютов — начало XX века. Некоторые поэты, родившиеся в 1850-х — 1860-х годах, издали свои первые сборники лишь в это время.

Так, когда вышла первая книга Анненского, ему уже было 48 лет, а Блок в своей рецензии доверчиво привет-

ствовал «юную музу». Бальмонт, хоть он и рано начал печататься, получил известность лишь около 35 лет. Между тем их более молодые коллеги — Брюсов, Блок, Андрей Белый — прочно вошли в литературу уже к 25 годам, а следующее поколение — Маяковский, Ахматова, Есенин, Цветаева — и того ранее.

Но здесь дело не объяснишь «господством прозы» в литературе конца века. Ибо такие ровесники Анненского, Ф. Сологуба, Вяч. Иванова, как Надсон, Фофанов, П. Якубович, имели огромный успех (особенно Надсон) именно тогда, когда первые молчали. Разгадка кроется, очевидно, в необычности и новизне поэтов, «забывавших» в своем духовном развитии вперед. Они, кстати, и писали до начала XX века очень мало.

Что ж, может быть, сегодняшние молодые поэты также создают стихи настолько новые и необычные, что печатать их еще не пришло время?

Однако целый ряд участников анкеты — пожалуй, даже большинство — утверждают, что сейчас как раз настало время активного возрождения классических традиций. Собственно говоря, это уже совершилось. Перелистайте выпуски «Дня поэзии» (которые так или иначе выражают общий характер поэтического сегодня) за предшествующие три года, и станет ясно, что, за исключением нескольких поэтов, — выглядящих сейчас, кстати, как-то старомодно, — все стремятся писать в «классическом» стиле. После целой эпохи обновления, ломки и сдвигов в поэтике, эпохи, начавшейся на рубеже двух столетий, поэзия как бы вновь вошла в то русло, об истоке которого, пробившемся ровно 230 лет назад, так точно сказал некогда Владислав Ходасевич:

...Первый звук Хотинской оды  
Нам первым криком жизни стал<sup>1</sup>.

Между прочим, решительный поворот к традиции начался в творчестве больших поэтов еще лет тридцать назад. Так, Заболоцкий и Пастернак, проделав сложный путь развития, органически пришли к классической ясности и гармонии.

Редко кто задумывается над тем, что тот же путь по-своему совершил и такой поэт, как Твардовский. Между тем он сам рассказал об этом в очерке «О себе», где, приведя деформированные строки из ранних своих произведений (конца 1920-х — начала 1930-х годов), он заметил: «Я должен был на собственном трудном опыте разувериться в возможности стиха, который утрачивает свои основные природные начала: музыкально-песенную основу, энергию выражения, особую эмоциональную окрашенность». Поэт обрел себя лишь через полтора десятилетия после того, как начал печататься.

И уже это показывает всю сложность задачи.

---

<sup>1</sup> Восторг внезапный ум пленил,  
Ведет на верьх горы высокой...—  
так начал в 1739 году Ломоносов.

Пастернак, прежде чем «вернуться» к классике, как известно, молчал целое десятилетие (между 1931 и 1941 годами он написал — в 1936 году — всего несколько стихотворений) и заявил позднее: «Я не люблю своего стиля до 1940 года». Не менее трудный переходный период испытал и Заболоцкий.

И задача сейчас состоит не в том, чтобы осознать уже совершившийся всеобщий поворот к традиции, но в том, чтобы понять всю сложность и трудность этого пути. Ведь для многих, к сожалению, классический стиль — это своего рода ступенька эскалатора, утвердившись на которой они рассчитывают легко подняться к вершинам поэзии.

При прочих равных условиях сочинять «приличные» стихи «модерного» типа гораздо легче. Ну, скажем, такие стихи:

Пока слепо плыл сон над разбитыми надеждами,  
Космос болью сочился над разбитой любовью.  
Был из скрытых людей свет твой медленно изгнан,  
И небо не спало.

Или еще:

Все девушки рыдают,  
Словно тихие снега.  
У ложа эта девушка не будет плакать.  
Дожди — глупые любовники,  
Но я не робок.  
Запнуться, простонать, идти.  
Та девушка плыла  
Под парусом и в конторе...

Бьюсь об заклад, что найдутся ценители поэзии, которые обнаружат в приведенных строках интересные и смелые ассоциации, отражение «разорванности» века и т. д. и т. п. И захотят узнать имя автора.

Что ж, его зовут «R. С. А.-301». Эти стихи — плод вдохновения электронной машины — приведены в недавно опубликованной статье доктора физико-математических наук Г. Хильми «Логика поэзии».

В стихах такого или родственного типа невозможно, в сущности, отделить искреннее (пусть даже ущербное) лирическое выражение от шарлатанства.

Толстой как-то заметил, что настоящий русский язык не позволяет солгать. Но то же самое можно сказать и о русском стихе, выработанном за столетия (я имею в виду не «размеры», а многообразные виды целостного единства слова и ритма, то есть «язык русской поэзии» — «язык» не в лингвистическом, а в эстетическом смысле).

Сейчас, повторяю, подавляющее большинство наших поэтов пишут в «классическом» стиле. Даже такой страстный и стойкий поборник ритмического новаторства, как М. Луконин, в последних своих вещах перешел к традиционному стиху.

Но, может быть, именно потому яснее проступили художественные слабости и создалось то впечатление «спада», которое выразили многие участники нашей анкеты. Именно потому, быть может, не появляются на сцене молодые поэты. Ведь редакции, как и раньше, завалены стихами — в том числе и самых юных авторов, — но ныне это в подав-

ляющем большинстве стихи классического склада, стихи, в которых обнаженно выступают и фальшь, и отсутствие самобытности, и смысловая пустота. Безличность и стертость здесь бросаются в глаза даже неопытным редакторам, и стихи попадают в корзину.

Между тем у ряда представителей предшествующего поколения внутренняя безликость и поверхностность мысли прикрывались оригинальной ритмикой, «невиданными» способами выбора и сочетания слов, новаторской рифмовкой и т. п.

Сейчас никого не поразишь внешней оригинальностью. Все ищут самобытности, жадно хватаясь за каждый ее призрак в стихах поэтов разных поколений. А это, конечно, гораздо более редкая вещь.

Характерная примета поэтического сегодня — обилие своего рода пародийных стихов — тех, которые принято относить в рубрику «иронической поэзии». Эти стихи имеют различные типы и формы, но их так или иначе объединяет тенденция снижения поэзии. Приведу сразу типичные примеры — зачины ряда стихотворений разных авторов:

Я крупно очиняю  
Чернильный карандаш,  
Я с веком начинаю  
Давнишний диспут наш...  
Как винное брожение  
Бушует, до зари  
Мое воображение  
Давало пузыри...

Или:

Пятнадцать лет!  
Я любила балет.  
Я на свидание  
Пришла заранее.  
У меня беретик,  
как маков цветик...

Или:

Я вспомнил Север... И теперь  
Лишь развожу руками...  
Я жил в гостинице дверь в дверь  
С отличными стрелками.  
Они порой пускались в пляс,  
Скрипели половицы;  
Нередко посещали нас  
Поморские девицы...

Или:

Мне однажды приснилось: я стал молодцом —  
хитрецом,  
гордецом,  
наглецом,  
очень важным лицом  
с очень важным лицом —  
все трепещут, и дело с концом...

Или:

Два капитана средних лет,  
Два представителя пехоты,  
В саду на скатерть из газет  
Выкладывают лук и шпроты...

Или:

Один поэт сложил стихи о том,  
Что тиражей имеет маловато

И что не многовато ли притом  
И тиражей и славы у собрата?..

Или:

В войну мне выдали бесплатно  
Американское пальто.  
Во всей округе, вероятно,  
Такого не имел никто...

Пальто и спереди и сзади —  
Не веришь, матушку спроси,—  
Я до того отделал за день,  
Что хоть тряпишнику неси...

Все эти стихи взяты из одного большого сборника. Они принадлежат самым разным авторам — от маститых до начинающих, от известнейших до почти еще не имеющих известности. Стихи, конечно, не похожи друг на друга. И все же их явно объединяет «сниженность», своеобразный привкус пародийности.

Что ж особенного? — могут спросить меня. Каждый поэт вправе быть в своих стихах ироничным и самоироничным. Но особенное все же есть. Дело в том, что, во-первых, в указанном сборнике не менее четверти объема занимают стихи такого типа, а во-вторых, очень многие из этих стихов принадлежат авторам, которые до сих пор не увлекались «иронической поэзией». Словом, перед нами некое веяние времени, которое нуждается в объяснении, пусть оно пока еще мало заметно.

Как представляется, поэты пишут «сниженно» потому, что «высокую» или хотя бы «нормальную», «нейтрального» тона поэзию создавать сейчас очень трудно. Причем дело идет не столько о «сниженных» темах, мотивах, настроениях, сколько о снижении самой поэтической стихии.

Все это достаточно серьезно. Такие строки, как «мое воображенье давало пузыри», «у меня беретик, как маков цветик», «два представителя пехоты», «нередко посещается нас поморские девицы» и т. п., — разве в них не чувствуется «прутковщина»? А ведь перед нами, строго говоря, вовсе не «ироническая поэзия» в собственном смысле. Все эти стихи написаны не «ради смеха», они по-своему серьезные.

И невольно переходишь к выводу: такие стихи пишутся потому, что подлинная серьезность в поэзии стала слишком трудным делом. Все это, конечно, имеет свои причины и особенности, для уяснения которых пришлось бы написать целый трактат.

Возможно, я слишком догматичен, но эта «прутковщина», получающая столь широкое распространение, меня тревожит. И мне кажется, что ее осознание способно как-то ограничить эпидемию. Впрочем, я не склонен думать, что эпидемия может перекинуться в 70-е годы. Это, по всей вероятности, только некий «промежуток», и участники анкеты, очевидно, правы, когда утверждают, что наша поэзия переживает принципиально переходный период. В этом есть и слабость, и сила. Слабость — в неустойчивости, колебаниях, самоиронии, которые свойственны сейчас многим поэтам.

Знаменательно, что ныне большую роль для русской поэзии играет — в таких масштабах впервые в истории —



творческое взаимодействие с лучшими поэтами других народов нашей страны — такими, как Ираклий Абашидзе, Кайсын Кулиев, Овсей Дриз, Паруйр Севак, и другими. В их творчестве есть та прочность, гармония, внутренняя мера, которые позволяют каждому из них дать модное сейчас определение: «Человек, похожий на самого себя». Им нет необходимости заниматься самоиронией для самоутверждения.

Но в самой «переходности» сегодняшнего этапа таится, на мой взгляд, залог нового творческого взлета нашей поэзии. Я многого жду от сверстников и Ярослава Смелякова, и Александра Межирова, и Владимира Соколова, и Анатолия Передреева, и, конечно, от неведомых еще поэтов молодого поколения, которое рано или поздно скажет свое слово.

## Зиновий Паперный

### Старый парус и новая волна

Белеет парус одинокой  
В тумане моря голубом!..  
Что ищет он в стране далекой?  
Что кинул он в краю родном?..

И в самом деле — что ищет? Что кинул? Попробуйте представить лермонтовский парус просто как образ — символ борьбы за счастье. Но что тогда делать со строчками:

Увы! Он счастья не ищет,  
И не от счастья бежит!

Начните буквально истолковывать пейзаж — сразу запутаетесь. С одной стороны — «в тумане моря голубом». С другой — «ветер свищет». С третьей — «Под ним струя светлей лазури».

Пушкину мир образов открывался сквозь «магический кристалл». Лермонтов увидел его сквозь романтическую дымку, «туман».

Как указывает комментатор, первый стих — «Белеет парус одинокой» — совпадает со стихом из поэмы А. Бестужева-Марлинского «Андрей Перемышлянский». Очевидно, случайное совпадение. Но у Лермонтова

Белеет парус одинокой  
В тумане моря голубом!..—

и это уже не совпадает ни с чем. В его «тумане» и реальная, непосредственно увиденная дымчатость моря, растворенность очертаний. И застилающая взгляд дымка самой поэзии, самой романтики; та особая атмосфера, та настроенность, когда естественно звучат вопросы-восклицания о парусе как о живом существе («что ищет он...»). Без этого чудодейственного «тумана» парус сразу же стал бы только парусом, повис бы самой натуральной холстиной.

За каждой строкой о парусе мы ощущаем присутствие самого поэта — он не говорит прямо:

Увы! Я счастья не ищу,  
И не от счастья бегу! —

но как бы размышляет «парусом», в образе паруса. Он отрешается от своей собственной личности, но не до конца — точнее, перевоплощается, переключает себя в мир «тумана моря голубого», где по-особому видится все и по-своему течет время. За ту минуту — даже меньше, — что звучали двенадцать строк, ожил парус, несколько раз переменялось состояние природы. И сквозь

все эти туманы, ветры, штили прошел романтический, бескомпромиссно-мятежный парус, ищущий бури. Не многобального шторма, а бури — такой, какой ему не может дать даже море.

Все это увенчивается последним горько-ироническим возгласом самого поэта. Под конец он словно отделяется от паруса и восклицает, словно захлопывая невидимую книжку со своим стихотворением:

Как будто в бурях есть покой!

Мятежный, неутолимо и неутешно беспокойный лермонтовский парус открывал дорогу бесчисленным романтическим парусам, фрегатам, бригантинам, кораблям и кораблям нашей поэзии. Были, конечно, и в литературе других стран свои «корабли». Никаких китайских стен тут быть не могло. И все-таки вне этого лермонтовского одинокого паруса, что белеет в тумане моря голубом, нельзя представить себе пути и судьбы романтики в нашей поэзии.

Впрочем, здесь сразу надо оговориться. Слово «романтика» в последнее время употребляется так часто, бездумно и, я бы сказал, так безответственно, что порою вовсе теряет свою определенность. Устрают, скажем, молодежное кафе, назовут его «Бригантина» — и, пожалуйста, уже романтики. Переночуют под открытым небом — беспокойные сердца. Стоит только юноше купить рюкзак и кеды, взять билет в пригородной кассе — и он уже чуть ли не автоматически зачисляется в пресловутое племя романтиков. А если он еще станет в тамбуре, закурит на ветру и начнет вполголоса напевать (а его приятель аккомпанировать на гитаре), тут уж ясно: мечтатели, романтики, Дон-Кихоты!

Недавно мне попала книжка — «Р. А. Фридман. Парфюмерия и косметика» (М., «Пищевая промышленность», 1968). Одна глава называется «Будни романтиков». И подзаголовок — «Производство парфюмерии».

Но что же такое все-таки романтика? Не станем давать точных определений —

для этого существуют учебники и пособия в помощь изучающим. Скажем только: начиная с лермонтовского паруса, романтические образы исполнены стремления к «стра-не далекой». Не в том смысле, конечно, что обязательно заморской. Далекое — не в географическом смысле и даже не в пространственном. Романтику мало того, что есть, что непосредственно его окружает. Его томит мысль о том, каким должен быть мир, каким он хочет видеть мир. Романтика — жизнь, неразрывно связавшаяся с мечтой. Это все не означает восторженности. «Парус» исполнен не только мятежного духа, но и мудрой — не по годам для поэта-юноши — иронии. Глубокого, тайного ощущения, что не легко, может быть даже невозможно, эту мечту «утолить».

Семен Кирсанов писал:

Не хочу я синицу в руки,  
А хочу журавля в небе!

Можно было бы сказать: вот поэтическая формула романтики. Но это не совсем точно. Светлов, например, это скорее не «синицу в руки» и не «журавля в небе», а — «журавля в руки». Он стремится связать небо и землю, зовет «несуществующее трогать». Романтика не только ловит своими поэтическими антеннами «голоса миров иных» — она невозможна без заземления.

Романтика — не только поэзия исключительного, мятежного, поэзия подвигов, опасностей. Она сама — опасность для поэта: «взмывая», он рискует оторваться от земли и повиснуть в воздухе. Большие наши поэты — Блок, Маяковский, Пастернак — это не только и даже не столько романтика, но и — у каждого по-своему — преодоление ее, борьба с ней.

Впрочем, едва ли в борьбе против романтики может быть одержана окончательная победа. В наши дни нередко приходится слышать: хватит с нас романтики, это всего лишь наивная восторженность, эмоциональный самообман, что-то вроде лирической детской болезни. Звучат призывы взглянуть на жизнь в упор, увидеть ее такой, как она есть, без прикрас, без словесного оперенья. Скомпрометированная риторикой романтика становится чуть ли не синонимом лакировки действительности. Под пером антиромантиков стих начинается звучать подчеркнуто-буднично, вызывающе-полемически. Довольно, мол, потешились. Иногда даже кажется — такой стих сам стесняется, что он стих.

Все это можно понять. Но... «Белеет парус одинокой в тумане моря голубом» — и ничего ты с ним не поделаешь, никуда от него не денешься.

Когда умер автор «Гренады», казалось, ушел последний из романтических могикан. Но я помню, как Михаил Аркадьевич, уже безнадежно больной, прочитал стихотворение Новеллы Матвеевой «Гимн перцу», улыбнулся и сказал: «Прелесть».

Лермонтов написал «Парус» у моря. Его поэзию вообще без моря, волн, скал, бурь представить невозможно. У Михаила Светлова почти нет моря, он поэт сухопутный. Его манера насквозь иронична — как тут описывать даль моря, волны, паруса (хотя самого себя, свою поэзию Светлов не раз сравнивал с парусником — то он трещит под напором ветра, то замирает в полнейшем штиле).

В стихах Новеллы Матвеевой снова заиграло море, поплыл «туман», ожил кораблик — он весело мчит, шумя парусами, плывет мимо сказочных стран, диковинных чудес, таинственных сокровищ. И все это начисто освобождено от экзотической пышности, нарядной декоративности.

Какая-то сила — наверно, это и есть напор самой романтики — уводит поэтессу от домашних стен, притягивает воображение к «летним морям», к земле Дельфинии, городу Кенгуру, к маякам, облакам, парусам.

Но никогда она не уходит совсем в царство сказки — каждый раз сказочное неожиданно оборачивается чем-то родным, реальным, чем-то земным и здешним.

И кораблик Новеллы Матвеевой, давший название книжке, — не традиционно-волшебный Летучий голландец, не таинственный лермонтовский корабль, несущийся «по синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах»; и не мираж морской пустынной глади моря. Это живое, безбоязненно-радостное суденышко — не мистически ночное, а сугубо дневное. Кораблик сам себя построил, «сам смолою себя пропитал, сам оделся и в дуб и в металл». И плывет он легко, свободно — даже не плывет, а как сокол над волнами парит. Он ничего не боится, корчит рожи последним царям, все видит, все замечает. А со встречными судами — «судачит». Одно только это слово — как оно сильно отдаляет матвеевский кораблик от акмеистских кораблей, от стихов вроде:

Там волны с блесками и всплесками  
Непрекращаемого танца,  
И там летит скачками резкими  
Корабль Летучего голландца.

Стихи о Летучем голландце — это романтика, так сказать, первого порядка, непреодоленная. А Новелла Матвеева чувствует и манящую привлекательность, и грозную опасность романтической стихии. Своего Пегаса она вовремя «косаживает».

Новелла Матвеева — пользуясь модным выражением — поэт новой волны. Многие свои стихи она пишет как песни, текст рождается вместе с мелодией. Иногда об этой новой, песенной волне, начавшейся с Булата Окуджавы, говорят отдельно от современной нашей поэзии в целом. Получается, что есть Большая земля поэзии и какой-то маленький островок Гитарный, где любители песен, энтузиасты магнитофонных лент, замирая и обмирая, слушают голоса своих любимцев. В таком представлении есть что-то теноровое и нездоровое. Для меня Булат Окуджава и Новелла Матвеева — прежде всего поэты, лирики, стоящие в литературном ряду. А то, что они неразлучны с песней, — это надо понять, и понять, не отрывая песню от литературы.

Александр Блок признавался, что, когда он начинает писать стихи, он сначала слышит скрытую мелодию, которая потом постепенно облекается словами.

Могут возразить: но он сам не пел. Да, не пел, а вот Михаил Аркадьевич, например, всю жизнь напевал свои стихи-песни на собственный мотив, хотя и не выступал как исполнитель. Так он сочинил мелодию «Песни слепцов» («Ох, поет соловей на кладбище...»).

Однажды — это было уже незадолго до его последней болезни — я приехал к нему, и он прочитал, вернее, полуспел два новых стихотворения: «Песенку старого таксиста» и «Грустную песенку». Особенно мне запомнилось, как он исполнял вторую. Несколько раз оговорился, что он будет «не петь, а так», что это мотив ненастоящий, условный, и потом вполголоса, слегка поддирижерывая себе правой рукой, запел:

Ходят грустной парой  
Комсомольцы старые.  
Как горел их жадный взгляд  
Ровно сорок лет назад!

А земля березовая,  
А земля сосновая,  
А земля вишневая,  
А земля рябиновая,  
А земля цветет!..

Если бы я тогда записал светловское полупение, которое, поверьте, сильней, простодушней, выразительней любого профес-

сионального исполнения, — кто знает, может быть, эта песенка разлетелась бы на крыльях магнитофонных лент и стала широко популярной.

Все это я говорю к тому, что, если Булат Окуджава и Новелла Матвеева, Александр Галич, Владимир Высоцкий поют свои песни, от этого они не становятся менее поэтами. В песенности Окуджавы проявляются некие общие черты поэзии, неразлучной с мелодией, с песней. И особенно это относится к поэзии романтической.

Когда Павел Коган сидел с молодым, тогда еще непрофессиональным композитором Жорой Лепским и сочинял «Бригантину» — они в чем-то предворяли сегодняшних песенников-романтиков.

Поэт и гитара. Не сегодня родилась эта дружба. Есть тут многолетняя, вековая традиция. И отделять, скажем, русский романс от «большой поэзии» можно, только забыв об этой традиции.

А вот почему именно в наши дни гитара, давняя подруга поэтов пушкинской поры, любимица многих лириков от Блока до Уткина, почему она теперь как будто заново, чуть ли не впервые родилась, — это еще требует осмысления и нуждается в особом разговоре. Скажем только: явление это родственно тому, например, факту, что многие сейчас предпочитают «камерный» телевизор большому кинотеатру.

Возвратимся к Булату Окуджаве. Может возникнуть вопрос: романтик ли он? Стоит ли на том пути нашей поэзии, на котором возникли «Бригантина» и «Кораблик»? Относительно Новеллы Матвеевой сомнений нет, все понятно: Дельфиния, Кенгуру, паруса, явно выраженная романтика. Но он? Поэт арбатских переулков, мальчишеских дворов, воспевший своего сверстника Ленку Королева. Автор не «Кораблика», а «Троллейбуса». Однако приглядитесь и прислушайтесь внимательней к его «полночному троллейбусу». Он синий не только потому, что его так покрасили, — он окрашен синевой ночи. И не катится он по засыпающей Москве, а «плывет»; подбирает людей, «потерпевших в ночи крушенья, крушенья», и этим дважды повторенным словом песенка о московском троллейбусе вдруг напоминает о море. Пассажиры этого странного троллейбуса, в котором начинают неожиданно сквозить черты и приметы корабля, не совсем пассажиры. Поэт говорит о них:

Твои пассажиры, матросы твои  
Приходят на помощь.

У Новеллы Матвеевой в стихотворении «Окраина» шагают новостройки, дома без крыш — они

Плыли, —  
Как будто были  
Не дома, а корабли.

Кадка с мешалкой, увиденная «между цементных волн», похожа на челн с вес-

лом, отнесенный от «кораблей кирпичных».

Здесь Новелла Матвеева ближе всего к Булату Окуджаве, поэту города, рыцарю арбатских дворов — дворов в мальчишески-королевском смысле; образ ночной Москвы слит у него с образом моря, по которому как будто на невидимых парусах романтики плывет последний троллейбус.

## Владимир Огнев

### «Отыми соловья от зарослей...»

Была ранняя весна. Снег местами стаял, и беспомощные березки стояли в сверкающей воде. Но шоссе было сухим и горячим даже на вид. Я шел против солнца и не сразу различил на повороте, у небольшого домика, две фигуры — большую и крошечную. Я видел эти фигуры, как говорят фотографии, в контражуре — как тени. Большая стройная тень женщины плавно взмахивала тонкими руками — казалось, это птица, собирающаяся взлететь... Потом маленькая тень очень точно повторила эти движения. Женщина звонко засмеялась и снова взмахнула руками-крыльями. Фигурка девочки, поднявшейся на цыпочки, старательно копировала движения матери...

И тогда журчанье воды в овраге, мерцающей под истончившейся ледяной коркой, нежно-зеленоватый отсвет осин у опушки темного ельника, солнечные блики на талой поляне, звонкий смех молодой матери — она чувствовала себя птицей, что впервые учит птенца летать, — все это внезапно слилось для меня в образ весны...

Волнующий, трогательный смысл этого факта, его поэзия — в удивительной слитности ощущения природы и человека, в гармонии непреднамеренности такого взаимодействия.

Валентина! Звезда! Мечтанье!  
Как поют твои соловьи!

Эти блоковские стихи — восторг задыхающегося признанья — невозможно разъять по частям речи. Части речи будут частями чувства, обломками их.

А это, асеевское?

Не за силу, не за качество  
Золотых твоих волос  
Сердце враз однажды начисто  
От других оторвалось!

Волна чувств несет образ как бы ускоренно, так, что сливается воедино недоговоренное («за силу» — чего? — духа, души, страсти, не «волос» же, в самом деле, как можно прочитать чисто стилистически!). Да и стоит остановиться (остыть), как сразу придет трезвый вопрос: о каком таком «качестве» волос идет речь? Что это — смычок, матрас? Откуда это парикмахерское определение? И сразу — потух свет поэзии, волшебства. И «золотые волосы» пожухли, стали просто рыжими.

Значит, в поэзии нельзя «остановиться», остыть, перейти на язык логики здравого смысла, разорвать нить ассоциаций. Стихи основаны на другом темпе — их схватывает чувство на лету, в ритме ускоренного «сопряжения далековатых понятий» (Пушкин). Образы поэзии воспринимаются и в особом «климате» чувств — нужна повышенная эмоциональная настроенность на волну поэта. Необходимо также уметь по части воссоздавать целое, по намеку — картину, читать мысль стиха по опорным словам-образам, не держась за перильца слов-мостков, слов-мотивировок.

Ну, а в нашем примере?

Во-первых, избирательность зрения рассказчика. Я опустил в рассказе не одну подробность, которую фиксировала моя память: то, что за лесом работал трелевочный трактор, что на березе сидела ворона, что с поля тянуло запахом навоза, что на шоссе меня обогнал рейсовый автобус, что снег по обочинам был ржавого цвета и весь изъеден таянием... Причем сделаны эти упущения были полусознательно. Они были не нужны в той системе чувств, в том настроении весны, которые жили во мне и которые по собственной логике формировали образ весны в моем сознании. Осталось, как осадок чувства, только: образ женщины-птицы с птен-

цом, солнце, смех, березки в слепяще-сверкающей воде, да журчанье мерцающей струи, завораживающее, как некий общий тон, а вернее — фон.

Слитность, органическая нерасторжимость впечатлений, организованных одним из них, таким же реально существующим, как и прочие, но осветившим их внезапно особым смыслом, — вот, в нашем примере, что такое поэзия факта. И лаконизм в выборе деталей. И определенный ритм, в данном случае заданный звенящим ферматто воды, плавными движениями женщины-птицы, нежным повторением салатных тонких осинков на темно-зеленой стене леса.

Я не собираюсь давать исчерпывающих формулировок поэзии, — их давали до меня так часто и с тех пор, как стоит мир. Вряд ли, однако, это внесло ясность.

Но может быть, потому, что на одну из сторон поэзии сегодня меньше всего обращают внимания, а быть может, просто потому, что автору этих строк особенно дорога эта сторона, я подчеркиваю с особым пристрастием такое свойство поэзии, как органичность.

В этом определении для меня важны два качества. В произведении истинно поэтическом нельзя ничего убавить и прибавить. Мысль в нем развивается из единого зерна неумолимо и в единственном направлении — логики естественности.

Русский поэт сказал:

Отыми соловья от зарослей,  
От родного ручья с родником,  
И искусство покажется замыслом,  
Неоконченным черновиком.  
Пусть песня тогда соловьиная,  
Будто долька луны половинная,  
Будто колос, налитый не всклень,  
А всего и немного потеряно:  
Родничок, да ольховое дерево,  
Дикий хмель, да прохлада и тень!

(Виктор Боков, «Яр-хмель»)

Органичность поэзии проявляется также в том, что она — дитя самой жизни и не терпит никакого насилия, никаких априорных и предвзятых заданий.

«Поэзия в траве»... Это лапидарное определение Пастернака, которым, к вящему удивлению слушателей, он исчерпал свое выступление на Парижском конгрессе культуры, есть указание на природный характер искусства прежде всего. Поэзия — в траве, в природе, в нас самих, в жизни.

Вот почему факт, случай, кусок грубой жизни — не повод для того, чтобы поэт тво-

рил из него «красивую легенду», а основание самой поэзии.

Может быть, наибольшее количество заблуждений, связанных с пониманием поэзии, вызвано именно этим представлением о поэзии как некоем возвышенном парении, экстатическом состоянии с полузакрытыми веками.

На первый взгляд и примеры мои не лишены этакого священного бормотания. Ведь я тоже говорил о некоей волне чувств, о полете стиха, о намеках, по которым надо уметь читать мысль. Нет, имелись в виду не первичные качества поэзии, а язык ее образов. А он может и не быть исключительным. Известно, что в повествовательных стихах, например, поэтическая речь более приближена к «нормальной», прозаической. Сам язык поэзии различен, он то удаляется от жизнеподобия, точности семантического знака, то приближается к ним.

Экстатичен, необычаен, так сказать, способ передачи, способ «заразительности» (Л. Толстой) искусства, сущность же его предметна, жизненна, реальна. В основе поэзии лежит факт.

Разница чрезвычайно существенна. Маяковский говорил, что в стихах Есенина иногда звучит струна, разбуженная задолго до него. Чуткое ухо поэта реальности умело различать в поэзии открытия в мире чувств от вторичного, грубо говоря, автоматического, рефлекторного волнения, которое вызывается у нас напоминанием о чувстве, когда-то испытанном, без самого этого чувства, так сказать, без предмета чувств.

Ни о чем так много не говорят в наше время, как о связи поэзии с жизнью. Но требование это зачастую неоднозначно. Можно разного хотеть от поэзии, заклиная себя словами о связи с жизнью. Странно, но факт: сторонники выпренности, преувеличенного пафоса, принудительной аффектации, который кажется сухим, непоэтичным строгий, деловой, сдержанный стиль объективного взгляда на жизнь, обычно опираются на доводы в пользу обобщения. Поэзия — это возвышенный мир, ее правда — правда общего, а не частного, говорят они. Разумеется, это верно. Кто же станет утверждать, например, что сила пушкинского шедевра «Я вас любил...» только в том, что поэт точно запечатлел конкретный случай своей биографии.

Но ведь и то, что такой факт имел место, как говорится, тоже что-то значит, не правда ли?

Сила крыльев поэзии — реальная сила. Но птица подымается с земли. И садится на

землю. Прогресс поэзии заключается в том, что область ее попеременно расширяется, включая в себя предметы, еще вчера непоэтические, и сужается, некоторое время осваивая новые плацдармы, так сказать, возвышая прозаические элементы до себя и на какое-то время закрыв доступ новым. В «Дневнике» Стендаля (26 апреля 1804 г.) читаем: «Стихи, изображающие неистовство Эдипа, в конце монолога пятого акта, по-моему, не производят должного впечатления. Когда человек доходит до такого состояния, нужны действия». Уже был Байрон. Но во французской поэзии еще царило риторическое направление, Стендаль понимал, что правда чувств без правды жеста, действия, поступка уже не есть правда для современного ему искусства. Юлиуш Словацкий — польский романтик XIX века — замечает, что Красицкий «ныне звучит все банальней» — «я к деловому тону перейду». Основой стиля новой поэзии становился «деловой тон», то есть точность в описании. А вспомним нашего Пушкина, впусившего в поэзию реальность языка. «Рано поутру» кажется ему художественнее, чем «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба...».

Свою реальность в поэзии имел XIX век. Имел ее и век XX. Более того, ускоренное развитие культуры за какие-то полвека дало и гиганта Маяковского, резко сблизившего поэзию с действительностью, вслед за крутым революционным сдвигом самой действительности, и уже начинается новый этап освоения жизни под влиянием научно-технической революции, феноменальных открытий возможностей разума и в то же время крушения утешающих мифов о его всеисилии.

Может быть, самым характерным признаком современной поэзии является ее аналитический характер, снижение вторичных признаков эмоциональности, недоверие к пафосу. Рильке говорил, что поэзия рождается из опыта, а не из чувств. Польский поэт Мечислав Яструн считает «знаменательным для развития современной поэзии» путь Рильке от юношеской горячности чувств до «объективности произведения. Они говорят, скорее, о прогрессирующем обострении чувств».

Наивные дискуссии об интеллектуальной поэзии, занимавшие в последние годы страницы нашей литературной прессы, имеют далеко не наивное обоснование. Новое стучится в двери. Серьезное внимание думающего читателя к поэзии Л. Мартынова, на-

пример, в первую очередь объясняют такие качества его поэзии, как историзм, уважение к человеческому разуму, знаниям, элементы научного предвидения, сам аналитический ход стихотворной мысли. Пророчества Мартынова, имея романтические корни, осерьезнены «научностью» аналогий, пафос завуалирован легкой, как бы застенчивой иронией, лексической игрой смыслов. «Вода благоволила литься...» — тут и снисходительная интонация царствующей дистиллированной воды, не только плавность аллитерирующего «л», волнообразное и плавное струение. Но волнение поэта ушло вглубь. В знаменитом стихотворении «Эхо» герой говорит «с одною тобою», а слова его «почему?» рождают эхо в мире. Поэт знает почему: мир стал меньше. Сблизились расстояния. Чуткость к шепоту родила тревога. Герой Мартынова, как Гамлет Смоктуновского, лишь постукивает пальцами по барабану заезжих скоморохов — а в душе буря ломает с корнями дубы... Своеобразный парадокс: не слышим мы именно громкие слова. Учит опыт жизни. Польский поэт Артур Мендзержецкий так формулирует принцип новой поэзии: синтез воображения, знания, памяти. «Поэтическое участие в истории не противопоставляется экспериментирующему воображению».

Таков синтез в поэзии Андрея Вознесенского. Особые обстоятельства возрождения творческих поисков в советской поэзии середины 50-х годов породили новый тип поэта, сочетающего стремление к широкой публичности с глубокими художественными задачами. Сложность формы метафорически-ассоциативного языка Вознесенского одним кажется рассудочной игрой ума, другим — оторванным от жизни экспериментаторством чистого чувства, интуитивным разгулом случайности. И то и другое восприятие ошибочно. Оно исходит из наивного приложениия вчерашних законов эстетики, как якобы вечных, к принципиально новым явлениям искусства.

Сегодня нет коллизии: чувство или разум. Сегодня есть конфликт сохранения чувства, оберегания его перед лицом бездушия. Чувство стало еще дороже. Вот почему оно целомудренно скрывает себя, вот почему речь идет, «скорее, о прогрессирующем обострении чувств». Иногда трудно почувствовать огонь под пеплом, но из этого не следует, что пепел можно взять в руки...

Нет сегодня и другого выдуманного конфликта — между фактом, реальной фактурой жизни, документальностью как художе-

ственным принципом и духовным смыслом, глубиной обобщения искусства. Нет «большой» и «малой» правд. Искусство, как и жизнь, знает лишь одну правду — остальное ложь. «Да, литература подтверждает и утверждает действительность...— говорит А. Твардовский.— Но литература, как и другое искусство, способна подтверждать только то, что не является навязанным жизни извне, а что составляет ее существо и правду,

органическое и закономерное следствие ее поступательного движения».

Мне представляется чрезвычайно существенной эта связь органичности искусства с органичностью самой жизни как процесса.

Как мы видим, не только соловья нельзя отнять от зарослей. Поэзию — не отнять от жизни. Жизнь — от правды. А поэзию и правду — от времени, в котором мы живем.

## Алла Киреева

### «Счастливы нас бедней...»

Совсем недавно прошумела бурная дискуссия в «Литературной газете». Она началась, кажется, статьей «Берегите мужчин!». Разные были в ней соображения; основная же мысль в общих чертах сводилась к следующему: мужчина слабее женщины и физически, и морально. Равноправие сравнило представителей обоих полов, сделав слабый пол более выносливым, мужественным; сильный же — инфантильным, безвольным...

Не знаю, как насчет дискуссии, но кажется мне, что проблема эта крылом своим задела и поэзию.

Блок писал Ахматовой: «...Я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный», «самый кроткий» (в «Четках»), постоянные совсем (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу)».

Женщины в поэзии... Дай бог, чтобы побольше было таких поэтов, как Цветаева, Ахматова, таких, как Берггольц и Ахмадулина. Но вот когда в стихах мужчин проявляется это «общеженское», когда возникает целое направление — назовем его условно «дамской поэзией», — об этом стоит серьезно задуматься. Среди подделок под поэзию оно заняло особое место.

Дамская поэзия склонна «приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором...». У нее есть свои отличительные характерные качества — отсутствие личности, отсутствие своей позиции, своего взгляда на мир, дешевая изысканность, инфантильность.

Вспоминаются строки Боратынского:

Счастливы нас бедней, и праведные боги  
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

А «счастливы» совсем неплохо себя чувствуют. В их дамских стихах не только чув-

ственность подменила собой чувство, но и рассудочность заменила разум, простота — великую простоту. Мироощущение «мужчин-поэтесс» сужено до предела. Для них все ясно и просто. Никаких загадок, никаких сомнений, все — аксиома.

И получается лирика стерильная, заранее запрограммированная. Все мирозданье, все тайны: бытия умещаются в круге привычных тем. Характеры лирических героев кажутся настолько пресными, настолько лишенными индивидуальности, а мысли и чувства — такими портативными, что каждый следующий сборник берешь в руки с опаской: а вдруг это — опять продолжение бесконечного предыдущего сборника?

Проблема добра издавна была одной из первых проблем литературы. Читаем:

Светом радости,  
светом боли  
брежит новых трудов пора.  
В чистом поле, на вольной воле  
прорастает зерно добра.

Абстрактное зерно добра, состоящее из замшелых штампов («свет радости», «новых трудов пора», «чистое поле», «вольная воля» и т. д.) дает обильные всходы в книге «Прогулки под дождем» Владимира Приходько: здесь мир — «голубой и добрый» (а сказать о мире так — значит ничего не сказать); «розовеющие у окна герани», здесь — «даже мостик дощатый взволнован!..»

Кстати, о зернах. Вот короткое — всего одна строфа — стихотворение из «Прогулок под дождем»:

Разве мог,  
сажая в почву  
малое одно зерно,  
угадать, что нынче ночью  
прорастет,  
взойдет оно?





Вроде бы о грустном факте своей биографии поведал нам автор. Но кажется, что даже на эпидемиологической станции не придадут ему значения.

То же явление встречаем и в сборнике другого автора:

Как солнце ярко светится над Яятой!  
Сверкает пены белая кайма.  
И белые кокетливые платья  
Надели все прибрежные дома.

Это — строфа из стихотворения Игоря Кобзева «Чехов в Ялте». Тут и кайма, и кокетливые белые платья, но вот беда — не рифмуется Ялта с платьями, а последние две строки построены по типу: «мать любит дочь». Но, главное, все это в стихотворении об одном из самых великих и самых скромных писателей. Подобная вычурность рядом с именем Чехова — пример еще одной литературной несовместимости.

В лености мысли, в отсутствии поиска проявляется анемия, духовное истощение. Чувство, темперамент в подобных стихах подменены рифмованными, а иногда и нерифмованными информациями.

Именно отсюда идут штампы — бумажные цветы поэзии:

Раскосая и тонкая  
Красавица смугляночка —  
Степная песня,  
Звонкая,  
Как русская тальяночка.

Лохматая кубаночка,  
Пушистый свитерок,  
Играет с иностраночкой  
Московский ветерок...

Отдельные штампы сложились здесь в один крупноблочный... правда, взятый из разных стихотворений. И даже! — из разных авторов. Первый блок принадлежит Б. Орлову, второй — И. Кобзеву. Вспоминаются слова Светлова, обращенные к начинающему поэту. Привожу их по памяти, но за точность изложения мысли ручаюсь: «Вы мне кажется лимонадом, который притворился шампанским и хочет, чтобы я от него замелел».

Нельзя пройти равнодушно и мимо таких строк: «А за окнами лист не дрогнет, только блещут края вершин: будто кто золоченой дробью шелк берез и осин прошил» (И. Кобзев).

В подобных стихах (как в той, из детства,

маленькой корзине, где «что угодно для души») есть все: и грим, и ювелирные изделия, и даже... парикмахерская и кухня... «И березы телячьи ноги топчут скошенную траву» (И. Кобзев). А вот — взгляд дамского мастера на лес: «В тугих березы обручах стоят стволы, в ночи белесы, и нежно держат на плечах листвы распущенные косы» (Б. Орлов).

Еще Писарев говорил: «Лириками имеют право быть только первоклассные гении, потому что только колоссальная личность может приносить обществу пользу, обращая его внимание на свою собственную частную и психическую жизнь».

Ну пусть поэт будет не первоклассным гением, пусть не колоссальной личностью, но пусть он будет одаренным человеком, интересным собеседником.

Частная и психическая жизнь лирических героев приведенных стихов небогата. Проблем мало, и все они решаются при помощи одного и того же приема: я и Россия, я и космос, я и жэк. Правда, бывают более «оригинальные» темы, скажем, я и... Байрон. О лорде Байроне узнаем следующее: «всем поэтам близок Байрон. И мне он тоже — кровный брат». Так заявляет И. Кобзев. Мы с Байроном хороши, но другие — бр-р-р! «И как от этого кумира непостижимо далеки все наши модные проныры, что пишут модные стишки! Я очень горько сожалею, что, честь поэзии губя, приспособленцы и лакеи зовут «поэтами» себя. О эти розовые рожи! Как робок их избитый стих! Как с Байроном они не схожи! Как романтизма мало в них!»

Итак, дано: Байрон — кровный брат Кобзева (по поэзии), а остальные — «розовые рожи», «приспособленцы и лакеи».

«Счастливицы» рассматривают лирику как повод поговорить о себе. Но у них почти не бывает раздумий, мучений, достойных внимания переживаний, и, как правило, разговор получается неинтересным. В другом стихотворении Кобзева рассказывается о том, как в центральной прессе «сделали разгон» стихам поэта. Ему звонили «летчики, шоферы, множество приятелей...». Возмущалась незнакомая студентка: «Неужели им не стыдно было? А ведь вы так любите людей! Кажется, взяла бы и убила этих подлых авторов статей! А потом прислали лист бумаги (?) с пожеланьем: «Не впадайте в грусть! Ваши звонкие стихи о шпаге в нашей школе знают наизусть!» И меня особо поразили (и нас! — А. К.) их слова (легко ли повторить?): мол, кто любит родину, Россию, тот и вас не может не любить!..»

Во-первых, это просто безграмотно, во-вторых, удивительно нескромно (типичные стихи «счастливца»).

Затянутые стихи, частично приведенные мною, вызывают в памяти еще одно светловское определение: «Бывает стихотворение, похожее на старинный пятак — большое, а ничего на него не купишь».

Из этого стихотворения мы узнали о частном случае из жизни автора, об его отношении к критике и к собственной поэзии. Мы узнали, что у автора нет ни раздумий, ни сомнений, ни колебаний. А что, если на минутку задуматься — вдруг «разгон» сделали действительно плохим стихам? (Ведь говорят, даже у Блока и у Некрасова получались порой не очень сильные строки.)

Умиление собственной персоной, выпячиваемое на первый план, очень характерно для поэтов-«счастливцев»:

Много я растерял,  
вышел поздно.  
Но хорош материал  
сердца,  
мозга! —

пишет В. Приходько в стихотворении «Я иду под дождем». А мне вспоминаются детские стихи — насколько в них проще и ясней сказано то же самое: «До чего ж я стал хороший, сам себя не узнавал!»

Любовь к себе, трогательное к себе отношение толкает автора к нескромности. Читаешь такие, к примеру, строки, и становится как-то неловко:

Новой жажды, новых мыслей полон,  
непродуман и неутомим,

весь я —  
словно неоткрытый полюс,  
незаговоривший кинофильм! —

заявляет тот же Приходько.

Понятно, когда более полувека назад было заявлено:

Я, гений Игорь Северянин,  
Своей победой упоен:  
Я повсеградно оэкранен!  
Я повсесердно утвержден!

Честно, просто и мило. Когда же нам застенчиво намекают: «Мол, кто любит родину, Россию, тот и вас не может не любить» (И. Кобзев) или: «хорош материал сердца, мозга» (какое-то патологоанатомическое выражение!) — это уже не по-мужски, это — чисто дамское кокетство.

...Меня иногда пугает: а вдруг начинающий читатель стихов в первый раз в жизни возьмет в руки подобный сборник стихов — сборник, в котором будет все, кроме истинной поэзии? А вдруг ему и во второй раз попадется что-либо похожее? Ведь это означает, что он либо на всю жизнь останется с искалеченным вкусом, либо третьего сборника не спросит. Потому и надо бороться против всего, что мешает жить поэзии, — против непоэзии. Таких сборников, как «Прогулки под дождем», «Золотая Москва» и «Радонежье», немало. Можно было выбрать другие (материала достаточно!), но суть не в этом, а в том, чтобы заметить каждое проявление непоэзии, предостеречь начинающего читателя стихов, подготовить его к встрече с большой поэзией, многообразной и прекрасной, никакой инфляции в действительности не переживающей.

**ДЕНЬ ПОЭЗИИ**

**1969**

**3**

# **К 170-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина**

## **Стихи о Пушкине**

Стихи о стихах, поэмы о поэтах, нередко — и большей частью справедливо — воспринимаются подозрительно: не литературщина ли это? Но стихи о Пушкине — другое дело. Как просто, даже нескладно, но совершенно верно сказал Достоевский: «У нас всё ведь от Пушкина...» Да, Пушкин — это не только поэзия, это сама жизнь в ее высшем проявлении, это — по слову Горького: «Самое полное отражение духовных сил России».

Почти все русские поэты писали стихи о Пушкине. Здесь мы публикуем два забытых стихотворения, которые стоят того, чтобы извлечь их из Леты. Первое написал известный литературовед и писатель Леонид Гроссман (1888—1966), выпустивший в молодости сборник сонетов «Плеяда» (Одесса, 1919), второе — поэт, стиховед, исследователь Пушкина Георгий Шенгели (1894—1956).



# Петр Палиевский

## Пушкин как человеческая задача русской литературы

Известна гоголевская мысль: «Пушкин... это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Это сказано было в 1834 году, и, значит, если подходить буквально, осталось примерно две трети века до исполнения этого пророчества. Никто, понятно, не обязан ему верить. Но все же многое говорит за то, что Гоголь и подхвативший его идею Достоевский были правы, поставив Пушкина перед русским человеком как задачу: не позади, каким он естественно оставался в истории, а впереди. Не в точных сроках было дело, а в том, что задача эта стала находить себе исторические решения и подтверждения. Речь пошла о духовном облике, складе человека («явление чрезвычайное, может быть, единственное явление русского духа»). Тут действительно оказалось так, что по стечению разных обстоятельств Пушкин явился своего рода предвосхищающей мерой — направлением, которым пошла «народная тропа».

Иначе говоря, он стал началом, связью, в которой было заложено все будущее. И эта историческая тайна его, которую — о чем совершенно справедливо и реально говорили Гоголь с Достоевским — мы разгадываем, как раз и состоит в том, что содержание его не удастся точно оценить и определить, пока это будущее не настает. То есть получается так, что русская литература разрастается не только от Пушкина, но и к Пушкину, тянется своими ветвями к этому идеалу, которого не может пока исчерпать, и только удаляется, удивляясь всякий раз полноте, предположенной позади, которую нужно еще исполнить. Пушкин в русской литературе своего рода «потерянный рай». Усилия писателей сосредоточены на том, чтобы его возвратить; взять же и возвратиться просто — нельзя.

Что сделало Пушкина такой связью? Ответить на этот вопрос сразу невозможно. Ответы дает один за другим история нашей литературы. Они заключаются в том, что проблемы развития, которые наша литература, сталкиваясь с жизнью, постоянно находит и решает с немалым трудом, оказываются, были уже «решенными» у Пушкина. Тем самым разгадывается всякий раз часть его обаяния. И бунт того или иного писателя или

направления, который был против него поднят, кончается возвращением блудного сына и заслуженным ликованием.

Так, толстовское отталкивание от пушкинских повестей, которые были, по словам Толстого, «голы как-то», то есть не имели достаточной плоти, казались пунктирными, логичными, окончилось у Толстого «возвращением» к поздней манере его письма, и на этом фоне открылось, что пушкинские сухие слова были живописны и полнокровны, только так, что ни живописность, ни полнокровность нигде сами по себе отдельно не проявлялись, а прятались в составе целого.

Точно так же убыстрение к трагическому обрыву, которое провел с русским человеком, предостерегая его, Достоевский, такое «антипушкинское» как будто, разрывающее гармонию, вся эта раскольниковская идея «преступить», оказывается, задним числом была уже поставлена пушкинским Германом, незаметно, не отдельно в составе изящной невозмутимости стиля «преступившего» через Лизу в свою «старуху»...

Именно эта связанная в целом и только потом раскрываемая тайна отличает Пушкина. Это совсем не то преемственное сходство, которое помогает обнаружить предшественника — вроде того, как в стихе Боратынского мы сумеем различить при желании уже и Лермонтова, например:

Люблю я красавицу  
С очами лазурными.  
О! В них не обманчиво  
Душа ее светится!  
И если прекрасная  
С любовью томною  
На милом покоит их,  
Он мирно блаженствует,  
Вовек не смутит его  
Сомненья мятежное.

Или Фета:

Где сладкий шепот  
Моих лесов?  
Потоков ропот,  
Цветы лугов?..  
Под ледяной  
Своей корою  
Ручей немеет,  
Всё цепенеет,  
Лишь ветер злой...

## Или Тютчева:

Толпе тревожный день приветен, но страшна  
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она  
Раскованной мечты видений своевольных.  
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,  
Видений дня боимся мы,  
Людских сует, забот юдольных.

Совсем не такими подобиями открывает свою связь с русской литературой Пушкин, хотя у него они тоже сколько угодно могут быть найдены. Его идея — первоначальное совершенство, соразмерное и простое, нигде не торчащее вбок ни одной мыслью, которые только потом разорвутся, пойдут сталкиваться, враждовать или заключать союзы, разрушаться в одинаковость, обнаруживать близость и т. п.

Даже последующие переходы от одного писателя к другому, необходимые с точки зрения развития, были предусмотрены и уже исполнены Пушкиным. Несомненное «дополнение» Достоевским, например, Толстого, совершившееся в том, что Достоевский зачерпнул изнутри, стал понимать людей зла, «отпавших» и направленных против жизни, о которых Толстой говорил всегда только извне и, очевидно, просто был не в состоянии изнутри себе их представить, — то дополнение, которым современная литература была даже сначала польщена, вообразив, что Достоевский забрался в душу растлителю для того, чтобы признать его «права», — и оно ведь было решено пушкинским Сальери, и короткими фразами ростовщика из «Скупого рыцаря», и Гришкой Отрепьевым, отделившим себя от Пимена всего одним словом (того же склада, что и у современных небрежно-суровых и скупых): «старик» — «Старик всё пишет» — про себя, а ему: «Честной отец!»...

То же и центральный пушкинский герой: сколько понадобилось времени, чтобы значение его стало расти. Ведь в первый момент среди современников, принимавших пушкинскую прозу за что-то подобное забавному экспериментированию, его ценность прошла совершенно незамеченной, нерастолкованной, так сказать, даже осмеянной за убогость, несмотря на призывы наиболее проницательных людей понять (Гоголь: «Сравнительно с «Капитанскою дочкою» все наши романы и повести кажутся приторною размазною... В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие

простых людей»). Лишь последующее движение показало, какой трудностью стал этот непритязательный, ненамеренный пушкинский герой, — проблемой, которую литература никак не могла точно решить, постоянно проскакивая «насквозь»: то в елейность (Каратаев), то в упрощение («Хозяин и работник»), то в поучительный символ (Марей у Достоевского, бунинская «Старуха») и т. п., хотя и победы были замечательны (Максим Максимыч, Тушин). И тут литература пошла вперед, разгадывая, может быть и не желая того, Пушкина.

Не подлежит сомнению, что в советское время есть в новых условиях та же традиция. Ни один почти писатель не проходит мимо Пушкина как идеала, понимаемого, разумеется, по-своему. Особенно показательны поэты, приглашающие Пушкина «в наши дни», совершенно искренне жалеющие, что его нет рядом, так как они убеждены, что встретили бы в нем единомышленника (даже Маяковский). Будь у нас такие собрания, какие составлял когда-то В. Каллаш («Русские поэты о Пушкине», М., 1899, с добавлением — Киев, 1902), мы бы видели это ясно. Тут выступает всякий раз настолько интересный «Мой Пушкин» (Горький, Брюсов, Есенин, Цветаева, тыняновский «гений в толпе», Булгаков и т. д.), такие концепции именно современного человека, что, как бы ни разрывалась исследуемая личность по принципу «лебедь — щука — рак», в каждом усилии открывается что-то новое в смысле исторического роста человека («Пушкин», хотя и не с той обязательно стороны, на которой настаивал открыватель).

Так или иначе, движение в решении этой человеческой задачи продолжается.

Но если признавать вообще ее значение, то мы могли бы, кажется, и представить себе кое-какие сознательные шаги к ее решению.

Хорошо бы, например, издать Пушкина так, чтобы полнее восстановилась его личность. Нисколько не посягая на другие издания, наоборот, расширяя их веером, отчего бы не добавить к ним еще одно: тип хронологический. Где было бы собрано не по жанрам, а по времени (по месяцам и, если нужно, по дням вместе все), что Пушкин задумывал и, живя, писал.

Ясно, кажется, что тип объединения по жанрам — в Полном собрании — достался нам от устарелого в этом смысле XIX века, когда классификация была единственной представительницей порядка. Тщательная и долгая, часто невидимая в результате работа текстологов, историков и комментаторов



накапливалась в этих рамках; но совершенно не исключено, что весь их соединенный труд мог бы явиться читателю и с новой стороны. Необходимы, конечно, обязательны отдельные издания лирики, сказок, поэм, или драм, или исторических сочинений, так как всегда существует выборочный интерес. Но все же у личности есть свой порядок (когда она есть), и если уж представлять ее целиком, то перекладывание ее по жанрам в Полных собраниях нельзя считать единственно верным.

Правда, что не все у всех равноценно; не с одинаковым удовольствием станем мы читать у Некрасова, например, его написанные вместе с Панаевой романы или у Толстого его нравоучительные статьи; пусть себе отводят им отдельные тома — может быть, так лучше. Но относительно Пушкина давно сказано, что каждая строчка его драгоценность; один писатель добавлял даже: «и в зачеркнутых словах ничего плоского или пошлого»; так разве не выиграют они, когда возвратятся на свое естественное место друг подле друга, как были в мысли открывавшего их человека, если именно целую мысль мы хотим понять?

Представим себе, как они станут рядом: рисунок (каждый должен быть приведен), набросок, стихотворение, завитушка, письмо, поэма, запись в дневник, статья... Все об одном, в одном состоянии, хотя на разные темы. Обычно мы просто этого не видим или восстанавливаем с усилием: «а в это же время Пушкин писал», — так почему бы и не дать «в это же время», начиная прямо с детства. Теперь, к нашей общей радости, нашелся портрет маленького Пушкина — туда его. Туда же первую эпиграмму (на себя), которую сохранил Павлищев: «Dis moi, pourquoi e'Escamoteur... (Скажи, отчего партер освистал моего Похитителя? Увы, потому что бедняга автор похитил его у Мольера)».

Потом Царское Село, — «Монах», «Тень Фонвизина», «Красавице, которая нюхала табак»...

Великим быть желаю,  
Люблю России честь,  
Я много обещаю —  
Исполню ли? Бог весть!

И письмо Вяземскому, еще почтительное, на «Вы»: «...время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого,

прекрасного!.. Целый год еще дремать перед кафедрой... это ужасно. Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой Россиады, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения!»

Тем временем все так же естественно делится и по местам пребывания, где оно рождалось; откуда набиралось, среди прочего, новое: Петербург, юг (то есть Кишинев, Крым, Одесса), Михайловское, Москва, столица, Болдино и т. д. Они тоже стягивают мысль вокруг себя, соединяя личность.

Трудно сомневаться, что среди возвращенных таким образом друг к другу строчек вскроются глубина и единство, еще, может быть, не замеченные. Лучше будет виден рост человека, откуда, зачем и куда он шел, выступают узлы, перекрестки мысли; яснее, вероятно, станут и спорные проблемы (убеждения позднего и раннего Пушкина, например); легче, без статистики, можно будет видеть, какие жанры и когда он предпочитал, где было больше поэзии и откуда пошла проза и пр. Преимуществ, очевидно, хватит, причем именно непредвиденных.

А с недостатками можно справиться, хотя бы потому, что в обычных изданиях их нет, то есть прочно в памяти лежит та связь, которую оставили и будут оставлять объединенные жанры. Можно бы решиться даже разбросать «Онегина» по главам, как и писалось. Так их — не надо забывать — принимали современники: ждали, гадали и прикидывали, сравнивая из того, что Пушкин вообще писал. Нечего говорить, что роман этот есть целое. Но целое, распределенное на всю почти пушкинскую жизнь, через перевал (Михайловское), откуда виден и ранний Пушкин и поздний. Понять это «единым духом», надо признаться, не удается: «Онегина» надо читать и читать. В том числе, наверное, и подобным способом. Вспоминать уже написанное вместе с Пушкиным, как это и делал, взрослая, он сам. И после последней главы естественно станет: «Миг вождь-ленный настал: окончен мой труд многолетний».

Для такого дела нельзя было бы жалеть ни лучшей бумаги, ни лучших иллюстраций (документальных). Выпрямляющая способность пушкинской личности в полном смысле неопценима.

## Станислав Рассадин

### «Путь истины» и «стезя правды»

Сто сорок пять лет назад Пушкин написал девять «Подражаний Корану».

Святая книга магометан очаровала его несомненными поэтическими достоинствами, привлекла, по выражению одного востоковеда, запечатленной в ней национальной физиономией народа, незнакомого Пушкину; и, более того,— позволила ему высказать свои представления о назначении поэта.

Вспомним подражание первое:

Клянусь четой и нечетой,  
Клянусь мечом и правой битвой,  
Клянусь утренней звездой,  
Клянусь вечернею молитвой:  
Нет, не покинул я тебя.  
Кого же в сень успокоенья  
Я ввел, главу его любя,  
И скрыл от зоркого гоненья?  
Не я ль в день жажды напоил  
Тебя пустынными водами?  
Не я ль язык твой одарил  
Могучей властью над умами?  
Мужайся ж, презирай обман,  
Стезю правды бодро следуй,  
Люби сирот, и мой Коран  
Дрожащей твари проповедуй.

Это — переложение 93-й суры Корана — с включением отдельных стихов из других его мест,— переложение, как можно заметить, близкое:

Клянусь утром  
и ночью, когда она густеет!  
Не покинул тебя Господь и не возненавидел.  
Ведь последнее для тебя — лучше, чем первое.  
Ведь даст тебе Господь, и ты будешь доволен.  
Разве не нашел Он тебя сиротой — и не приютил?  
И нашел тебя заблудшим — и направил на путь?  
И нашел тебя бедным и обогатил?  
И вот сироту ты не притесняй,  
а просящего не отгоняй,  
а о милости твоего Господа возвещай.

Я цитирую Коран в новейшем переводе академика И. Крачковского; Пушкин, как доказано, пользовался переводом М. Веревкина, многие фразы которого почти буквально вошли в подражания: «клянусь четою и нечетою» (сура 89-я, стих 2-й), «клянусь часом молитвы вечерняя» (сура 103-я, стих 1-й), «направляй их на путь истины» (сура 1-я, стих 5-й)...

Коран, разумеется, сообщил пушкинским «Подражаниям» некоторые черты своего стиля — общие и для всей восточной поэзии; например, характерное постоянство ее эпи-

тетов, ее медлительную созерцательность... перечисление можно было бы продолжить, если бы нас не занимало сейчас совсем иное.

Да, близость «Подражаний» к Корану очевидна. Отступления — во всяком случае, в первом подражании — почти незаметны. Но как же они существенны!

Отступлений три.

Первое — строка «и скрыл от зоркого гоненья», в которой видят автобиографические намеки.

Второе — «не я ль язык твой одарил могучей властью над умами».

И третье, внешне вообще не выглядящее отступлением: «стезю правды бодро следуй».

Первые два нововведения Пушкина отмечаются исследователями, — хотя один из них, давний, считал, что второе («не я ль язык твой одарил...») — воспроизведение стиха 3-го 55-й суры: «научил его красноречию». Это ошибка столь же живучая, сколь и грубая. Авторы недавнего школьного учебника тоже считали, что «жалю мудрью змеи» из пушкинского «Пророка» это всего только «дар проникновенной, волнующей речи», а «вещие зеницы» — «дар внешней наблюдательности», — так что получается не поэт, не пророк, жгущий сердца глаголом, а просто наблюдательный красноречивый.

Третье же отступление, насколько мне известно, вообще таковым не признается. Между тем, кажется, оно — самое существенное.

Евгений Винокуров, говоря о русском слове «правда», точно заметил:

«Не знаю, как в других языках, но в русском языке это слово содержит в себе два значения. С одной стороны, оно означает истину («Открой мне всю правду, не бойся меня...» — Пушкин), с другой — справедливость («...Нет правды на земле. Но правды нет и выше» — Пушкин).

Для русского человека, — продолжает Винокуров, — ценность холодного объективного познания (истина) и ценность горячего, нравственного субъективного чувства (справедливость) объединены в одно слово».

Трудно сказать, возникла ли «стезя правды» у Пушкина, отличающаяся от «пути истины» в переводе Веревкина, сознательно, или же это вышло «само собой». А вернее всего, произошло это интуитивно-сознательно, как

и бывает в процессе творчества. Нечаянно проявилась закономерность.

Так или иначе, поиски истины преобразовались в поиски правды; зазвучало требование справедливости. Нравственное начало русского искусства заявило о себе.

В Коране Магомет (Мухаммад) — посредник, его устами говорит Аллах; это серьезное отличие от Библии, в которой пророки передают заветы Господа, но говорят сами, от его, но и от своего имени. В Библии пророк может сказать: «Вот я, пошли меня». В Коране это немыслимо.

Пушкин вносит в свои «Подражания Корану» активность вместо послушания. Дело совсем не в автобиографичности намеков («и скрыл от зоркого гоненья»), а в новом характере пророка, сложившемся в результате гениальных «отсебятины»: поиски правды (как истины и справедливости), воздействие ею на умы и — за это! — «зоркое гоненье».

Правда, пробуждающая человека в человеке и за то испытывающая гоненье, — вот русская, пушкинская правда. Правда, поднимающая «дрожащую тварь».

От «Подражаний Корану» — прямой путь к великой поэтической программе Пушкина — к «Пророку».

И вновь основой служит «святая книга» — на этот раз Библия, гораздо более, чем Коран, освоенная русской поэзией. Слова пророка Исая:

«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.

Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,

И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать?..»

Опять сходство очевидно:

И уголь, пылающий огнем...

И он к устам моим приник  
И вырвал грешный мой язык...

Хотя есть любопытное мнение, что основой «Пророка» также послужил Коран, а не Библия.

Мнение это высказал в конце прошлого века критик «Русского обозрения» Н. Черняев. Он считал, что если и не какие-то определенные суры (а было и такое предположение), то общий смысл Корана, подробно-

сти жизни его создателя Магомета, которые могли быть известны Пушкину, подсказали ему и отдельные образы «Пророка», и общий тон его.

Например, строка «и их наполнил шум и звон» вызвала в памяти такую параллель: Магомет, как пишет автор его жизнеописания американец Вашингтон Ирвинг, сказал: «Я слышу звуки, подобные колокольному звону, и ничего не вижу» (Ирвинг, кстати, считал, что шум в ушах — симптом эпилепсии, приписываемой Магомету).

Строка «и сердце трепетное вынул» сопоставлялась с легендой, рассказывавшей, как к четырехлетнему Магомету явились два светозарных ангела; один из них, Гавриил, вынул из него сердце и очистил от скверны.

Все это занятно и не выглядит вовсе неправдоподобным, — хотя, скажем, сравнение, что библейское «грех твой очищен» слишком далеко от пушкинского «и вырвал грешный мой язык», неубедительно: Пушкин не копировщик, и развитие образа здесь совершенно естественное.

Можно также возразить, что в Коране Магомет апокрифически использовал библейские сказания, так что у обоих первоисточников есть общие черты.

Однако главная причина близости первого «Подражания Корану» и «Пророка» не в единстве первоисточника, сколь бы ни было оно вероятно, а в том, что в этих стихах Пушкин высказал — и продолжал развивать — свое, пушкинское, российское предствление о назначении поэта.

Три характернейших «отсебятины» Пушкина из первого «Подражания» воплощены — вернее, до воплощены — и в «Пророке».

Могучая власть над умами преобразилась в более эмоционально, даже физически осязаемый завет: «глаголом жги сердца людей». Эта замена выявила нравственный характер пушкинской правды: сердце, а не рассудок — символ нравственного.

К тому же «жало мудрых змеи» вложено в уста пророка не взамен, скажем, глупого языка, а взамен грешного — «и празднословного, и лукавого». В самом понятии «мудрость» тоже прозвучало нравственное чувство. Не «путь истины», а «стезя правды».

А «зоркое гоненье»? Его ведь нет в «Пророке»?..

Оно есть в ином русском «Пророке», в лермонтовском. Первые его строки — словно бы конспективное изложение пушкинского «Пророка». «С тех пор, как вечный судия мне дал всеведенье пророка...»

Дальше изображен, так сказать, наихудший исход. Пророк отвергнут людьми, и проповеди его встречаются глумленьем.

«Скептическая потерянности Лермонтова» (Герцен) не приводит к безволию, его пророк не разочарован в своем призвании, но трагизм обнажен, подчеркнут, высвечен. Собственно, это и есть главное, наиболее броское различие Пушкина и Лермонтова.

Такой обнаженный трагизм невозможен в гармоническом мире Пушкина; но гармония его не избегает трагизма, а преодолевает его: «та пушкинская легкость, в которой тяжесть преодолена» (Н. Коржавин).

«Зоркое гоненье», развернутое в беспощадную картину Лермонтовым, названо в «Подражании Корану» Пушкина. В его «Пророке» оно не названо, но живет в ощущении смертельной трудности назначения поэта, в нелегком, не ласкающем, а жгущем прикосновении поэзии.

Блок в знаменитой речи о Пушкине, недаром названной «О назначении поэта», говорил: «...Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира».

Блок решительно оговаривался, что ни для Пушкина, ни для него самого чернь — ни в коем случае не «простонародье»; предположить это, спутав народ с «дельцами и пошляками», можно, лишь став «тупым или злым человеком».

Чернь, которая в пушкинском стихотворении пока лишь недовольно спрашивает поэта: «зачем сердца волнует, мучит?..», а в «Пророке» Лермонтова куда более действительно кидается камнями, эта чернь отличена от прочих невозможностью испытать ту «духовную жажду», которая названа в первой строке пушкинского «Пророка».

Духовной жаждой объединены, сближены и поэт, пророк, готовый воспринять божье веление, и вниматель, готовый к восприятию жгущего слова поэта.

Пушкин осознавал свое назначение с удивительно достойной гордостью. «Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы» — это пророк внемлет голосу бога. А вот поэт внемлет голосу вдохновения:

Но лишь божественный глагол  
До слуха чуткого коснется,  
Душа поэта встрепенется,  
Как пробудившийся орел.

В этом — почти буквальном — совпадении больше гордой дерзости чем в сравнении собственного нерукотворного памятника с государственным Александрийским столпом.

Но в этом нет ни полемики, ни самоутверждения. Поэт не заносится перед «дрожащей тварью», но сострадает ей, поднимает ее.

При переходе от поэта к внимателю как бы повторяется акт творчества — со всей мучительностью, выраженной в «Пророке» Пушкина.

В самом деле: пророк, в грудь которого водвинут «уголь, пылающий огнем», отныне сам «глаголом жжет сердца людей». Их сердца теперь также проходят испытание огнем, выжигающим из них скверну, — «грех твой очищен».

Все испытанное поэтом — и муки его, и пришедшее ощущение идеала, мудрости, гармонии, — все это оказывается (хоть в какой-то степени) доступно чуткому внимателю, томимому духовной жаждой.

В этом нескончаемость искусства.

«Мы умираем, — говорил Блок в речи о Пушкине, — а искусство остается... Оно единственно и нераздельно».

## Давид Самойлов

### О рифме Пушкина

«Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значущее, имело важное влияние на словесность новейших народов».

Для Пушкина рифма — явление, знача-

щее много. С ней связывает он рождение новых форм поэзии.

«Ухо обрадовалось удвоенным повторениям звуков, побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие, — любить раз-меренность, ответственность свойственно уму человеческому».

Образ рифмы у Пушкина — эхо, воздух, ветер. Ветер вдохновения, гул слов.

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,  
Минута — и стихи свободно потекут.  
Так дремлет недвижим корабль в недвижимой влаге,  
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут  
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны,  
Громада двинулась и рассекает волны.

Рифма — движение стиха, встречное движение мысли и звука. Вне этого движения нет творчества.

Ко звуку звук нейдет... Теряю все права  
Над рифмой, над моей прислужницею странной:  
Стих вяло тянется, холодный и туманный.

Стих рождается как мысль и как звук одновременно. Звук пробуждает мысль. Мысль оформляется в звуке. Рифма, «странная прислужница», «послушна памяти строгой». Как мы бы сказали сейчас, она — рычаг поэтических ассоциаций. Память с помощью рифмы нащупывает соответствия слов и значений.

В самой природе поэзии, в природе таланта заложено свойство откликаться — чувству, звуку, смыслу, стиха — стиху.

Ревет ли зверь в лесу глухом,  
Трубят ли рог, гремит ли гром,  
Поет ли дева за холмом —  
На всякий звук  
Свой отклик в воздухе пустом  
Родишь ты вдруг.

«Тебе ж нет отзыва...» Отклик, ответственность — механизм поэтического познания. Он, поэт, откликается. Ему можно и не отзываться... Звуки, живущие в нем и откликающиеся в рифме, сродни природным звукам.

В гармонии соперник мой  
Был шум лесов и вихорь буйный,  
Иль иволги напев живой,  
Иль ночью моря гул глухой,  
Иль шопот речки тихоструйной.

Шум, напев, гул, шепот — вся полнота звучания природы соперничает со звуками слов в минуту вдохновения, когда

В размеры стройные стекались  
Мои послушные слова  
И звонкой рифмой замыкались.

В пушкинском вдохновении нет надрыва и мрачного труда. «Перо по книжке бродит без всякого труда», легко отыскиваются и «концы стихов», и «верность выраженья», —

То звуков или слов  
Нежданное стеченье,  
То едкой шутки соль,  
То правды слог суровый,  
То странность рифмы новой,  
Неслышанной дотоль.

Стечение звуков или слов. Слог правды и странность рифмы.

В понимании рифмы, ее значения для стиха, Пушкин — продолжатель Державина. В начале XVIII века рифма рассматривалась только как украшение стиха, для Тредиаковского она и вовсе — «детинская сопелка».

Однако лишь ранний Пушкин повторяет неточные созвучия Державина. С 1817 года рифма его становится иной. Иная в ней музыка, «звон». Зрелый Пушкин избегает многих вольностей, допущенных традицией, — у него даже усеченных рифм крайне мало, раза в три меньше, чем у Державина.

Пушкин довел до совершенства двусложный русский стих — ямб, завершил огромный этап его эволюции. Это касается, в частности, и рифмы. Но значение Пушкина шире и необъятней.

Он не был удовлетворен тем, чего достиг, завершая труд своих предшественников. Его драматическая судьба раскрывается не только в том, что он совершил, но и в его полуосуществленных замыслах, которые довершать предстояло всей русской поэзии совокупно.

Брюсов о пушкинской рифме писал несколько раз. Особенно интересна его статья «Левизна Пушкина в рифмах».

Статья это полемическая, призванная доказать, что «наши футуристы в своей реформе рифмы, — может быть, не подозревая того, — возобновляли традиции Пушкина».

«Наши теоретики, — писал Брюсов, — щедро брали примеры из стихов Пушкина, но подходили к рифмам Пушкина с уже готовой теорией. Все внимание обращалось на ударную гласную и на звуки вправо от нее; звуками слева, доударными, не интересовались вовсе».

Это замечание глубоко правильно. У Пушкина рифмуется не окончание с окончанием, а слово со словом, рифма органически вписана во всю систему стиха. Однако, «углубляя» рифму, продвигая ее в глубь стиха, Пушкин не пользуется каким-либо одним приемом. Брюсов отмечает частое согласование опорных (согласных предупредительного слога) в пушкинской рифме. Не в этом отличие пушкинской рифмы. Согласование опорных вовсе у него не преобладает. Мо-

жет быть, в этом и состоит обаяние пушкинской рифмы. Он любит рифму «мягкую», ни один из ее звуковых элементов не преувеличен, не форсирован.

У поэтов начала XX века постоянное совпадение опорных было навязчиво, в наше время «твердая» рифма самой неожиданностью своей бывает порой невыносима.

У Пушкина в опорных происходит явление, свидетельствующее о его восприятии приблизительных созвучий. Пушкин мог бы писать и неточными рифмами. Но они не согласовывались со всей системой классического стиха, слишком «выдвигались» бы среди других его факторов. Пушкин, сторонник гармонии, сознательно отверг неточные рифмы Державина, не видя возможности их продолжать в существующей системе стиха, еще нуждавшейся в других преобразованиях.

Но именно в предударных звуках пушкинской рифмы, в его опорных согласных накапливаются неточные созвучия, естественные для русского слуха. Эти созвучия будут накапливаться и толпиться в предударных классической рифмы, пока не рухнет барьер образующей гласной. И тогда эти созвучия хлынут в рифму нового стиха. Это произойдет у Некрасова.

У Пушкина нет, по существу, бедных рифм. Есть пульсирование звуков внутри стиха, живое звукообращенье.

Перечитаем с этой точки зрения несколько начальных строк из вступления к «Медному всаднику».

На берегу пустынных вОЛН  
Стоял ОН, дум великих пОЛН,  
И вдаль глядел. Пред ним шиРОКО  
РЕКА неслася: бедНый челН  
По ней стремился оДиНОКО,  
По МшисТыМ, ТопкиМ берегАМ  
Чернели избы здесь и ТАМ,  
Приют убогого ЧухОНЦА:  
И лес, неведомый лучАМ  
В тумане спрятанного солНЦА,  
Кругом шумел.

**Роко** перекликается с **река** соседнего стиха; **дн** с **дн** (бедный — одиноко); **т — м**, то сближаясь, то раздвигаясь (МшисТыМ, ТопкиМ) вдруг запечатлеваются в рифме — **там**; **ч** издали устремляется к конечному созвучию (**чернели-чухонца-лучам**).

Прошло сто ЛеТ, и юный ГРАД,  
Полнощных стран КРАса и ДИВО,  
Из тьмы ЛЕСов, из ТоПя БЛАТ  
Вознесся пышно, ГОРДЕЛИВО.

Множественно перекликаются **л** и **р**, **г** и **к**, чтобы в конце четверостишия окончания соседних стихов **град** и **диво** соединились в риф-

ме **горделиво**. То же самое происходит чуть дальше:

Где прежде ФИНСКИЙ РыБолОВ,  
Печальный пасынок ПРирОДЫ,  
Один у НИЗКИХ беРегОВ  
БРосал в НЕВЕДомые ВОДы  
Свой БЕТхий НЕВОД...

**Финский рыболов — низких берегов** — почти составная рифма. Дальше идет игра **р — р**, **п — р**, **б — р**, окружающих рифму **берегов**. И, наконец, **нев — вед — вод — вет** сбиваются в **невод**: неведомость воды в невод.

Такое чтение можно продолжать бесконечно. Оно скоро утомляет. Гармония стиха у Пушкина образуется по слуху, это не строительство, а архитектура, здание звуков цельным возникает в его подсознании. Стоит ли и нам разнимать пушкинский стих!

Как ни совершенны рифмы Пушкина, он понимает, что они нуждаются в дальнейшем развитии. «Рифмач», «рифмотвор», «Рифматов» — для него слова бранные. «Ямб» охладил рифмача».

«Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле», — сочувственно цитирует он Радищева. И дает следующее примечание: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. **Пламень** неминуемо тащит за собой **камень**» и т. д.

Рифма — верная подруга — здесь выступает скорей, как «тьень иль верная жена». «Странная прислужница» отказывается слушать поэзии. Читатель вовсе не ждет рифмы **роза**. От Пушкина он ждет свежей рифмы. Но Пушкин иронизирует над ним и над собой, обманывает его и вместо «рифмы новой, неведомой дотоль», снова кидает надоевшую **розу**.

Имел ли Пушкин в виду всю русскую поэзию, говоря о кризисе рифмы? Скорей всего нет. Он писал лишь о той системе стиха, которую сам довел до совершенства. Он думал о новых путях русского стиха. Он переоценивал национальную форму ямба с точки зрения национального стиха в целом — переоценивал опыт целого столетия русского стихотворства.

«В зрелой словесности приходит время, когда умы наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».

Не будем повторять то, о чем уже много-

кратно писано. Рассмотрим лишь, как представлял себе Пушкин освоение народного просторечия и «свежих вымыслов» стихом, стихосложением.

Стилизация ему чужда. Он ратует за просторечие, но отвергает «простомыслие». «Верность ума» ценит Пушкин в поэзии, то есть высокий уровень мышления. И соединение систем народной поэзии и литературного стиха должно прежде всего происходить не за счет упрощения поэтических мыслей, ограничения поэтического мира. Пушкин мыслит о том, как «простонародный стих» сделать народным.

В 1824 году он набрасывает отрывок «Как жениться задумал царский арап». Это освоение народного стиха. Удивительные по естественности и непредубежденности стихи — не попытка приспособить народный стих к силлабо-тонике, а умение полностью отказаться от привычного стиха как от ненужной обузы. Не менее удивительны три песни о Стеньке Разине. Как далеко ушел Пушкин от опытов Дельвига и даже от песен Кольцова! Задача шире и могущественнее — создать эпический стиль, эпический русский стих.

Стих без рифмы пробует Пушкин и в других жанрах. У него есть набросок «Не видала ль, девица, коня моего?». Есть превосходная «Сказка о медведихе».

Но мог ли Пушкин отказаться от рифмы?

Пушкин, обладавший гениальной способностью преобразовывать свое поэтическое мышление, не мог или не хотел преобразовать его в мышление «безрифменное». Не хотел он и заменить силлабо-тонический стих народным, тоническим.

Он ценил культуру, накопленную русской поэтической речью, богатства, запечатленные в поэзии, высоту поэтического мышления, достижения поэтического слога.

Вводя в поэзию просторечие и стиль народных преданий и сказок, он соединяет их с разработанной культурой стиха. Таковы поздние сказки Пушкина «О царе Салтане», «О мертвой царевне», «О золотом петушке».

Пушкин проводит несколько линий в поисках единой национальной системы стиха:

1. Прямое воспроизведение народных ритмов — стих с дактилическим окончанием без рифмы;

2. Нерифмованный стих славянского фольклора, преимущественно с женскими окончаниями («Сказка о рыбаке и рыбке»);

3. Народный сказовый стих с женскими, мужскими и дактилическими рифмами («Сказка о попе»).

4. Хореический стих с мужскими и женскими рифмами («Сказка о царе Салтане», «О золотом петушке»). И в другом жанре: «Ворон к ворону летит», «Золото и булат».

5. Стихи трехсложных размеров с мужской и женской рифмой («Черная шаль», «Узник», «Кавказ», «Туча» и т. д.).

Оставалось соединить эти линии. Трехсложным размерам придать трехсложную рифму. Линии остались разделенными по жанрам, по окончаниям, по рифме.

Один шаг оставалось сделать.

Нет сомнения, что Пушкин мог ввести дактилическую рифму и трансформировать ритмическую систему силлабо-тонического стиха. Он, может быть, построил бы все совсем иначе, чем Некрасов, которому досталось соединить народную систему стиха с литературной и ввести в поэтическое повествование трехсложные и дактилическую рифму.

...Если бы это успел сделать Пушкин, может быть, иначе пошло бы развитие русского стиха.

## Анатолий Передрев

### Мир поэта

Современным поэтам свойственно обостренное и «масштабное» ощущение внешнего мира. Поэты постоянно находят или стремятся быть в курсе явлений из самых различных областей жизни самых различных стран. Под стихами стоят названия городов всех континентов. Стихи густо насыщены приметами мира — географическими,

политическими, техническими, бытовыми. По стихам можно узнавать, что происходит в мире.

Это стремление освоить внешний мир заслуживает, само по себе, всяческого одобрения.

Беда только в том, что, читая отдельные стихи, в которых поэт знакомит нас с миром

современности, мы, узнавая этот мир — и порой во всей его ослепительной новизне и зловонности, — не чувствуем никакого открытия мира.

И происходит это потому, что внешний мир в таких стихах, часто «схваченный» в интересных и значительных своих проявлениях, «уложенный» в добротные стихотворные строчки, так и остается внешним миром, не становясь поэтическим, ибо в этом мире отсутствует «главный герой» — сам поэт, его личность.

Конечно, личность поэта проявляется уже в том, к какому жизненному материалу он обращается, о чем он пишет. Но как часто мы наблюдаем, что поэт, оперируя в своих стихах современными событиями, понятиями, настроениями, сам «не показывается» из-за них. Читая такие стихи, чувствуешь, что поэт как бы говорит «за других».

И хотя местоимение «я» очень популярно в сегодняшних стихах, чувствуешь, что оно принадлежит не столько самому поэту, сколько героям его многолюдных стихов, которые, в свою очередь, в общем-то не очень отвечают за это «я», потому что оно подчинено не ощущению жизни, ее реальных образов, а какой-то «уловленной» автором популярной идее, модной точке зрения.

В результате в стихах не оказывается ни «героев», ни самого поэта, остается одна «точка зрения», не обеспеченная лирической правдой, или, говоря словами А. Блока, «художественным индивидуализмом».

Чувствуя, что в своих стихах они живут какой-то не личной жизнью, что пишут они, не открывая свой духовный мир, а словно выполняя какое-то «общественное поручение», некоторые поэты изо всех сил стараются доказать, что они есть, что они не только стараются что-то «выразить» и «отразить», но и существуют еще сами по себе. В таких случаях поэты сообщают о себе массу биографических сведений, иногда настолько частных, что даже как-то и неприличных. К месту и не к месту описывают свою «внешность». Называют имена друзей и подруг. Рассказывают, где и как они пишут. Один поэт, например, постоянно подчеркивает, что он пишет, «тяжело сопя».

Устраивают «сенсации» пикантно-лирического или дерзко-политического характера. Усиленно демонстрируют свои «неповторимые» формальные признаки.

Последнее, мне кажется, особенно губительно для поэта, поскольку легко и очень

заманчиво, так как установилось какое-то совершенно, на мой взгляд, ложное представление, что настоящий поэт должен непременно и моментально узнаваться по «почерку», по «манере письма».

«Стиль — это человек». Да, конечно. Но ведь бывает и так, что «стиль» есть, а «человека» нет. К тому же понятие стиля зачастую так облегчено и выхолощено, что эпитет «самобытный» выдается только за формальную необычность. Поэтому, наверное, так много в стихах подмены лирической оригинальности оригинальностью формы. Эта подмена даже приветствуется иногда: «...в его лирике почти не встречаются неологизмы, но зато в корнесловии он удивительно изобретателен и находчив. Упорно экспериментируя с флексиями... из привычных, стертых, как старая монета, корней слов он увлекает небывалый, необычный смысл и тем сильнее передает личное восприятие природы, личное ощущение жизни»<sup>1</sup>.

Это из рецензии известного критика на стихи известного поэта.

До сих пор мы думали, что бывают «стертые, как старая монета», словосочетания или — хотя это никем не доказано — слова, но чтобы корни слов — это уже возможно разве только в том случае, если с ними «упорно экспериментировать». Но дело не в этом. Дело в том, что, оказывается, можно передать «личное восприятие природы» и «личное ощущение жизни», «экспериментируя с флексиями». Правда, критик оговаривается, что не вообще, конечно, передать, а «тем сильнее» передать, оставляя все же основные функции за «смыслом слова», но здесь следует заметить, что игра в корнесловие никогда не помогала поэтам написать стихи «тем сильнее», — напротив, чем «изобретательнее и находчивее» занимались они этим делом, тем слабее были их стихи, они становились «ни о чем», потому что эксперименты с флексиями поглощали «личное отношение к природе». Поэтому, когда тот же критик пишет о том же поэте, что его мир — «это мир необычайных превращений, мир невиданных прежде скоростей, прямой и обратной причинной связи...», то мне остается предположить только, что «мира» этого поэта не существует или, во всяком случае, это «мир» фантазии, а не души. И мне уже совершенно не важно, что его можно узнать по «речевым жестам».

<sup>1</sup> «Литературная газета», № 34, 1968 г. «Я так и подписуюсь».



Поэт узнается по другим «жестам»:

Ведут ко мне коня: в раздолии открытом,  
Махая гривой, он всадника несет,  
И звонко под его блистающим копытом  
Звенит промерзлый дол и трескается лед...

Исследователи Пушкина зацитировали эту строфу как образец звуковой инструментальной. Доказано даже, что на слово «дол» как бы эхом откликается «лед» (перевернутое «дол»), чтобы подчеркнуть и усилить пустоту и гулкость осеннего пространства.

Но в конце концов даже у посредственного поэта можно найти свое «блистающее копыто». Если заниматься «вскрытием» формы этой строфы, можно обнаружить и более тонкие признаки ее совершенства. После «ведут ко мне коня» наступает пауза, которая дает возможность «наглядеться» на эту захватывающую для Пушкина картину. Но она нужна также и чисто синтаксически (чтобы не получилось: ведут... в раздолии) и этой «деловой» необходимостью как бы прикрывает свою страстность. И как стремительны после этой паузы строчки, передающие бег коня, какой топот слышится в них от ударений, падающих почти на каждое слово. Но высшее мастерство в том, что мы, читая Пушкина, не замечаем всего этого, как не замечал, скорее всего, и сам Пушкин. Не замечаем, охваченные его восторгом:

Ведут ко мне коня...

Какой царский и детский одновременно, какой пушкинский жест. Потому что в этот миг не существует ничего и никого, кроме «коня». Пушкин даже о себе говорит дальше в третьем лице: «он всадника несет».

Не существует ничего, кроме в д о х н о в е н и я...

И забываю мир — и в сладкой тишине  
Я сладко уснул моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне...

«И забываю мир...» Как торжествующе у Пушкина это звучит. Оказывается, ему надо «забыть» окружающий мир, чтобы создать свой мир, со своим населением:

...И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей...

В рукописи «Осени» Пушкиным зачеркнуто следовавшее за этим перечисление:

Стальные рыцари, угрюмые султаны,  
Монахи, карлики, арапские цари,  
Гречанки с четками, корсары, болдыханы,  
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,  
Царевны пленные, графини, великаны,  
И вы, любимицы золотой моей зари,—  
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,  
С висками гладкими и томными очами...

Не правда ли, странный набор «знакомцев» — пусть даже в черновом варианте — для поэта, уже создавшего к этому времени «Евгения Онегина»? Что за фантастическое сборище? Даже «любимицы золотой зари» лишены всякой кровинки в лице, с одной стороны как бы подтверждая реальность «знакомцев», но в то же время, будучи лишь моделью барышень, ничем не выделяются из этого карнавала манекенов.

Да, это явно не наши знакомцы, они — из мира поэта. Его «незримый рой».

Но они могут стать нашими «знакомцами», если поэт вдохнет в них свою душу:

Жил на свете рыцарь бедный,  
Молчаливый и простой,  
С виду сумрачный и бледный,  
Духом смелый и прямой...

Разве этот «рыцарь бедный», которого мучило «одно виденье, непостижимое уму», не так же реален для нас, читателей Пушкина, как и Гусар, крутящий свой «длинный ус», как «вещий Олег», «любезная калмычка» или даже тот «труп ужасный», который стучится «под окном и у ворот».

С бороды вода струится,  
Взор открыт и недвижим,  
Все в нем страшно онемело,  
Опустились руки вниз,  
И в распухнувшее тело  
Раки черные впились...

Какое потрясающее описание мертвеца, «гостя голого», почти физически ощущаемое. Но происходит чудо — «утопленный» описан с такой силой, а кажется живым. И не потому, что «стучится под окном», а потому, что как ни много здесь смерти, а Пушкина — больше. Это «мертвец» из его мира, где не нарушается черта, за которой начинается «кошмар» и отступает поэт. Победа остается за поэтом.

Мы так привыкли к сиянию пушкинского гения, столько света излучают его стихи, что забываем, сколько страшного преследовало его воображение и душу.

Но дело в том, что Пушкин всегда больше того, о чем он пишет. Он не теряет власти ни над чем. И как бы ни потрясали наше воображение его «бесы», мы чувствуем, что он их «взял на себя».

Визгом жалобным и воем  
Надрывая сердце мне...

Заслуга Пушкина перед людьми всех времен, его «подвиг благородный» в том еще, что он создал свой поэтический мир, в котором дисгармония окружающего мира не отрицается, но побеждается силой творческого духа, его «божественного глагола».

**ДЕНЬ ПОЭЗИИ**

**1969**

**4**

## **Стихи Валериана Владимировича Куйбышева**

В нашей семье сохранились стихи Валериана Владимировича Куйбышева, которые он писал в годы молодости. Несколько его стихотворений было уже опубликовано. Те же, что печатаются ниже, читателям неизвестны.

Первое из них — «В городе» — относится к 1915 году. Валериан Владимирович написал его, идя в ссылку в село Тутуры Верхоленского уезда Иркутской губернии. Весной 1916 года В. В. Куйбышев совершил побег из ссылки, но в конце того же года был вновь арестован в Самаре. Второе из публикуемых стихотворений — «Тянулась нить...» — было написано перед отправлением в ссылку в Туруханский край, в самом начале 1917 года.

История третьего стихотворения — «На разведке» (апрель 1917 г.) — такова.

У нас в семье очень любили дарить друг другу, маме, папе подарки, устраивать сюрпризы. И вот совсем неожиданно, кажется в Москве, встретились три брата — Анатолий, Валериан и Николай. У них оказалось свободное время, и они решили поехать в Тамбов к маме, которую очень давно не видели. Но приехать не всем сразу, а как-то веселее разыграть свой приезд. Раздается звонок, открывают дверь — входит Анатолий. Мама рада, давно не видела

сына. Анатолий расспрашивает о Валериане и Николае, пишут ли, где они. Утихает первая радость — снова звонок: появляется Валериан. Мама счастлива, она постоянно беспокоилась о нем, письма из тюрем и ссылки приходили редко. Братья целуются, тоже разыгрывают радость встречи. Еще не успела утихнуть вторая радость — опять звонок: входит Николай. Он был все время на фронте, и мама постоянно тревожилась за него. Трудно описать радость мамы. Все ее три сына приехали к ней! Бывают слезы от горя, но бывают и от радости. Так вот у мамы были радостные слезы. Долго братья не говорили, что приехали вместе. Удивлялись, что вот так, не сговариваясь, неожиданно встретились у мамы.

В этот вечер Николай Владимирович рассказал, как на фронте он встретил безумного врага-немца. Видимо, он так красочно рассказывал и рассказ произвел на Валериана Владимировича такое большое впечатление, что в этот же вечер он написал стихотворение «На разведке».

Четверостишие «Великий труд» вышито золотом на знамени, которое хранится в Музее Вооруженных Сил СССР. Валериан Владимирович написал его экспромтом в Самаре в дни гражданской войны.

**Г. В. Куйбышева**

## В городе

Не прими за усталость, не прими за измену,  
Ты, вместилище силы, мощный город — магнит.  
Завтра снова с тобою, завтра снова надену,  
С бодрым криком надену все доспехи для битв.

Но теперь я вне воли, но теперь я мечтаю,  
Я мечтаю вдали от друзей и врагов.  
Преодо мною равнина без предела, без краю.  
Нет предела для солнцем залитых снегов.

По тропинке из блесток, по жемчужной тропинке  
Мы идем встречу солнцу, полны радостных грез,  
И кристаллики снега, искровые снежинки  
У нее на ресницах и на кудрях волос.

Улыбаются солнце, светят смехом снежинки,  
Улыбаются солнцу искры сердца и глаз.  
Мы молчим. Кругом солнце. Мы идем по тропинке,  
По тропинке из блесток, где рубин и алмаз.

*1915*



Тянулась нить дней сумрачных, пустых,  
Но мысль о вас, о милых и родных,  
Тоску гнала. Улыбка расцветала.  
И радость бурная по камерам витала...

Мы в путь пошли под звуки кандалов,  
Но мысль бодра и дух наш вне оков,  
Когда увидели мы лица дорогие,  
Заботы милые, улыбки молодые,  
Веселый смех и ласку милых слов.

И там вдали, в снегах страны чужой, —  
Ваш образ милый, бодрый, дорогой.  
Растает лед суровой злой неволи  
И воскресит мечту о светлой, гордой доле,  
О днях грядущего, наполненных борьбой.

*Начало 1917 г.*

## На разведке

Осторожно, крадучись ступаю.  
Трое нас в задумчивом лесу.  
Ручку шашки нервно я сжимаю,  
Двое держат ружья на весу.  
Тише, тише. Как движенья метки,  
Как легки бесшумные шаги...  
Сквозь дубовые, все в кудрях ветки  
Солнце смотрит с лаской впереди.  
Ухо ловит каждый шум и шепот,  
Острый глаз пытается тень и свет,  
Ручейка веселый нежный рокот  
В стороне послышался в ответ.  
Пред закатом раскричались пташки,  
Точно смерти нет вот тут, вблизи...  
Солнца луч блеснул на стали шашки,  
Тени леса вдруг на миг ушли.  
Вдруг не ухо, сердце услышало,  
Тело сжалось, готовое к прыжку,  
Сердце часто, трепетно стучало,  
Кровь прилила волнами к виску.  
Впереди, где солнце догорало,  
Кто-то шел, смеялся, тихо пел,  
Встал и обнял дерево устало...  
Все мы трое взяли на прицел.  
То был враг, но, нас не замечая,  
Он запел, ему ответил лес.  
А глаза, безумием блистая,  
Устремились в глубину небес.  
Песнь лилась свободно волною,  
Небо, лес, вечерняя заря —  
Все внимало с жгучею тоскою...  
Мы стояли, ружья опустя.  
Сколько слез и жгучего страданья,  
Сколько жажды счастья и любви  
Было в песне! Тихое рыданье  
Раздалось и смолкло позади.  
Вдруг замолк певец, отпрянул, сжался,  
Диким взглядом пожирая нас.  
Резкий хохот в тишине раздался,  
И в тени дубов он скрылся с глаз.  
Все молчало. Солнце закатилось,  
Мрачно замер сумеречный лес,  
Вот слезинка по щекам скатилась,  
Вот упала звездочка с небес!

*Тамбов, апрель 1917 г.*



Великий труд — твою творим мы волю.  
Твоих врагов сметаем мы с пути.  
Для новой и счастливой доли  
Мы красный стяг несем для всей земли.

# Николай Харджиев

## Заметки о Маяковском

### 1. Фотозулка Маяковского

21 марта 1915 года в «Синем журнале» (№ 12) было воспроизведено фото «Группа петроградских футуристов в мастерской художника Н. И. Кульбина». На первом плане сидят Н. Кульбин и художник О. Розанова, композитор А. Лурье и поэт В. Каменский. На втором плане стоит Маяковский со стиснутыми кулаками: он пристально смотрит на художника Ивана Пуни, туловище которого скрыто узорчатой тканью. Около Маяковского — произведение хозяина мастерской: портрет Г. Якулова.

2 апреля в газете «Обозрение театров» было напечатано следующее письмо Ивана Пуни: «...считаю необходимым заявить, что снимок представляет собой фотографический трюк и что я в данной группе не участвовал, а, в частности, с Маяковским никогда не снимался».

Снимок воспроизведен в «Синем журнале» плохо, но у покойного В. В. Каменского хранился уникальный фотооригинал, копия с которого была любезно мне предоставлена.

Перед нами действительно «фотографический трюк», один из самых ранних опытов фотомонтажа. Голова Ивана Пуни вырезана из другого снимка и приклеена к групповому фотопортрету. Вклеены в фотоконпозицию и некоторые аксессуары (например, колоннообразная печь на первом плане).

В кратких воспоминаниях художницы Н. Удальцовой о Маяковском<sup>1</sup> есть любопытные, хотя и несколько путанные сведения о выставке «Трамвай В», устроенной Иваном Пуни в марте 1915 года в Петрограде.

По свидетельству Н. Удальцовой, у Маяковского тогда же произошел конфликт с И. Пуни, отказавшимся сфотографироваться с поэтом, который не был «связан» с группой участников выставки «Трамвай В». Поэтому с полной уверенностью можно предположить, что Маяковский в отместку и смонтировал «голову» художника в групповой снимок, помещенный в «Синем журнале».

Фототрюком Маяковского самолюбивый художник (судя по его сердитому «письму в редакцию») был весьма недоволен. Впро-

чем, ссора завершилась восстановлением дружеских отношений. В 1918 году Иван Пуни (вместе с К. Богуславской, В. Козлинским и С. Маклецовым) иллюстрировал цикл стихотворных «подписей» Маяковского «Герои и жертвы революции», изданный к первой годовщине Октября.

Пользуюсь случаем впервые назвать авторов отдельных рисунков, вошедших в папку «Герои и жертвы революции». В папке — восемнадцать литографированных «одноцветных плакатов» (по определению Маяковского), из которых только три снабжены полной авторской подписью С. Маклецова («Батрак», «Телеграфист», «Помещик») и один — инициалами В. Козлинского («Матрос»). Остальные плакаты анонимные. На основании стилистического анализа мне удалось установить, что две наиболее выразительные литографии («Прачка» и «Барыня») принадлежат Ивану Пуни. Правильность моей атрибуции была впоследствии удостоверена К. Пуни-Богуславской. По устному сообщению художницы, рисунок «Рабочий» сделан ею совместно с И. Пуни. Ею же сделаны следующие рисунки: «Красноармеец», «Банкир», «Кулак», «Бюрократ», «Генерал», «Купец». Кроме «Матроса» В. Козлинскому принадлежат: «Швея», «Автомобилист», «Железнодорожник», «Заводчик», «Поп».

Папка Маяковского «Герои и жертвы революции» (его «первая попытка агитпоэзии») была издана в количестве 1200 экземпляров и уже вскоре после выхода стала библиографической редкостью. В статье «Только не воспоминания» (1927) Маяковский писал: «У меня этой папки нет. Сохранилась ли она у кого-нибудь?»

### 2. Маяковский и Асеев

В 1933 году в московском Литературном музее была сделана стенографическая запись беседы с Н. Н. Асеевым, рассказавшим о своих встречах с Маяковским в 1915 году в Петрограде. Привожу отрывок из этой неопубликованной записи (Музей Маяковского): «...я читал свои антимилитаристические стихи. Маяковский радовался: «Нашего полку прибыло». Предложил участвовать во «Взят».

Об интересе Маяковского к антимилитаристским стихам Асеева свидетельствует и

<sup>1</sup> М., «Искусство», 1940, № 3, стр. 33.

последняя часть поэмы «Война и мир», написанная в 1916 году. Непосредственный источник одного из трагических («апокалиптических») образов поэмы — стихотворение Асеева — «Боевая сумрака» (1915).

Строфа Асеева:

Пядь за пядью все реже, реже там  
Встают, шатаясь, озябшие кости,  
Кричат: вы горы, зажатые скрежетом  
Зубов железных,— на нас не бросьте.

Сравните в поэме Маяковского:

...Урагана ревом  
вскипает.  
«Клянитесь,  
больше никого не скóсите!»  
Это встают из могильных курганов,  
мясом обрастают хороненные кости.

### 3. «Маяковский-киноактер»

Очерк М. Поляновского о Маяковском-киноактере вышел вторично в 1958 году, через 18 лет после первого издания: у автора было достаточно времени, чтобы внести коррективы в свою работу. В обоих изданиях очерка содержатся сведения об участии двадцатилетнего Маяковского в фильме «Драма в кабаре № 13», сверхэкцентрической пародии на распространенный жанр киногильоля. Этот единственный опыт футуристического кино был поставлен по инициативе Михаила Ларионова (лидера группы молодых художников) и впервые демонстрировался в одном из московских кинотеатров в конце января 1914 года. Подробное, хотя и чрезвычайно пристрастное, изложение сюжета этого фильма напечатано в «Кине-журнале» (1914, № 11—12)<sup>1</sup>. Главные роли исполняли художник В. Максимович и танцовщица Н. Микулина. В одном из эпизодов фильма был показан инсценированный футуристический «вечер» с участием М. Ларионова, Н. Гончаровой, К. Большакова и их соратников. Кроме того, постановщики фильма использовали кадры из кинохроники «Московские футуристы», которая была посвящена раскраске лица, введенной М. Ларионовым, и выставке картин Наталии Гончаровой, открывшейся 30 сентября 1913 года<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См. также две заметки в газете «Новь» (26 и 30 января 1914 г.).

<sup>2</sup> См. «Вестник кинематографии», 1913, № 21; «Кинотеатр и жизнь», 1913, № 6.

Рискуя опровергнуть собственные домыслы (основанные на устных и совершенно недостоверных сообщениях поздних «мемуаристов»), автор очерка счел необходимым отметить, что в прессе того времени нет ни одного упоминания об участии Маяковского в фильме Ларионова. Эта мнимая загадка имеет чрезвычайно простое объяснение. Вопреки свидетельству В. Шершеневича и Б. Лавренева (с которыми беседовал автор очерка), Маяковский в фильме Ларионова не участвовал. «Участниками съемок» не были и оба «мемуариста», входившие тогда в группу московских «эгофутуристов» «Мезонин поэзии», к которой Ларионов относился с еще большей враждебностью, чем к кубофутуристам. Не удивительно поэтому, что В. Шершеневич и Б. Лавренев ничего не могли сообщить о сюжете фильма. На совети «мемуариста» должна быть оставлена и цитируемая М. Поляновским курьезная фраза В. Шершеневича из его неопубликованных воспоминаний: «Маяковский снимался в «Кабаре № 13» много» (!?). Воспоминания В. Шершеневича, самовлюбленно озглавленные «Великолепный очевидец», вообще содержат в себе множество псевдодружественных измышлений о Маяковском и его литературных соратниках. Можно только предостеречь от не критического использования этих «мемуаров»: достоверный фактический материал в них почти отсутствует.

Выступления Маяковского-киноактера состоялись в 1918 году. Любопытно отметить, что гротескный показ футуристического кабачка в фильме Маяковского «Не для денег родившийся» перекликается с аналогичным эпизодом в фильме «Кабаре № 13».

Еще одно замечание: автор очерка о Маяковском-киноактере спутал пародийный фильм Ларионова с кинохроникой, посвященной футуристам. Трудно, однако, понять, какую кинохронику имеет в виду автор. Кроме короткометражного фильма «Московские футуристы» (о Ларионове и Гончаровой), в конце того же 1913 года (если сведения литературной хроники «Маяковский» точны<sup>1</sup>) демонстрировался киножурнал фирмы «Эклер», где были показаны «Маяковский, Д. Бурлюк и В. Каменский на прогулке». К сожалению, драгоценные хроникальные кадры с двадцатилетним «живым» Маяковским до настоящего времени не обнаружены.

<sup>1</sup> В «Летописи» В. Катаняна ссылка на источник этих сведений отсутствует (см. 4-е изд., стр. 432).

#### 4. Путешествие в Мексику

Маяковский был в Мексике в 1925 году. За двадцать лет до него — в 1905 году — Мексику посетил К. Бальмонт. «Путевые письма» Бальмонта вошли в его книгу «Змеиные цветы», изданную в Москве в 1910 году.

Письма Бальмонта и очерк Маяковского «Мексика» совершенно различны по своим установкам. Символиста Бальмонта преимущественно интересуют остатки древних индейских культур ацтеков и майя, их космогония, фольклор и символика. Маяковский пишет о современной Мексике, о ее контрастах, о мексиканских революционных деятелях и передовом мексиканском искусстве.

Тем более любопытны совпадения отдельных мест очерка Маяковского с «путевыми письмами» Бальмонта.

5 марта Бальмонт присутствовал на бое быков в Чапультапеке: «...у меня как будто помутился рассудок от вида крови и трупов. По случайности мы сидели притом во втором ряду внизу, т. е. в нескольких аршинах от арены, и я в первый раз видел все так близко. Два быка перескочили через барьер. Это могло иметь определенные последствия для любого из первого и второго ряда, но все обошлось благополучно. Эти секунды только и были хороши, да еще несколько секунд, когда бык дважды чуть не поднял на рога убегающих клоунов этого мерзкого зрелища... Я искренно желал смерти кому-либо из этих отверженцев, и бык казался мне... благородным животным, умирающим с достоинством. Человеки отвратительны. Публика, хохочущая на умирающих лошадей, — жестокий кошмар».

С этим отрывком перекликается следующий кусок в книге Маяковского «Мое открытие Америки» (1926): «...когда быку в шею втыкают первые копыя, когда пикадоры отрывают быкам бока и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лошажьих животы и лошади пикадоров секунду носятся с вывалившимися кишками, тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который прыгнул со своего места, выхватил тряпку торреадора и стал извивать ее перед бычьим носом.

Я испытывал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между

человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков...

Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано... Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?»

Привожу отрывок из письма Бальмонта (датированного 23 марта): «потомки людей, мысливших красочными иероглифами, пьют убогую мерзостную пульке (перебродивший сок агав). Indios живописны в своем унижении и в своих лохмотьях. Но видеть здешнюю буржуазию, когда она в театре, в ресторане, в цирке, на улице, — мерзко и тяжко. Это — жалкое подражание Европе, отвратительность третьеразрядных движений, тупость сытых, грубочувственных лиц, глупые улыбки, наглый смех».

Сравните в книге Маяковского:

«Есть два «батаклана» — подражание голым парижским ревю. Они полны. Женщины тощие и грязные...

Взрослые, у которых есть еще 12 сантиметров, сидят в «пульке-рей» — этой своеобразной мексиканской пивной...

Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок, и уже к сорока годам индеец с одышкой, индеец с одутловатым животом. И это — потому что ста стальных ястребиных когтей, охотников за скальпами!»

Еще одна параллель. У Бальмонта: «...мы ждем час, два, три. Почему? Нужно нагрузить десять быков. Когда же? «Quién sabe?» звучит вопрос-ответ. Совершенно русское: «А кто-жь его знает?»

«Мексиканский вопрос-ответ» Маяковский неточно передает в русской транскрипции:

«...военный министр на вопрос о количестве войска отвечает:

— Кин сав, кин сав. Кто знает — кто знает. Может 30 тысяч, но^ возможно — и сто».

Книга Бальмонта о путешествии в Мексику Маяковскому была известна. Это подтверждается тезисом его доклада «Заграница», прочитанного 10 сентября 1928 года: «Бальмонт — мексиканец».



## 5. Потерянная и возвращенная рифма

Известно, что Маяковский принадлежал к числу тех поэтов, у которых начальная стадия творческого процесса связана с необходимостью движения. Маяковский нередко обдумывал отдельные части создаваемых стихотворений «на ходу», на улице: движение стимулировало работу поэтической мысли. Во время «творческой прогулки» Маяковского не тяготило даже присутствие спутника. Об одной из таких прогулок вспоминает С. И. Кирсанов: «Помню, Владимир Владимирович Маяковский, гуляя по Столешникову, вогнал меня в пот, требованием придумать смысловую рифму на «Столешников» — ему нужно было для стиха. Ничего, кроме «подсвечников», «валежников», «ночлежников» и другой ерунды, я придумать не мог. «Какой же вы москвич!» — сказал Маяковский. «А вы? — возразил я. — Тоже ведь ничего на «Столешников» не придумали!» Маяковский ответил, если не изменяет память, так: «Стыдно вам, Кирсанов, я Москву исходил рифмами вдоль и поперек, а вы на первой же улице попали в тупик»<sup>1</sup>.

Судя по рифмовому слову, эта прогулка по Столешникову переулку состоялась в начале января 1927 года; Маяковский тогда работал над стихотворением «Стабилизация быта», которое вскоре было напечатано в газете «Известия ЦИК». Привожу двустишие из этого стихотворения:

Люблю Кузнецкий  
(простите грешного!),  
потом Петровку,  
потом Столешников...

Кажется совершенно невероятным, что Маяковский, отвергнув рифму, предложенную С. Кирсановым («ночлежников»), заменил ее столь жалким подобием рифмы, уместным только в дилетантских виршах («грешного — Столешников»). Автограф стихотворения «Стабилизация быта» не сохранился, но такое чтение дают и первопечатный текст и прижизненное Собрание сочинений. Тот же текст повторен во всех трех изданиях Полного собрания произведений. И все-таки уникальный случай исчезновения рифмы в стихах Маяковского — результат небрежности корректора. Я могу предложить другое чтение, восстанавливающее рифму Маяковского:

<sup>1</sup> С. Кирсанов. Наша Москва. «Литературная газета», 6 сентября 1947 г.

Люблю Кузнецкий  
(простите грешника!),  
потом Петровку,  
потом Столешников...

## 6. В мастерской Маяковского

Черновой текст стихотворения «Отношение к барышне» записан в том же карманном блокноте (1920), где находится первоначальная редакция другого стихотворения малого лирического жанра «Гейнеобразное». Процесс работы Маяковского над этим вторым стихотворением проанализирован в книге В. В. Тренина «В мастерской стиха Маяковского» (1938). Привожу точную транскрипцию автографа «Отношение к барышне» (в черновике заглавие отсутствует):

Тонелем любви мутнели  
глаза темнотою шли  
не  
удержишься и 'еле-еле<sup>1</sup>  
наклонился я и лишь

говорю  
(я сказал) ей как добрый  
родитель  
(Любви) Страсти  
(Души) моей крут обрыв  
Будьте добры отойдите  
отойдите будьте добры.

Записав этот текст, Маяковский приступил к его обработке.

По-видимому, его наименее удовлетворила первая строфа. Действительно, текст этой строфы отличается редкой для стиля Маяковского зыбкостью и расплывчатостью образов.

Туманна основная метафора: «тонелем любви мутнели». Неточны и необязательны элементы характеристики самого действия («еле-еле наклонился»).

На обороте того же 14-го листа Маяковским записана новая редакция строфы, разрешенная в ином смысловом ключе:

Этот вечер решал  
не любовниками выйти ль нам  
Никто не видит нас  
И я наклонился действительно  
и действительно я наклоняюсь.

Вместо расплывчатой метафоричности — четкие предметные смыслы. Вместо эмоциональных характеристик — конкретные детали ситуации.

<sup>1</sup> В автографе «фонетическая запись»: «еле-ели».

Первые три строки исчерпывающе дают экспозицию сюжета (время действия, взаимоотношения между героями, обстановка).

Четвертая и пятая строка (соответствующие 3-й и 4-й строкам первоначальной редакции) приобретают особое конструктивное значение. В сюжетном плане они представляют собой замедленную подготовку к неожиданному финалу. Первая строфа переламывается «на самом интересном месте» сюжета. После незавершенного отрезка фразы («и действительно я наклоняюсь») ожидается скорее всего какое-то действие, а во все не нравоучительная сентенция.

Повтор трех слов в системе обращенного параллелизма подчеркивает значительность этого места в развитии сюжета.

В окончательном тексте Маяковский попытался графически закрепить интонационную напряженность этого словесного повтора, выбросив в четвертой строке союз «и» и разбив следующую строку на три ритмико-синтаксических отрезка:

Я наклонился действительно  
и действительно  
я  
наклоняюсь

В конструктивном плане всего стихотворения эти строки также играют весьма серьезную роль: обращенный параллелизм (типа авс — сав), завершающий первую строфу, переключается со второй частью второй строфы (параллелизм такого же вида).

Стилистическая доработка стихотворения привела его к такому тексту:

Этот вечер решал —  
не в любовники выйди-ль нам? —  
темно,  
никто не увидит нас.  
Я наклонился действительно  
и действительно  
я  
наклоняюсь  
сказал ей  
как добрый родитель:  
«Страсти крут обрыв —  
будьте добры,  
отойдите.  
Отойдите, будьте добры».

Мы видим, что от первоначальной редакции стихотворения сохранились в неприкосновенности только две последних строки. Они и являются смысловым зерном, из которого вырос сюжет стихотворения «Отношение к барышне». Они предопределили его развитие, так же как слово «Nevermore» («больше никогда»), по сообщению само-

го Эдгара По, определило собой сюжет и эмоциональную окраску стихотворения «Ворон».

Стилистические поправки, внесенные в окончательный текст, немногочисленны, но весьма интересны.

Сравним две редакции первой строки:

Этот вечер решал  
не любовниками выйди-ль нам

Этот вечер решал —  
не в любовники выйди-ль нам?

В смысловом отношении вторая редакция гораздо убедительней. Синтаксическая конструкция чернового автографа вносит не входивший в задание автора оттенок незавершенности действия (выйти — куда!). Во второй редакции неожиданный оборот речи укладывается в схему обычных формул (сравните «выйти в люди») и воспринимается как вполне законный.

Любопытна вставка в третью строку, для которой Маяковский использовал отброшенную черновую редакцию первой строфы. В ней была намечена важная деталь ситуации:

Тонелем любви мутнели  
глаза темнотою шли

Эта деталь чрезвычайно существенна для характеристики обстановки, поэтому Маяковский вновь вводит ее в текст, но уже экономно, в одном слове:

темно,  
никто не увидит нас.

Во второй строфе (начиная с ее черновой редакции) наиболее трудным местом оказалась вторая строка: сентенция, изменяющая все направление сюжета.

Текст блокнота показывает последовательность в написании таких трех вариантов:

1. Души моей крут обрыв
2. Любви моей крут обрыв
3. Страсти моей крут обрыв

Вполне понятно, почему вариант № 1 был отброшен сразу же: в этом контексте слово «душа» является традиционным «поэтизмом», не несущим на себе никакой нагрузки. С «душой» в стихах легко сочетается любящая метафора, но благодаря неопределенности самого понятия эти сочетания механичны.

Обновить это понятие, наполнить его предметным смыслом можно, только подчеркнув его условность.

Так, например, поступает Н. Асеев в поэме «Лирическое отступление»:

Ты, измятый изломанный кодак,  
Так называемая  
душа.

Вариант № 2 конкретней и ближе к поэтике Маяковского, но и он, в свою очередь, был заменен вариантом № 3: словесная тема «страсти» по своему более напряженному эмоциональному тону (совпадающему с общей направленностью сюжета) гораздо активнее, чем слово «любовь».

Однако в печатном тексте и этот вариант заменяется четвертой и окончательной редакцией:

Страсти крут обрыв

Выбрасывая определение «моей», Маяковский достигает предельной экономичности стихотворной фразы. В ней осталось всего три слова, и благодаря сильным динамическим акцентам и резкой форме инверсии каждое из них подчеркнуто в смысловом отношении.

Устранив личный оттенок, Маяковский превращает фразу, сказанную в определенной ситуации, в своеобразный афоризм, в сентенцию, претендующую на общеобязательное значение.

Заключительные строки стихотворения реализуют, доводят до конца центральную метафору: отойдите (от крутого обрыва).



## Борис Шиперович

### «И искра есть в лучах — моя...»

(Страницы из жизни В. Я. Брюсова)

В 1952 году Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» собиралось выпустить в серии «Библиотеки поэта» сборник стихотворений Валерия Брюсова. Для этого издания мне нужно было составить подробный указатель всех опубликованных его стихов. Кто-то из моих литературных друзей посоветовал обратиться к Жанне Матвеевне Брюсовой, вдове поэта, хранительнице его огромного архива — писем, рукописей, дневников, газетных вырезок.

Я рассказал Жанне Матвеевне о цели своего прихода и попросил ее помочь мне.

— Валерий Яковлевич, — сказала она, подумав, — любил библиографию, как, впрочем, и другие точные науки. Он мог на память назвать не только публикации своих стихов, но и стихов Блока, Верлена, Верхарна. А о Пушкине и говорить нечего! Я не преувеличу, если скажу, что он, будучи непревзойденным знатоком пушкинских текстов, мог безошибочно сказать, где и когда

они печатались. Но Валерий Яковлевич не всегда надеялся на свою память... Вот смотрите!

И Жанна Матвеевна показала ряды каталожных ящичков, в которых в идеальном порядке хранились карточки с библиографическими описаниями всех где-либо печатавшихся брюсовских стихов, очерков, корреспонденций, статей, рецензий...

...Наша первая встреча продолжалась около двух часов. С тех пор, в продолжение двенадцати лет, я часто бывал у Жанны Матвеевны, слушал ее рассказы о Брюсове. Обладая великолепной памятью, сохранившей множество значительных событий в жизни Брюсова, Жанна Матвеевна говорила содержательно и интересно. Говорили мы, конечно, не только о библиографии. Мы затрагивали множество других тем, так или иначе связанных с Брюсовым. Так постепенно у меня накапливался большой материал о крупном русском поэте, одном из основоположников советской поэзии.



— Часто ли бывал у Валерия Яковлевича Горький?— как-то спросил я.

— Да, они встречались. У нас Алексей Максимович был всего два раза. Однажды он приехал зимой. В конце дня кто-то позвонил. Открываю дверь, у входа стоит высокий, чуть сутулый человек, в длинной шубе, с заиндеветыми на морозе усами. Я сразу узнала — Горький.

«Еду в Питер,— сказал он низким, глу-

хим басом,— но не хочется уезжать, не поговорив с Валерием Яковлевичем... Он дома?»

Я проводила его в кабинет. Там они долго разговаривали. Горький приглашал Брюсова сотрудничать в издательстве «Всемирная литература». Алексей Максимович уважал и ценил Брюсова за его талант, за его огромные знания...



— Сохранились ли у вас стихи Валерия Яковлевича периода первой революции? — поинтересовался я.

— Такие стихи в архиве есть,— сказала она.— Правда, в них не всегда легко разобратся, обнаружить революционные мотивы. Валерий Яковлевич умел вводить в заблуждение цензуру. Но, как правило, Брюсову несвойственно было выступать в завуалированной форме. Он всегда выступал против самодержавия открыто и прямо.

С этими словами Жанна Матвеевна достала из архива пакет со стихами Брюсова и прочла четверостишие:

Но вы безвольны, вы бесполы,  
Вы скрылись за своим затвором,

Так слушайте напев веселый:  
Поэт венчает вас позором.

Так писал Брюсов в 1905 году. В архиве сохранились варианты стихотворений «Довольным» и «Грядущие гунны» — о будущей пролетарской революции. Для него это время было очень бурным. Он написал много революционных стихов, работал много над поэмой «Агасфер в 1905 году», но не закончил ее, часто выступал в печати. Его стихи о первой русской революции принадлежат, по общему признанию даже недоброжелательных критиков, к числу лучших стихов, написанных на эту тему современниками.



В декабре 1953 года Жанна Матвеевна отметила 80-летие со дня рождения Валерия Яковлевича. Пришли родные поэта, знакомые, друзья: И. Ашукин, Арго, А. Ильинский, Г. Шенгели, брат поэта, молодые писатели, вдова критика П. С. Когана.

В обычные дни по вечерам в кабинете всегда стоял полумрак. Настольная лампа освещала лишь небольшой угол комнаты. Сейчас весь кабинет был ярко освещен. Длинный стол под белоснежной скатертью напоминал обстановку тех лет, когда здесь проходили знаменитые литературные четверги Брюсова. К Валерию Яковлевичу приходили поэты. Они читали свои стихи, а Валерий Яковлевич слушал и молчал. Затем

все ждали, что он скажет, какой приговор вынесет. На литературных четвергах бывали А. Белый, К. Липскеров, В. Шершеневич, Н. Асеев. Частым гостем был и В. Маяковский. К Брюсову он приходил в обычном темном костюме, но на других вечерах или диспутах появлялся всегда в своей большой желтой кофте. Уже тогда между Брюсовым и Маяковским установились теплые, хорошие отношения.

И сейчас в кабинете было оживленно. Друзья и родные читали брюсовские стихи, делились воспоминаниями. Всем было радостно сознавать, что Брюсов не забыт, что его знают и любят.



В первые годы революции дом Брюсова опустел. Изредка забежит что-нибудь из друзей, чтобы справиться о здоровье Валерия Яковлевича, и тут же уйдет. Квартира не отапливалась. Не было продуктов. Валерий Яковлевич сидел в шубе в своем кабинете и никуда не выходил. Да и идти было некуда! Литературная жизнь Москвы замерла. Деятельность Московского литературного кружка давно прекратилась. Большинство старых газет и журналов закрылось. Больному, не по годам состарившемуся Брюсову было тогда всего 46 лет! Он не знал, куда направить свои силы. А тут еще какие-то активисты из домкома угрожали забрать у него библиотеку, которую он так любил. Жанна Матвеевна часто обменивала на Сухаревке вещи на хлеб, подсолнечное масло, картошку. Потом на рынок стал ходить и сам Валерий Яковлевич. Каждое утро он уносил из дома две-три книги в художественных переплетах и возвращался с сахаром и яблоками для своего четырехлетнего племянника Коли<sup>1</sup>. Почти все время он уделял Коле, играл с ним, читал ему сказки...

И вдруг неожиданное событие резко изменило эту грустную и, казалось бы, бесперспективную обстановку. Поздно вечером к Брюсову приехал Анатолий Васильевич Луначарский. Он сказал, что заехал ненадолго, чтобы переговорить с Валерием Яковлевичем о каких-то важных делах. Вскоре он уехал.

<sup>1</sup> Колю оставила у Брюсовых его мать проездом на фронт к мужу. Мальчик так и остался в семье Брюсовых. Я познакомился с ним в 1952 году. Он служил в Министерстве Морского Флота, в звании капитана II ранга.

— А на другой день утром,— вспоминает Жанна Матвеевна,— у ворот нашего дома Брюсова уже ждал извозчик. Валерий Яковлевич быстро оделся и уехал. Вернулся поздно вечером. Где он был и что делал, я не знала. Я понимала только, что в жизни Валерия Яковлевича происходят серьезные перемены, но сразу понять ничего не могла. Мне было только ясно: Брюсову предложили большую работу.

Трудности, которые мы испытывали в первые дни революции, сильно повлияли на Валерия Яковлевича. Выглядел он плохо. Клин его седой бородки заострял и без того узкое, осунувшееся лицо. Его мучил недуг. Но сейчас мне показалось, что этот вечный налет усталости постепенно исчезает и что он становится бодрым, жизнерадостным. Работы в то время у него было много. Валерий Яковлевич уезжал утром, а приезжал вечером. Загружен он был до предела. Днем — работа, вечером — выступления на собраниях и митингах. А по ночам, когда в доме наступала полная тишина, он писал стихи.

В начале 1919 года Валерий Яковлевич вступил в партию. В тот день он был возбужден и с гордостью говорил, что теперь он — коммунист, что должен оправдать высокое доверие. Я обняла его и поздравила.

Вступление в Коммунистическую партию крупнейшего русского поэта не могло пройти незамеченным. Друзья Брюсова радовались вместе с ним, его чествовали ветераны партии и те, кто строили вместе с ним новую культуру.



Однажды Жанна Матвеевна показала мне черновые варианты брюсовских стихов о В. И. Ленине. Почерк у Брюсова был мелкий, но разборчивый, однако наброски эти были так густо испещрены пометками и поправками, что разобрать текст было почти невозможно. Поражало другое — с какой настойчивостью, с какой любовью Брюсов работал над стихами о Ленине, оттачивая и шлифуя каждое слово.

— Смерть Владимира Ильича,— вспоминает Жанна Матвеевна,— потрясла Валерия Яковлевича. В тот день он не мог работать. Опустившись в кресло, он долго сидел точно в забытьи. К концу дня ему позвонили из «Известий» и просили прислать стихи о Ленине. С трудом Брюсов сел за стол и начал писать... Вечером отнес их в редакцию и там находился до полуночи...

Брюсов мне говорил, что он хотел в своих стихах выразить не только скорбь народа, но и веру в то, что дело Ленина будет бессмертным.

Жанна Матвеевна рассказала мне о бурной деятельности Брюсова на посту первого ректора Высшего Литературно-художественного института. До этого назначения Брюсов, как известно, работал в Наркомпросе, был членом Моссовета, членом редколлегии издательства «Всемирная литература». Но заветной его мечтой было создание института. С нетерпением ждал он правительственного решения. И вот однажды Брюсова вызвали к Луначарскому.

— Поздравляю вас,— встретил Брюсова Луначарский.— Вопрос об организации института решен.— Брюсов и Луначарский обменялись крепкими рукопожатиями.

Жанна Матвеевна хорошо помнила, как отмечала страна 50-летие со дня рождения В. И. Ленина в апреле 1920 года. Советская общественность столицы поручила Брюсову выступить на юбилейном вечере в Доме печати. Этот вечер оставил в памяти Жанны Матвеевны неизгладимое впечатление. На вечере присутствовали ученые, писатели, артисты, работники печати, рабочие заводов и предприятий. Председательствующий представил слово Валерию Брюсову.

Стараясь не выдавать своего волнения, Валерий Яковлевич говорил спокойно и, как всегда, ясно, отчеканивая каждую фразу. Но скрыть волнение было трудно. Его выдавал блеск черных глаз из-под нависших бровей. Все с интересом слушали выступление Брюсова.

— Я не думал говорить,— начал свое выступление Брюсов,— считал себя недостаточно осведомленным. Я скажу лишь несколько слов о личном взгляде своем. Вчера вместе с Горьким мы вспоминали слова Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые.

Такие роковые минуты мы переживаем сейчас. Здесь много молодых лиц, и им непонятно то, как смотрим на вещи мы. Их детство прошло в тысяча девятьсот пятом году, их молодость совпала с европейской войной, теперь они переживают год революции. Но для нас, которые в молодости жили в чеховской России, теперешние события прямо фееричны. Конечно, мы все считали социалистическую революцию делом далекого будущего. Вот теперь заговорили о возможности сношения с другими планетами, но мало кто из нас надеется там побывать. Так и русская революция казалась нам такой же далекой. Предугадать, что революция не так далека, что нужно вести к ней теперь же, это доступно лишь человеку колоссальной мудрости. И это в Ленине поражает меня больше всего...

Брюсов сошел с трибуны, его окружили друзья, к нему подошел Луначарский и крепко пожал руку. Вид у Брюсова был усталый. Но лицо светилось необычайно доброй улыбкой. Он был счастлив, что мог высказать то, что думал о Ленине в такой торжественный день.

# Владимир Луговской

(1901—1957)

## Непрядва

Всю ночь стою  
с булатом в руке.  
Приходит дневная смена.  
Перепела  
бьют вдалеке.  
Здравствуй, княжна Елена!

Перепела бьют вдалеке,  
Заря идет с востока,  
Заря купается в реке,  
И говорит сорока.

Что говорит? Что я бежал,  
Как волк, бежал из плена.  
Не умертвил меня кинжал,  
Жена моя Елена!

Не умертвил, не погубил.  
Ах, смерть моя далеко!  
Рассвет кафтаны опустил,  
И говорит сорока.

Топор я видел над собой,  
Я все изведаль муки.  
Уходит месяц голубой,  
Заламывающая руки.

А Русь лежит в заречной мгле,  
Вся в лопухе и мяте.

И по воде и по земле  
Идут ночные рати.

А стародавний город спит.  
Бревенчатые стены.  
Не умолкает шум ракии,  
Жена моя Елена!

Ты опустел, родимый край!  
Овраги, перелогии.  
Шумит над нивами Мамай,  
Колышутся дороги.

И далеко в сырой степи  
Встают пожаров руки.  
Прости меня и укрепи  
В смятении и разлуке!

Димитрий двинулся в поход,  
Огнем горят заречья.  
И полон слух и полон рот  
Татарской темной речью.

Встают над Русью облака,  
Играет рябь потока.  
По-русски говорит река,  
И кружится сорока.

И на серебряном песке  
Следы подков и пены,  
И кочет кличет вдалеке,  
Жена моя Елена!

## Одиссея

Да, то была  
луны большая ночь,  
Ночь первого ущербя,  
ночь немая.  
И человечества земная дочь  
На ощупь шла  
за ней,  
не понимая  
Дрожанья воздуха  
и разницу гудков  
Над скопищем  
московских катеров.

Я долю трудную избрал —  
бог мне судья,  
И только бог,  
и ты,  
и те края,  
Что музыкой торжественной одеты,  
Как облака,  
как огнепады света.  
Ты о своем  
о прошлом  
не жалеи.

Мы не бродили  
в тишине аллей.  
Эй, мужество,  
вперед!  
Седые искры сея,  
Я за тобой иду  
с волненьем Одиссея.  
Эй, Одиссей, вперед!  
Расширены глаза.  
Над нами бьет  
огнистая гроза.  
Эй, Одиссей, вперед,  
и ветер в рот,  
Незыблем свод,  
и верен лот.

Неукротим,  
как прежде,  
мой народ.  
И знаю я,  
что будет  
впереди:  
Есть капитан!  
Ты нас вперед веди,  
Покуда хватит  
воздуха в груди!  
Так много ветра,  
и не надо слов,  
Над нами гул  
московских катеров.



Звонит земля от золотого зноя,  
Машина мчит, урча на все лады:  
«Отрадное», «Веселое», «Родное» —  
Вот имена поселков молодых.  
«Отрадное»,  
«Веселое»,  
«Родное» —

Шумят,  
мятутся,  
мчатся тополя:  
Здесь каждый стебелек  
обласкан мною,  
Здесь величава и светла земля.  
Тавриды гордой  
знойная гряда,

Шуршащая листва  
на перевале,  
И в сумерках  
старинная звезда  
Из голубой чеканной  
строгой стали.

Таврида гордая,  
к тебе бежит волна,  
Вся вспыхивая,  
в огненном уборе.  
Как будто вздрагивая  
от живого сна,  
Целует море  
золотые горы.



Встанешь рано. Стучат поутру  
За окном голубые капли.  
Вспомнишь дом, что стоял на юру  
На весеннем, весеннем ветру,  
На ветру в подмосковном апреле.

Милый образ, снежинка моя,  
Ты сверкаешь огнями седыми  
В синий, трепетный круг бытия,  
В мирозданья кипящие дымы.

Это все как пустынный костер.  
Золотые летящие струи.  
Легкий абрис балханских гор.  
Ветровые твои поцелуи.

В чистом снеге узнал я тебя.  
Ты идешь, всем вокруг помогая,  
Запинаясь, тоскуя, любя.  
Мне с тобой по пути, дорогая.







Любимая,  
в тебе люблю  
я дальних молний свет.  
Я знаю, в этот скудный мир  
Ты мчалась сотни лет.  
Дай руку мне,  
тебя ищу,  
и в поисках моих  
Шагают рифмы, как рабы,  
неся усталый стих.  
По южному берегу ночь идет.  
Бьет  
двенадцатый час.  
Сиреневый кружится небосвод.  
И это  
в последний раз.  
В последний раз,  
смерть затая,  
Уносятся гор черты.  
Седая искра бытия  
в глубинах пустоты!  
И легкие шаги твои,  
как нож,  
пронзают грудь,  
Обозначая навсегда  
огромный чистый путь  
И раскрывая предо мной  
бессмертия края,  
Чтоб вечно ты в веках цвела,  
любимая моя.



Неужто можно полюбить  
так горестно  
и нежно  
Вдруг, в сумерках  
январской,  
кровью крашенной зари,  
Когда трещит мороз,  
как на костре  
валежник,  
Когда все ветки  
в огоньках —  
слетелись снегири.  
О, как мне не хочется умирать!  
Бушуют зори все красней и ярче,  
Уходит облаков седая рать,  
Играет на шоссе соседский мальчик.

## Николай Сидоренко

### Одним осенним утром...

Тогда семья Багрицких еще жила в Кунцеве, на Пионерской улице, где снимала две комнаты в деревянном доме. Туда я иногда ездил из Москвы автобусом, обычно под вечер. Не для того, чтобы показывать Эдуарду Георгиевичу свои сочинения, и — признаюсь честно — не потому, что втайне надеялся услышать от него новые строки. На это он бывал далеко не всегда щедр.

Нет, я смутно надеялся, что удастся заночевать у Багрицких, подышать романтикой, помечтать. Поэтому я радовался, когда жена поэта Лидия Густавовна говорила: «Коля, в город поздновато, я вам постелю у нас».

...За окном поздние сумерки, почти ночь. Затихла улица, затих дом. Я лежу на полу на матрасе, головой к двери, и мне видна вся комнатка. Три стены заняты емкими — в два яруса — аквариумами. У четвертой — жесткий топчан, и на нем, «ноги калачиком», сидит хозяин рыбного царства. Он несколько грузен, сутуловат, попыхивает трубкой без мундштука. Пахнет астматолом. Невысокая лампа кладет на стол круглый отсвет, не очень яркий, выделяя пепельницу и листки бумаги. На одном листке куда-то скачет чернильный всадник. Потолочная лампа погашена.

Перед моими глазами, в джунглях водорослей, за стеклянными стенками, шевелятся рыбы разных пород и окрасок. Они то оседают, то поднимаются к поверхности, то движутся, как сомнамбулы, чуть вперед, чуть назад. Плавники почти недвижимы. Рыбы мерцают и гаснут в тускловатом отливке лампочек подогрева, в столбиках пульсирующих пузырьков воздуха над аппаратами продувания.

За несколько дней я начинал мечтать, как буду, не отрываясь, в тишине и покое подмосковной ночи смотреть в глубину маляхитового, смутно серебрящегося мирка и словно бы отплывать куда-то, как в детстве — за книгой о дальних морях и неоткрытых землях. И я «отплывал»...

— Ну, лирик, напутешествовались? — иронически окликал меня Багрицкий, словно бы издалека. — А сейчас будем читать стихи. Кого хотите — символистов, акмеистов, классиков? Стихи настраивают на одну рябину. И Севку возьмем.

Усевшись поплотнее, ритмично покачиваясь, Эдуард Георгиевич хриловатым го-

лосом, с придыханием, читает Блока. В голосе нарастает подспудное «колокольное» гудение. Кажется, ворвись кто-нибудь в дом с криком «пожар!», поэт не шевельнется. Лицо слегка побледнело, подтянулось.

Но унеслась метель, отшумело платье прекрасной женщины, умолкли ночные автомобильные гудки, а Багрицкий еще «там». Глубоко вздохнув, он тихо произносит: «Ничего не скажешь. Мог!» Это о Блоке. Потом — Гумилев, Вяч. Иванов, Скотт, Лермонтов и снова Блок.

У Багрицкого выпадали такие бессонные ночи, когда подступала астма и ему трудно было лежать, и поэзия вырочала своего рыцаря.

...А в аквариумах та же мглисто-золотистая путаница водорослей, пульсирование пузырьков, сомнамбулическое перемещение рыб. Я не засыпаю — меня медленно заливает сон, топит, влечет на дно.

Проснулся я от движения в доме. Эдуард Георгиевич был уже на ногах, Сева нетерпеливо топтался в дверях, торопил: «Ну, папка, ну пошли». Вскочить, умыться — дело нескольких минут.

Переходим по шатким кладкам неширокую Сетунь и поднимаемся к полю, с которого накануне сняли свеклу. Земля взрытая, мокрая, на каждый башмак налипло по огромному кому. Ночью моросило.

За полем, невидели, виднелся Троекуровский лес, где нас должны были ждать дрозды; они, по словам Багрицкого, очень вкусны, если их умело приготовить.

На главном охотнике — кожанка, высокие сапоги, кепка козырьком (чтобы не затемняло мушку!). В руках двустволка. Дядя Эдя шел пригнувшись, того же требовал от Севки и меня. Сева нес сумку — для дичи. Мне, профану в вопросах охоты на дроздов, не было ничего доверено или поручено; меня взяли «для компании» и чтобы «было, что вспомнить».

Мы продвигались вдоль опушки, не разговаривали, не шмурыгали ногами. Эдуард Георгиевич прошептал: «Скоро будет рябина, на ней будут дрозды. Как я дам дуплетом, кидайтесь и ищите. Сделаю рукой вот так — всем ложиться». И он двинулся дальше, по-прежнему согнувшись. Сева, закусив травинку и чему-то улыбаясь, шел в шагах десяти позади отца. Я замыкал шествие.

Осень в тот год выдалась погожая. Дождички приходились на ночную пору. Дни сияли — синие, солнечные. Начинало холодать. Самые охотничьи дни!

Но что это? Багрицкий делает рукой «вот так» — все трое падаем на землю. Перед нами заветная рябина, а на рябине — кто бы подумал! — заветные дрозды. Дерево осыпано птицами. Они суетятся, им не до нас. Эдуард Георгиевич поворачивает к нам лицо, хмурит брови. Очевидно, мы ведем себя недостаточно тихо. Лежим минуту, вторую, третью, смотрим на дерево с дроздами, заранее переживая удачу. Промаяхнуться невозможно — цель рядом. Багрицкий медленно-медленно приподнимается, утверждает локоть, наводит ружье на рябину, задерживает дыхание и бьет дуплетом.

— Ура! Вперед! Они в траве!

Увы, поиски безрезультатны. Ни одного дрозда мы так и не нашли, хотя разгребали траву очень старательно и в большом радиусе.

— Эх, папка, маза дал! — с огорчением и укоризной сказал Сева и подкинул ненужную уже сумку.

Наконец дана команда: к дому. На пороге незадачливый стрелок сказал сыну:

— Бери посуду, сачок — и на пруд за циклопами. Рыбки хотят кушать.

...Сойдя в центре с автобуса, я долго бро-

дил по Москве, отдыхал на бульварных скамейках, побывал в случайном кафе и опять мерял улицы, уносясь мыслями то в таинственный подводный мир аквариумов, то к Троекуровскому лесу, к речонке Сетунь, черная вода которой рябила опадающей листвою.

Иные дела и заботы с годами заслонили многое из прошлого. Заслонили они и то осеннее охотничье утро.

Только после войны, проезжая как-то в электричке мимо Кунцева, я вспомнил неожиданно «поход за дроздами», и все предстало отчетливо, как будто было вчера. И подумалось: все же почему Багрицкий тогда «дал маза»? Конечно же в патронах не было дроби, он стрелял холостыми. Может, и не холостыми, а просто бил мимо. Была охота, были переживания, не было жертв. Да и мог ли такой жизнелюб пойти на явно ненужное убийство безобидных дроздов? И зачем они ему, хотя «вкусны, если их умею приготовить!».

И получилось так, что теперь, беря с полки книги Багрицкого, я поначалу «езжу», в Кунцево, в простой днем и такой непростой ночью таинственный мир водорослей и рыб; слышу глуховатый голос поэта и рыбоведа. Так бывает, даже если читаю стихи об Уленшпигеле. Странно? Но с этим уже ничего не поделаешь!

## Григорий Левин

### Многогранность поэта

(К 70-летию со дня рождения И. Л. Сельвинского)

Трудно назвать другого советского поэта, талант которого был бы так многогранен, как дарование Ильи Сельвинского. Богатством и разнообразием жанров он как бы стремился охватить всю необъятность своего времени. Плуг его поэзии подымал глубокие исторические пласты. Сельвинский с полным правом мог сказать: «С Петром Великим был я под Полтавой, а с Фаустом о жизни говорил. Мне кажется, что я живу на свете давнее давнего... Тысячелетье... Я видел всё. Чего еще мне ждать? Но, глядя вдаль с ее миражем сизым, как высшую хочу я благодать, одним глазком взглянуть на коммунизм».

Одной из примечательных черт дарования Сельвинского было свойство — проникать в характер различных народов, чувствовать и осязательно передавать национальный колорит их быта, причем видеть жизнь народа от самых отдаленных эпох и до наших дней, обогащать свой язык все новыми и новыми словами, образами, понятиями, подчерпнутыми в разных временах и в различной национальной почве. Сельвинский сам как-то шутя сказал об этом: «Словарь у меня 20.000 слов, а что я сказал ими? Так. Немножко...» В уже цитированных мною стихах Сельвинский говорил: «Со мной играли

в кости югославы, мне песни пел чукотский зверолов».

Самая жизнь Сельвинского, биография его исполнена этого жадного стремления как можно полнее и шире охватить жизнь. Плавал ли поэт юнгой на шхуне «Святой апостол Павел», воевал ли в красногвардейском отряде большевика Груббе, был ли грузчиком или натурщиком, сельскохозяйственным рабочим или рабочим консервной фабрики, репортером или актером, инструктором плавания или борцом, уполномоченным по заготовке пушнины или сварщиком на электростанции, участвовал ли в эпопее «Челюскин» или посещал страны Европы и Азии, воевал ли в Отечественную войну или ездил с первыми комсомольцами на освоение целины,— всюду и везде Сельвинский оставался поэтом, щедро черпая из запаса жизненных впечатлений и возвращая их жизни претворенными, обогащенными самобытной мощью своего дара.

Именно благодаря этому огромному богатству жизненных впечатлений и наблюдений Сельвинский смог стать мастером советского поэтического эпоса, создал целую галерею типов и характеров, как он подчеркивал, пронизанных «культурой профессии каждого». Поэтическая новелла и эпопея, стихотворный дневник и роман в стихах, роман в прозе, трагедия, огромным мастером которой он был, и баллада, лирическая миниатюра и поэтическая агитка, песня и эпиграмма, критический этюд и серьезный труд по теории поэзии, написанное в особой, неповторимой «сельвинской» манере письмо и венок сонетов,— да можно ли исчерпать даже в простом перечне всю жанровую неистощимость дарования Сельвинского!

В самом деле, если обратиться, например, к эпистолярному наследию поэта, то можно поразиться богатству метких наблюдений, мыслей, образов. Иные письма Сельвинского напоминают критический этюд, своего рода эссе, хотя они отнюдь не предназначались для печати. И хотя отдельные оценки и рекомендации были глубоко субъективными, а то и парадоксальными, но они интересны как еще одно проявление личности поэта, его вкусов, пристрастий, критериев.

Таково, например, публикуемое в сборнике «День поэзии» письмо Эдуарду Багрицкому. Багрицкий в 20-е годы считал Сельвинского одним из своих учителей в поэзии, что засвидетельствовано, в частности, известными строками: «А в походной сумке

спички и табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак». Написанное в 1928 году письмо Сельвинского продиктовано поэтикой конструктивизма, и уже в этом смысле оно представляет интерес как историко-литературный документ. Следуя этой поэтике, Сельвинский, введивший приемы прозы в поэзию, как бы выверяет стихи строго логическим критерием. По аналогии можно вспомнить «Записки поэта» Сельвинского, в которых Евгений Ней предлагал к знаменитым строкам Есенина «Сторожит голубую Русь старый клен на одной ноге» вариант «одинокий клен» на том основании, что есенинский образ как бы допускает представление о второй ноге клена! Подобно этому Сельвинский рекомендует и Багрицкому другой вариант прекрасных строк из стихотворения «Ночь», поскольку в этом, втором варианте отчетливее выявлена логическая конструкция. Рекомендации Сельвинского могут показаться произвольными, настолько они субъективно «запрограммированы» эстетической теорией и творческой практикой самого Сельвинского, но как раздумья поэта о мастерстве они привлекут внимание и самих поэтов, и теоретиков поэзии, и читателей стиха.

Сельвинский в своем стремлении шире и полнее охватить своим творческим взглядом жизнь проявлял огромный интерес к национальному колориту поэзии других народов. Читатели Сельвинского до сих пор помнят удивительные, виртуозные стилизации цыганского фольклора, живое и яркое ощущение украинско-русской речевой стихии в «Уляляевщине»; в «Бабеке», который поэт впоследствии назвал «Орла на плече носящий», Сельвинский сумел глубоко проникнуть в дух и характер поэзии Востока; «Тихоокеанские стихи» включили в себя непосредственные впечатления от своеобразного быта высокогорного ламутского национального района — «самого сердца Камчатки», как говорил Сельвинский, а «Баллада о Лааре» — самую свою ритмикой, всем строем стиха — воссоздавала поэзию Эстонии, я бы даже сказал, особый воздух Прибалтики.

В этом сказалась замечательная черта Сельвинского как наследника лучших русских классических традиций, озаренных пушкинской мечтой о времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». В этом сказался и характер советской поэзии с ее, выраженной Маяковским, устремленностью — «жить единым чело-вечьим общежитием».

## Неопубликованное письмо

Ильи Сельвинского

«Тирасполь, Красноярская, 86, кв. Сухенького. И. Сельвинский.

30. VIII.  
1928.

Дорогой Эдуард!

Как-то у нас с Вами бестолково получается, что я, Ваш товарищ по группе, имею возможность с Вами разговаривать почему-то из Тирасполя, в Москве же мы на разных полюсах. Во всяком случае наши рейсы в Москве идут по разным кольцам. Не знаю — Ваша ли астма тому виной, или недостаточная энергия с моей стороны. Как бы там ни было — мне захотелось вдруг с Вами поговорить по душам — а Вас нет. Дома такое чувство легко реализуется: три гривенника на автобус, и я сидел бы у Вас в Кунцеве под икотой Ваших, с позволения сказать, соловьев. (Не обижайтесь, Эдуард, но согласитесь, что соловей в клетке — это только «лирика Фета», а Фет был хуже соловья.)

Тема моего с Вами разговора: Ваша поэзия. Книги Вашей у меня пока нет, но вот в статье Поступальского в «Печати и революции» я нашел цитаты из Ваших вещей с таким чувством, точно встретил Вас на улице после долгой разлуки... Я благодарен ему за то, что он цитанул широко: привел целиком два Ваших стихотворения, хотя это и неприлично с точки зрения критического мастерства.

Так вот чудесная вещь «Ночь». В ней есть настроения немецкого импрессионизма с его контрастными красками и волнующей нервозностью. Но почему Вы не хотите быть конструктивистом? Это так легко и так нужно Вам. Запомните, Эдуард, что таинственной поэзии нет, а есть нераскрытая поэтика, т. е. тайна рецепта; раскрыта — таинственность улетучивается. Вас называют «бардом романтизма», т. е. помимо традиций «озерной школы» Вы изредка любите щегольнуть сумасшедшинкой («Декабристы»), затем стихотворение с несущимся домом).

Но приемы такой, такой таинственности — наивны. Конструктивизм знает прием энантиосемии, т. е. двуплановости, которой Вам, как нельзя более, кстати: Вам нужно только чуть-чуть «дожать», как говорят борцы, о лопатку и Вы победитель. Но Вы не дожимаете.

Вот пример из «Ночи»:

Неизвестные пьяницы в пивных  
Проклинают, поют, хрипят,  
Склерозными раками, желчью пивной  
Заканчивая день.

Пивная желчь и склерозные раки — изумительно. Но это именно акмеизм, нарбутовщина с ее пуэнтеллистическим зрением предельно близорукого человека. Почему бы не взглянуть шире? Т. е. в тот же объектив не уловить большего пространства? По стилю Вашей «Ночи» — Вы художник, набрасывающий дорожки дня. В этом смысле любопытство Ваше тому что жрут пьяные — мало оправдано, тем более что раки и пиво — вещи, без которых немислима пивная. Стоит ли говорить о них, сказав уже, что пьяницы сидят в пивных? Ведь это же топтанье, поэтому акмеизм, поэтому вчерашний день. Согласитесь, Эдуард, что если бы Вы великолепный этот образ расширили — он бы только выиграл. Если бы Вы сказали: «Склерозные раки заката», или «пивная желчь зари» — это была бы имажинистика. Но это уже лучше, т. е. преодолевается пуэнтеллизм — раз, и вырастает образ — два. Образ делается величественным, стилизует Вашу «Ночь», и в то же время обогащается смыслом: склерозный рак так и остается, но к этому прибавляется еще заря, т. е. больше воздуха, цвета, размаха. Дыхание шире. Но это, повторяю, имажинистика, если взять образ отдельно. В Вашем примере можно преодолеть и ее. Ну, вот — Ваши пьяницы в пивной. Но зачем они и заканчивают день? Мелкий бытовизм. А если бы после слова «хрипят» поставили точку и дальше изменить только глагол — впечатление сразу меняется:

Склерозными раками, желчью пивной  
Заканчивается день.

А если бы еще вместо «день» был бы «закат», который инструментируется с «зака» (нчивается), то это была бы та нагрузка, о которой говорят констры. А Ваша индивидуальность остается при Вас. Никто ее не тронул. Понимаете ли Вы это, стервкулия? (Не пугайтесь — есть такое дерево в Чили.)

Итак, окончательно переставляя «поют» и «хрипят», чтобы не было рифм:

Неизвестные пьяницы в пивных  
Проклинают, хрипят, поют.  
Склерозными раками, желчью пивной  
Заканчивается закат.

Конструктивно до чертиков! А поэзия вся Ваша.

Прошу Вас — измените во втором издании, тем более что желчь и склероз атрибуты дряхлости — и следовательно характеризуют именно конец, закат. Правда, было бы еще лучше заменить слово «заканчивается» другим, более близким к закату.

Второй пример:

И вот, надвинув кэпи на лоб  
И фотогеничный рот  
Дырявым шарфом обмотав,  
Идет на промысел вор.

До сих пор — Вы каждую мысль заключали в две строки. Таким образом смысловая цезура проходила между (1—2) и (3—4) строками. Поэтому, несмотря на Ваши запятые — поэтическая формулировка (ибо ритм сильнее орфографии, и музыкальная пауза бьет запятую), поэтическая, говорю, формулировка получается такая: вор надвигает на лоб не только кэпи, но и «фотогеничный рот». Абсурд, недостойный Вашей аккуратности. Но это мелочь. А вот посерьезней. Почему у вора фотогеничный рот? Это вообще здорово, но крайне капризно, а потому не обосновано, а потому акмеизм. Избегайте самоцельных образов. Они хороши, но не прекрасны. А поэзия, как и поведение в гимназических журналах, требует отличного. Хорошо — это скандал, непереводаемый балл.

Но если чуть-чуть перемонтировать строфы — выйдет необычайно организованно, широкомысленно и следовательно конструктивно. Вот опыт:

№ 1. Как есть  
И вот надвинув кэпи на лоб

И фотогеничный рот  
Дырявым шарфом обмотав,  
Идет на промысел вор...  
И ундервудов траурный марш  
Покинув до утра,  
Конфетные барышни спешат  
Смотреть героев кино.

№ 2. Как могло бы быть  
И вот ундервудов траурный марш  
Покинув до утра,  
Конфетные барышни спешат  
Смотреть героев кино.  
И вот надвинув кэпи на лоб  
Идет на промысел вор,  
Дырявым шарфом обмотав  
Фотогеничный рот.

Этот вор движется в двух планах: в плане ночи и в плане кино (крупный план). Таким образом «фотогеничный рот» держит на себе груз более мощный, чем Вы ему ответили. Для ундервудов я ввел «и вот» для того, чтобы анафорой ее у вора сбить точное ощущение вора в кино. Два раза «и вот» заставляет думать, что вор настоящий, ибо он равен по своему эмоциональному запову ундервудным барышням, но фотогенизм возвращает его в кино...

Следовательно, опять энантиосемия. Но если даже первое «и вот» снять — то и тогда организованность все же будет полной.

Вот, Эдуард, то небольшое, что я заметил в одном стихотворении. Огромный Ваш талант более чем чей-либо нуждается в конструктивизме. Не забудьте, что если Маяковский разрушил лирику, то Вам предстоит ее возродить. Но возрождать ее нужно не в том виде, в каком она была уничтожена футуризмом. Этого не понимает Уткин.

Ну, до свидания, дорогой, обнимаю Вас.

Ваш И. Сельвинский».

# Александр Коваленков

## Из воспоминаний

Не пытаюсь дать какое бы то ни было оценочное объяснение сделанному, написанному Б. Л. Пастернаком, систематизирую странички своих записных книжек, где встречи и собеседования с поэтом правдивы и документальны.



Шел 1934 год. Мы отправились смотреть дальнюю пасеку-угодье, где до революции «гуляли» местные купцы — поставщики в Москву яблок и огурцов. Пасека верстах в десяти от города; проселочная дорога к ней в березовых рощах, с конским бродом через речку Упу, в лугах с зарослями шиповника, боярышника и мальвами — были здесь когда-то хутора и небольшие усадьбы.

Сочинение, написанное мною тогда, начиналось строками: «Не во сне, так значит в сказке, но и ты видал все это: комаров лесные пляски, гроздья липового цвета. Перечеркнутый ветвями домик низенький, тесовый и порхающее пламя пчел и бабочек лиловых...»

Б. Л., когда я ему прочел стихотворение, одобрительно мотнул головой и сказал:

— Об этом нужно писать. Простое, хрестоматийное у меня не выходит.

И совершенно неожиданно стал критиковать маститого поэта-«тяжеловеса», который прохаживался по берегу Упы в модном халате:

— Его новшества давно известны, ну, есть, правда, хорошие строки о рыбах в золотой сетке солнечных лучей...

Нужно сказать, что Б. Л. всегда с интересом прислушивался к тому, что, по его мнению, в поэзии было простым. Вспомним хотя бы так называемый Минский поэтический пленум 1936 года. Тогда, говоря о поэзии, о Льве Николаевиче Толстом, Б. Л. совершенно искренне восхищался стихотворениями Якуба Коласа и Янки Купала: «Они такие чистые, простые, общепонятные...»

Пожалуй, тогда-то и наметился новый курс в поэзии самого Б. Л. к предельно ясной и строгой простоте русского традиционного стихосложения.

На обратном пути в Москву, в ночном поезде, окруженный своими друзьями — грузинскими поэтами, Б. Л. читал стихи с особенным, свойственным только ему «гуде-

нием», сотрясаясь, вскидывая подбородок. В манере его чтения было что-то похожее на то, что понравилось москвичам спустя четверть века, когда в переполненных концертных залах выступал Ван Клиберн, склоняясь над клавиатурой, как бы прислушиваясь к своей игре, закрывая глаза над полетом вдохновенных рук.

Странно, очень странно, что не кто иной, как Александр Александрович Блок в своей рецензии на сделанный Б. Л. перевод из Гёте отозвался о нем, прямо скажем, нелестно:

«У Пастернака все тяжеловесно, непросто, искусственно.

...Сам по себе перевод литературен, но пестрит очень многими выражениями, обличающими комматность, неразвязанность переводчика; что-то кропотливое, домашнее, мало талантливое. Правда, октава — очень трудная для перевода строфа.

Надо или предложить переводчику переработать все в корне, или отказаться от перевода, потому что редактировать его — больший труд, чем переводить сызнова».

Тогда, в ночном поезде, я смотрел на Б. Л., слушал его стихи и думал — нам нужно у него учиться. Сейчас, вспоминая простые строки Б. Л. Пастернака, вроде: «...Да, жизнь прожить — не поле перейти...» — думаю, что Борис Леонидович до конца дней своих учился русскому языку, учился с несомненно большим успехом, чем многие наши «новаторы», подражающие Б. Л.



— Очень тебя прошу, приходи в ВТО, здесь интересно,— позвонил Ярослав Смеляков.

Мне было некогда, я отнекивался: до- машиние, дескать, дела; но когда Ярослав Васильевич сказал, что Яхонтов после вечера в МГУ продолжает читать для небольшого круга лирику Есенина, собрался, отставил свои «домашности» и, удивясь, увидел, что в верхнем зале, за ресторанным столиком, Владимир Николаевич читает есенинские стихи Константину Александровичу Федину, Смелякову и Пастернаку.

...Синий май, заревая теплынь,  
Не прозвякнет кольцо у калитки...



— Нет, как это хорошо, как поэтически чисто,— восхищался Борис Леонидович.— Ваше чтение необычайно взволновало, взбудоражило меня...

Яхонтов скромно улыбался, закончив чтение одного стихотворения, и — прежде чем приступить к другому — молчал, а сопровождавшая его красивая полная женщина что-то ему шептала, — хватит, мол, идемте, а то замучают просьбами. Было совершенно очевидно, что красавице и Федин и Пастернак были неизвестны. «Ну писатели, ну журналисты... подумаешь...» Твердо — он почти ничего не пил — Яхонтов вместе с красавицей встал из-за стола, извинился, сказав, что должен готовиться к гастрольному отъезду, а Б. Л., молодецки хлопнув полную до краев рюмку водки, начал спорить с Ярославом о непрезвзойденности есенинской поэзии, да с такой горячностью, что К. А. Федин, глядя веселыми изумленными глазами на эту сцену, пожалуй, даже без особого осуждения произносил: «Борис, Борис, ну что это, ей-богу...»

Есенин в прекрасном исполнении Яхонтова действительно всколыхнул и взбудоражил впечатлительного Б. Л.

— Вот черт,— сказал мне Смеляков,— у него оказались совсем, знаешь, сильные руки... Само собой разумеется, тут же произошло примирение, и кончилось все тем, что Б. Л., выйдя из ВТО, стал дворницкой лопатой (на Пушкинской площади чистили снег) рыть себе... могилу и даже снял кашне и пальто, и, если бы не вмешательство Федины, обязательно бы простудился.

Не имеющий литературной ценности эпизод? Юмор? Мальчишество? Что ж! Может быть...



— А есть в языке русском множественное число понятия: «бремя»? — спросил Б. Л.— «Терем-берем...»; «бремя» — единственное, «берем» — множественное.

— Нет,— сказал я,— существует множественное понятие: «бремена».

Б. Л. задумался и, рассердясь, сказал: «Ну, тогда это стихотворение я сочинять не буду». В его характере было нечто совсем ребяческое. Прочитав чьи-то стихи о сборе грибов, Б. Л. подумал и с искренним огорчением вздохнул: «Жаль, мне тоже хотелось взять эту тему...» Следовало понимать, что прочитанные стихи ему понравились. Правда, спустя много лет Б. Л. стихи «на эту тему» все-таки написал:

...С широкого шоссе  
Идем во тьму лесную.  
По щиколку в росе  
Плутаем в рассыпную...



День был будничным. Посетителей выставки картин Исаака Левитана в залах Третьяковской галереи было немного. В одном совсем небольшом зале, где экспонировалось полотно «Ненюфары», а проще говоря — «Русские речные белые кувшинки», я встретил Б. Л. Он рассматривал в одиночестве редко экспонируемое произведение замечательного живописца и сначала даже не заметил меня.

— Что вас так заинтересовало? — спросил я.

Б. Л. отошел от картины, поднял руку и, словно продолжая начатый разговор, стал хвалить Левитана:

— ...Нет, конечно, он не совсем реалист; посмотрите, речная чистая гладь, а художник сделал ее в коричневых, и не только коричневых, а даже черных оттенках, не побоялся сделать круглые, совсем круглые, а они такими не бывают, плавающие, плотно прилегающие к водной глади, листья. Нет, нет, нет — смелость и умение видеть не так, как все,— вот настоящее искусство...

— А я с вами и не спорю,— удивясь горячности «отнекивань» Бориса Леонидовича, сказал я.— Левитан — один из самых моих любимых...

— Вы любите не то, что нужно,— продолжая спорить как бы и не со мною, а с кем-то видимым только ему, твердил Б. Л. И, спохватясь, сообразив, что возражает человеку, согласному с его мнением, стал спрашивать, как я живу, что сочиняю и что занесло меня на эту «не очень, как видите, посещаемую выставку».

Сам он забежал в Третьяковку через переулок, даже не надев пальто, без головного убора.

— Сидел, писал, и вдруг потянуло посмотреть...— И, глянув на меня своими грустно-смеющимися глазами, вновь превратился в непростого, интересующего литературных изыскателей, знающего себе цену поэта.



— Постановка «Анны Карениной» во МХАТе не что иное, как скроенный из газетной бумаги портрет толстовской героини...

— Иностраннных знаменитостей у нас принимают радушно, с такой поспешливостью, что гость не успевает в прихожей раздеться,

а его уже манят в столовую запахом жареных котлет.

— Перевел для журнала «Иностранная литература» стихи Поля Верлена. Хорошие? Ну, что вам сказать. Доктор запретил мне курить, а я курю вот «Спорт» за тридцать пять копеек, обламываю концы и занимаюсь переводами; смешно, что вы спрашиваете о Верлене.

— Шевченко очень, очень хороший поэт. Сравнение сфинксов с сычами, когда богоматерь с младенцем идет ночью по египетской пустыне, просто превосходно.



Кажущаяся нелогичность, непоследовательность высказываний Б. Л. шла от постоянной стремительности ассоциативного мышления; он не считал долгом объяснять то, что казалось ему ясным.

...У него были очень зоркие, не боящиеся солнечного света глаза.

Для чего написаны эти воспоминания?

А для того, чтобы не доказывать: наивная честность всегда ближе к истине, нежели умозрительное лукавство.

## Николай Заболоцкий

(1903—1958)

### После работы

Он у станка до вечера копался —  
Все попусту! Лишь дома за столом,  
Хлебая щи, внезапно догадался,  
Какой детали не хватало в нем.

И соколом взглянул он на старуху,  
Что отдыхала, лежа на печи:  
«Ну, мать моя! Таковую бы стряпуху  
Да в ресторан! Значительные щи!»

Старуха знала — с каждым годом реже  
Был ласков муж, и думала сквозь сон:  
«Заврался старый!» Щи-то были те же,  
Что и вчера, когда бранился он.

1958

### Песня дождя

(Подражание С. Чиковани)

Мы спустились с Мтацминды по тропе в Окроканы.  
Запад вдруг обложили темнокожие тучи,  
Хлынул ливень, и горы, завернувшись в туманы,  
Подхватили, как песню, рокот ливня певучий.

Рощу мы миновали, и в поле пустынном  
Только два наших тела колыхались, как стрелы.  
Ветер в струны ненастья бил и гнал по долинам  
Песнь согласную капель, обжигающих тело.

Дождь застал нас врасплох, мы оглохли от гула,  
Нас тяжелые слезы иссекли, исхлестали.  
Ты, притронувшись к струнам, руку мне протянула,  
И чонгүри из мрака нам в ответ простонали.

Растворились цветы, аромат источая.  
Композитор дождя, бей по струнам ненастья!  
Одинокий боярышник рвется, рыдая,  
И в глазах твоих звездных загорается счастье.

Ах, иди бы с тобой до зари, до рассвета,  
Чтобы локон волос твоих в поле курился,  
Чтоб в осеннем дожде на развалинах лета  
Платья мокрый подол вокруг колена лепился!

Словно нити, колеблются капли дождя.  
Удаляются горы, монотонно гудя.

## Детство Лутони

Б а б к а

В поле ветер-великан  
Ломит дерево-сосну.  
Во хлеву ревет баран.  
А я чашки сполосну.  
А я чашки вытираю,  
Тихим гласом напеваю:  
— Ветер, ветер, белый конь,  
Нашу горницу не тронь.

Л у т о н я

Баба, баба, ветер где?

Б а б к а

Ветер ходит по воде.

Л у т о н я

Баба, баба, где вода?

Б а б к а

Убежала в города.

Л у т о н я

Баба, баба, мне приснился  
Чудный город Ленинград.  
Там на крепости старинной  
Пушки длинные стоят.  
Там на крепости старинной  
Мертвый царь сидит в меху,  
Люди воют, дети плачут,  
Царь танцует, как дитя.

Б а б к а

Успокойся, мой Лутоня,  
Разум ночью не пытай.  
За окошком вьюга стонет,  
Налетая на сарай.  
Погасили бабы свечки,  
Сядем, дети, возле печки,  
Перед печкой, над огнем  
Мы Захарку запоем.

Дети садятся вокруг печки. Бабка раздаёт каждому по зажженной лучинке. Дети машут ими в воздухе и поют.

Д е т и

Гори, гори жарко,  
Приехал Захарка.  
Сам на тележке,  
Жена на кобылке,  
Детки в санках,  
В черных шапках.

Б а б к а

Закачался мир подлунный,  
Вздрыгнул месяц и погас.

Кто тут ходит, весь чугунный,  
Кто тут бродит возле нас?  
Велики его ладони,  
Тяжелы его шаги.  
Под окном топочут кони,  
Боже, деткам помоги.

З а х а р к а

(входит)

Поднимите руки, дети,  
Разогните пальцы мне.  
Вон Лутонька на повети,  
Как чертенок, при луне.  
(Бросается на Лутоню.)

Л у т о н я

Пощади меня, луна!  
Защити меня, стена!

Перед Лутоней поднимается стена.

З а х а р к а

Дети, дети, руки выше,  
Слышу, как Лутонька дышит.  
Вон сидит он за стеной,  
Закрывается травой.  
(Бросается на Лутоню.)

Л у т о н я

Встаньте, травки, до небес,  
Станьте, травки, словно лес!

Трава превращается в лес.

З а х а р к а

Дети, вытяните руки  
Выше, выше, до небес.  
Стал Лутонька меньше мухи,  
Вкруг него дремучий лес.  
Вкруг него лихие звери,  
Словно ангелы, стоят.  
Это кто стучится в двери?

З в е р и

(вбегая в комнату)

Чудный город Ленинград!

Л у т о н я

В чудном граде Ленинграде  
На возвышенной игле  
Светлый вертится кораблик  
И сверкает при луне.  
Под корабликом железным  
Люди в дудочки поют,  
Убиенного Захарку  
В домик с башнями ведут!

1931

## Две встречи

### I

Княжна Марья... по лицу отца, не грустному, не убитому, но злomu и неестественно работающему над собой лицу, увидела, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастье.

*Л. Толстой, «Война и мир»*

Сраженное бессмысленной судьбой,  
Его лицо мне видится далече.  
Как неестественно, борясь с самим собой,  
Оно работало, пугаясь этой встречи!  
Два великана — воля и беда —  
Руководили страшной той работой,  
И целый мир, огромный, как всегда,  
Следил за ним с тоской и неохотой.  
Оно работало, а быстрые шаги  
Уж доносились издали, и с громом  
Открылась дверь, и в облике знакомом  
Старик прочел: «О боже, помоги!»

1957

**Примечание.** Из двух с эпиграфом из «Войны и мира» стихотворений, первоначально под общим названием «Две встречи», в собрание стихотворений Н. А. Заболоцкий включил второе, под названием «Встреча».

## Александр Архангельский

[1889—1938]

Эта пародия на Николая Заболоцкого была написана Александром Архангельским в 1929 году, вскоре после выхода первой книги стихов Заболоцкого «Столбцы».

Пародия была опубликована в «Литературной газете» (9. XI. 1929 г. № 30) и ни в один из сборников пародий Архангельского не входила.

### Лубок

На берегу игривой Невки —  
Она вилась то вверх, то вниз —  
Сидели мраморные девки,  
Явив невинности каприз.  
Они вставали, вновь сидели,  
Пока совсем не обалдели.  
А в глубине картонных вод

Плыл вверх ногами пароход,  
А там различные девчонки  
Плясали танец фокс и трот,  
Надев кратчайшие юбчонки,  
А может быть наоборот.  
Мужчины тоже все плясали  
И гребнем лысины чесали.

Вот Макс и Мориц шалуны,  
Как знамя подняли штаны.  
Выходит капитан Лебядкин —  
Весьма классический поэт,—  
Читает девкам по тетрадке  
Стихов прелестнейший куплет.  
Девчонки в хохот ударяли.

Увы, увы! — они не знали  
Свои ужасные концы:  
К ним приближались столбцы.  
Не то пехотный, не то флотский  
Пришел мужчина Заболоцкий  
И, на Обводный сев канал,  
Стихами девок доконал.

## Юрий Милонов

### Об Иване Приблудном

Иван Приблудный (Яков Петрович Овчаренко) родился 1 (14) декабря 1905 года в слободе Безгиновке Харьковской губернии в крестьянской семье. Рано потеряв мать, с девяти лет рос и без отца, который был на фронте первой мировой войны. Детская тоска по матери нашла отражение в ранних его стихах. В сельской школе его окружила материнской заботой учительница Варвара Васильевна Курячева, которая, заметив дарование этого своего ученика, поселила его у себя и положила начало его литературному развитию.

В 1918 году, в тринадцатилетнем возрасте, он ушел из Безгиновки и до 15 лет бродил по охваченной гражданской войной Украине, добывая средства к существованию батрачеством.

В декабре 1920 года в поселке Тараша поэт вступил добровольцем во 2-ю Черниговскую дивизию, которой командовал Г. И. Котовский, и начальник ее особого отдела, В. И. Крылов, назначил его ездовым тачанки. То, что Овчаренко «пристал» к дивизии, закрепило за ним прозвище «Приблудный», которое он избрал своим литературным псевдонимом. О юном поэте узнал и заинтересовался им командир корпуса В. М. Примаков, сам в ранней юности писавший стихи.

Осенью 1921 года, после приказа о демобилизации из Красной Армии малолетних, осуществлявший над Иваном Приблудным шефство И. В. Крылов, который до гражданской войны был рабочим Трехгорной мануфактуры, направил Ивана Приблудного в Москву к своему другу, секретарю Краснопресненского райкома партии, и тот определил юного поэта в интернат для одаренных детей. Оттуда осенью 1922 года Приблудный поступил в руководимый В. Я. Брюсовым Литературно-художественный инсти-

тут. Ознакомившись со стихами своего будущего студента, Брюсов принял его без экзамена, несмотря на отсутствие у того систематического образования.

Большое значение для развития творчества поэта имело знакомство с С. А. Есениным (1923 г.). Есенин внимательно следил за работой начинающего поэта, как старший товарищ помогал ему советами и наставлениями. Эти дружеские отношения продолжались до самой смерти Есенина.

Большой любитель песни, Приблудный высоко ценил творчество Л. О. Утесова, близко сошелся с ним, и вторую книгу своих стихов «С добрым утром» выпустил с посвящением «Леониду Осиповичу Утесову. Артисту. Человеку. Другу». Ему же посвящено шуточное стихотворение «Про бороду».

Много времени поэт проводил в Художественном театре, пользуясь отеческим вниманием В. И. Качалова и И. М. Москвина. В доме последнего он часто бывал. Сыновья И. М. Москвина — В. И. Москвин (артист Театра имени Вахтангова) и Ф. И. Москвин (артист 2-го МХАТа) были его сверстниками и друзьями.

Первым в печати появилось стихотворение «О, чернобровая Украина...» («Красная нива», 22 сентября 1923 г.). С тех пор Приблудный активно сотрудничал в журналах и газетах 20-х и 30-х годов.

В 1926 году издательство «Никитинские субботники» выпустило первый сборник стихов Приблудного «Тополь на камне». В 1931 году вышел второй сборник его стихов «С добрым утром» (издательство «Федерация»).

Уже первыми своими напечатанными произведениями Иван Приблудный обратил на себя внимание Максима Горького и А. В. Луначарского. В письме к тогдашнему секретарю альманаха «Земля и фабрика»

С. А. Обрадовичу Горький советовал: «...А почему не пригласить Леонова, Катаева, А. Платонова, Ив. Приблудного и еще многих!»

Являясь по преимуществу лирическим поэтом, певцом родной природы и крестьянского труда, Иван Приблудный живо откликался на все явления современности. Свое поэтическое кредо он выразил в стихотворении «Заключение», которым завершил цикл «У родных верб». Здесь, во-первых, право нести «холодным каменным громадам» городов «тепло долин» родной природы, не признававшееся и отвергавшееся тогдашни-

ми поэтами-урбанистами. Во-вторых, уверенность в растущих силах поэтов его поколения, той «рати» «детей затей, сынов событий», к которой «увенчанные и большие, гремящие на всю Россию» относились без достаточного внимания. Наконец, призыв писать простым живым русским языком без криков, нарядности, ритма, «зыкающих» рифм и деревянности выражений, чего было более чем достаточно у некоторых признанных поэтов первой половины 20-х годов. Здесь же и желание освещать социальные темы, что поэт и сделал в своих последующих стихотворениях.

## Иван Приблудный

(1905—1937)

### Последний извозчик

В трущобах Марьиной Рощи,  
под крик петуха да совы,  
живет он, последний извозчик  
усопшей купчихи Москвы.

С рассветом с постели вставая,  
тревожа полночную тьму,  
он к тяжкому игу трамвая  
привык и прощает ему.

Его не смущает отсталость,  
пока не погашен кабак,

пока его правом осталось  
возить запоздавших гуляк.

Но все же он чувствует,— скоро,  
прорезав полночную тьму,—  
династия таксомотора  
могильщиком будет ему.

И скорбный, на лошади тощей,  
стараясь агонию скрыть,  
везет он из Марьиной Рощи  
свою одряхлевшую прыть.

*Апрель 1929 г.*



Певучий сад, пахучий гай,  
Весна и говор на лугу,—  
Тебя, мой рай, зеленый край,  
Забуть я не могу.

Цветистый бисер гряд и хат,  
И темный рой кладбищ —  
Ты так же весел и богат,  
Как тягостен и нищ.

О чем поешь, о чем грустишь,  
Задумался о ком?  
Кого тревожно так манишь  
Заплаканным платком?..

О, не зови туда, где рос  
Твоих ветвей побег,—  
Мне б только петь сквозь искры  
И думать о тебе!.. слез

*1922 г.*

## Заключение

Мне стыдно за мои стихи,  
Что в эти дни разрух и брани  
В них вместо маршей иль воззваний  
Так много всякой чепухи.

Кругом пожар, кругом война,  
Окопы, танки, баррикады,  
А у меня... холмы да хаты  
И всюду мир и тишина.  
Да, стыдно мне!

Но что же вы,  
Увенчанные и большие,  
Гремящие на всю Россию  
В страницах грамотной Москвы,  
Что дали вы?..

Плакаты, крики,  
Сезонных молний вывих дикий,

Нарядность ритма, рифмы зык  
И деревяннейший язык.

И это все, и только это.  
И трудно, трудно без конца —  
Искать в болтающем поэта  
Иль в завывающем певца.

И счастлив я, что я не стар,  
Что еле-еле расцветаю,  
Что шелест мая рассыпаю,  
Как первый, чуть созревший дар.

О край мой,— выгон и овин,  
Есть у меня отрад отрада,—  
Что этих строк немудрым складом  
Холодным, каменным громадам  
Несу тепло твоих долин...

*Февраль 1924 г.*

## Про бороду

Ой, чуй, чуй-чуй-чуй,  
на дороге не ночуй.  
Едут дроги  
во всю прыть,  
могут ноги  
отдавить.  
Едет в дрогах старый дед —  
двести восемьдесят лет —  
и везет на ручках  
маленького внука.  
Внучку этому идет  
только сто тридцатый год,  
и у подбородка  
борода корóтка.  
В эту бороду его  
не упрячешь ничего —  
кроме полки с книжками,  
мышеловки с мышками,  
столика со стуликами  
и буфета с бубликами,—

больше ничего!..  
А у деда борода,  
как отсюда вон туда...  
И оттуда через туда  
и опять потом сюда.  
Если эту бороду  
расстелить по городу,  
то проехало б по ней:  
сразу тысяча коней,  
два буденновских полка,  
двадцать два броневика,  
тридцать семь автоторов,  
триста семьдесят саперов,  
да стрелков четыре роты,  
да дивизия пехоты,  
да танкистов целый полк.  
Вот какой бы вышел толк,  
если б эту бороду  
да расстелить по городу.  
Ух!



## Константин Симонов

### Рядом с прозой

Борис Лапин был превосходным прозаиком. Широкая известность пришла к нему в конце 20-х годов с книгой «Повесть о стране Памир». Вслед за ней появился «Тихоокеанский дневник» и блестящая, умнейшая антифашистская повесть «Подвиг». Почти одновременно с этим, в начале — середине 30-х годов, Лапин в соавторстве со своим другом Захаром Хацревиным написал интереснейшую книгу «Сталинабадский архив» и вслед за ней — «Дальневосточные рассказы», созданные после большого путешествия по Монголии.

В 1939 году Лапин и Хацревин — снова в Монголии, на этот раз — военными корреспондентами. К этой работе они возвращаются с первого дня Великой Отечественной войны. Последнее, что ими было написано в жизни, — это серия военных корреспонденций в «Красную звезду» из сражавшегося Киева.

В сентябре 1941 года они оба погибли при выходе из киевского окружения. Подробности их гибели неизвестны. Известно только одно: тяжело заболевший Хацревин просил оставить его и уходить. Лапин не согласился на это и остался и погиб вместе с ним.

Когда Борис Лапин погиб, ему было всего тридцать шесть лет. Этот успевший очень много сделать человек был все-таки только в начале своего пути, и тот том превосходной прозы, который остался после него, сложись его судьба по-другому, мог бы оказаться лишь первым из многих томов.

Борис Лапин известен главным образом как прозаик. Но он был и поэтом. Он не только начинал в юности с поэзии, выпустив свою первую книгу стихов семнадцатилетним мальчиком, он продолжал писать стихи всю свою жизнь. Он не принадлежал к числу тех прозаиков, которые когда-то в юности баловались поэзией, а потом забыли о ней и думать. Нет, он, так же как и его друг и соавтор Захар Хацревин, связал себя с поэзией на всю жизнь, и почти в каждой его книге, так же как и в книгах Хацревина и в их общих книгах, неизменно присутствует поэзия. И не в форме так называемой поэтической прозы, а в самой прямой и

непосредственной форме — в форме стихов.

И Лапин и Хацревин любили включать в свои книги стихи. Так, в прозаической книге Хацревина «Тегеран» появились его стихи о Персии. Так, в совместной книге Лапина и Хацревина «Сталинабадский архив» оказались их стихи и их вольные переводы из таджикской поэзии. Потом, уже после выхода «Сталинабадского архива», эти стихи составили еще и отдельную книгу под названием «Стихи на индийской границе». Так, в повести «Подвиг» — о японском самурае капитане Аратаки — среди ее прозаического текста оказались написанные Лапиным стихи мифического американского поэта Пата Виллоуби.

Так вышло, что многие стихи Лапина и Хацревина как бы затерялись для читателя поэзии среди их прозы. А немало стихов Бориса Лапина, главным образом юношеских, написанных в 20-е годы, так и остались ненапечатанными.

Но сам Лапин любил эти стихи и придавал им значение. Именно поэтому они и сохранились.

Мне довелось видеть большую старую кожаную записную книжку, в которой эти юношеские стихи были переписаны рукой Лапина незадолго до его смерти. А вышло это так. В августе 1941 года Лапина вызвали на несколько дней с фронта из-под Киева в Москву, в редакцию «Красной звезды». Ему предстояло возвращаться обратно под Киев. Он имел представление о сложности складывавшегося там положения и перед отъездом обратно на фронт, несмотря на свое мужество и оптимизм, видимо, считался и с возможностью гибели. Во всяком случае, он в течение двух или трех ночей перед отъездом в Киев, в Москве, под гул бомбежек, записывал по памяти свои юношеские стихи. Благодаря этому они и остались.

Мне думается, что было бы очень интересным фактором нашей поэтической жизни, если бы в ближайший год-два появилась книга стихов, в которую были бы включены поэтические произведения Лапина и Хацревина, написанные каждым из них и входившие в разное время в их отдельные и совме-

стные книги, а также оставшиеся до сих пор не опубликованными.

Может быть, такую книгу стоило бы называть «Рядом с прозой». У нас в издательствах в последние годы и даже, пожалуй, десятилетия почему-то очень не любят принимать к рассмотрению рукописи, в которых стихи соседствуют с прозой. И по-моему — зря! Хорошие стихи рядом с хорошей прозой никогда еще не пугали серьезных читателей прозы, а порой приучали их к стихам, делали из них читателей поэзии. Во всяком случае, в 30-е годы Лапин и Хацревин выпустили несколько именно таких книг, совершавших эту полезную работу.

Однако я незаметно для себя заговорил о будущем. Вернусь к настоящему. Это предисловие написано мною к небольшому цик-

лу стихов Бориса Лапина, относящихся по времени к 1923—1932 годам. Все эти стихи были написаны им между восемнадцатью и двадцатью семью годами. В этих стихах чувствуются и отзвуки времени, и отзвуки биографии автора. Сын военного врача, Лапин еще успел застать на фронте конец гражданской войны. Потом, в первые годы нэпа, он учился в Москве, в Брюсовском институте, и в его стихах этой поры можно ощутить юношеское неприятие накали нэпа. Потом начались одна за другой поездки, путешествия. Средняя Азия, Памир, Дальний Восток, Чукотка, Курилы... С этими поездками связаны и те стихи, что не публиковались раньше, и те стихи, что писатель включил в свою повесть «Подвиг» как песенки вымышленного Лапиным английского поэта-песенника Пата Виллоугби.



## Борис Лапин

[1905—1941]

### О, поле, поле

(Песня английского солдата)

Солдат, учись свой труп носить,  
Учись дышать в петле,  
Учись свой кофе кипятить  
На узком фитиле.

Учись не помнить черных глаз,  
Учись не ждать небес —  
Тогда ты встретишь смертный час,  
Как свой Бирнамский лес.

Взгляни! На пастбище войны  
Ползут стада коров.  
Телеги жирные полны  
Раздетых мертвецов.

В воде лежит разбухший труп,  
И тень ползет с лица

Под солнце тяжкое, как круп  
Гнедого жеребца.

Должно быть, будет по весне  
Богатый урожай,  
И не напрасно в вышине  
Собачий слышен лай.

О вы, цепные мудрецы,  
Мне внятна ваша речь —  
Восстанут эти мертвецы,  
А нас покосит меч.

И полевые мужики,  
«Ворочая бразды»,  
Вкопают в прах, как васильки,  
Кровавых дел следы.

## Подлец

Ах, как весело идти в ночной плеск,  
Слышать хлопанье воды, свист машин.  
О, пение сквозь дождь! Сонный бред,  
Голос ночи, крик скользящих шин...

...В задыхающейся пляске вод,  
Плотной падавших стеной вниз,  
Слышно пение шагов и струй,  
Тонкий, чистый, одинокий свист...  
Молодой неизвестный человек.  
Он отпраздновал сегодня двадцать лет,  
Он просто очень тихий человек,  
Он не маклер, не убийца, не поэт.  
Он готов любой подвиг совершить,  
Он готов любую подлость показать,  
Чтобы только грош счастья получить,  
Чтобы ужин с бургундским заказать.  
Слышишь — чей там голос песню гомонит  
(Всюду ливень, всюду сон и легкий плеск):  
«Я не буду ни богат, ни знаменит,  
Если я не столкну вас с ваших мест.  
Это счастье я с кровью захвачу,  
Это счастье я вырву из земли.  
Я хочу быть великим... Я хочу  
Быть великим... Я хочу... Быть... Вели..»



Опять земля уходит с востока на закат,  
Наполненная сором и шорохом ростков.  
Опять по ней гуляют, как двадцать лет назад,  
Волнистый серый ветер и тени облаков.

Твой облик затерялся в толпе растущих лиц,  
Твой голос еле слышен сквозь мрак двойных плотин.  
Все странно изменилось от чрева до границ,  
И только ты остался по-прежнему один.

Ты выброшен на берег. О жалостный улов! —  
В мой невод затянуло мешок твоих костей,  
Набитый скучной дрянью давно угасших слов,  
Любви, тоски, сомнений, опилками страстей.

Ты равнодушен к миру, и мир тебя забыл.  
Он движется — и баста! А ты упал — и мертв.  
И кто теперь запомнит, кем стал ты, что ты был —  
Ни рыба и ни мясо, ни ангел и ни черт.

## Песенка пассажира 3-го класса

В горячей ветреной тени,  
Среди чужих народов,  
Учитесь различать огни  
Идущих пароходов.

Вокруг — дикі и неродны  
Во тьме синеют скалы,  
Чужие люди холодны,  
Чужие песни вялы.

На скалах бурая трава,  
Горят огни морские,  
Туман одел на острова  
Халаты поварские.

Тоскливый, тягостный мотив.  
Вода свистит у трюма.  
Бежит в холмах локомотив.  
Сверкнул маяк угрюмо.

На брюхе пьют вода.  
Туман над краем суши.  
Внизу — холодная звезда  
В воде купает уши.

Спешит одесский пароход,  
Везущий в трюме хлопок,  
Кипят готовые в поход  
Котлы горящих топков.

Ты слышишь говор моряков?  
В тени светло и людно.  
Крутой накат волны с боков  
Слегка качает судно.

В горячей ветреной тени,  
Среди чужих народов,  
Учитесь различать огни  
Идущих пароходов.



О ты, душой похожий на овцу,  
Когда на шерсть стрижет ее пастух,  
Уподобляющий себя купцу,  
На распродажу вынесшему дух,  
Напоминающий судьбой зарю  
В часы, когда пожар горит в степи,  
Веселостью подобный декабрю,  
Свободный, как собака на цепи,  
О преданный, как белка — колесу,  
Своей испытанной огнем судьбе,  
Прости меня за то, что я несу  
Свои слова безумные — тебе.

## Бакалея

Я принес тебе аршин луны,  
Локоть неба — только не грусти!  
Двести гарнцев черной тишины,  
Полсажени Млечного Пути,  
Жалких мыслей — одиноких — рой,  
Столько слез, что хоть по ним плыви,  
Столько вздохов, что — попробуй  
скрой!

Это все — за грош твоей любви.  
Твой ответ не слишком ли суров?..  
Ты не хочешь сделки меновой,  
Для тебя я не найду даров  
В бакалейной лавке мировой.

1924

## Александр Квятковский

(1888—1968)

Александр Павлович Квятковский умер в прошлом году, в возрасте восьмидесяти лет. Вся его долгая и трудная жизнь, прожитая с исключительным творческим напряжением, была отдана изучению русского стиха. А. П. Квятковский был замечательным знатоком поэзии — в течение десятилетий он создавал и уточнял стройную «периодическую систему» различных ритмических форм стиха. «Поэтический словарь» Квятковского привлек внимание множества читателей, даже тех, кто не интересуется специальными вопросами поэтики и стиховедения.

Квятковский владел искусством подлинного анализа — такого, который не умертвляет поэтическое произведение, а раскрывает его внутренний строй и лад, помогая воспринять красоту не только сердцем, но и разумом. Это удавалось Александру Пав-

ловичу Квятковскому потому, что он, как всякий большой ученый, обладал одушевленным умом, восхищенным, поэтическим умом. До конца дней он сохранял постоянную готовность изумляться — таков был живой источник его научной любознательности. Он не шутя интересовался астрономией и геометрией, рисовал и лепил — и всю жизнь писал стихи. Он вел нечто вроде поэтического дневника, ибо лирика была для него «искусством памяти и меры», «мирным праздником размышлений». Это были стихи об уединенных радостях творчества, о любви и друзьях, о житейских невзгодах, о природе — и конечно же стихи о стихах.

На этих страницах публикуется несколько стихотворений А. П. Квятковского, написанных в разные годы и выбранных из разных циклов.

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



Трещат дрова. Мороз стучится,  
Погреться просится,— к теплу.  
Алмазное крыло жар-птицы  
Примерзло к мутному стеклу.  
Посланница ночного юга,  
Чуть долетев до нас, она,  
Растерзанная лютой вьюгой,  
К утру погибла у окна.  
Кому же петь на свете белом?  
Кто песню допоеет ее?  
В саду на сучьях — воронье,  
Как угли в пепле охладелом.



...Смотреть, смотреть, не смысля ни аза,  
Чтоб до тетради донести покорной  
И звездами звенящие глаза  
И радостью клокочущее горло  
И перелить целехонькими в стих,  
Прославленный классической закалкой.

...Уже светает? То-то ты притих,  
А звезды где? А радость?.. И не жалко?

1944

## Стихи об Э. Багрицком

### В Кунцеве

Две комнатки. Жена и сын,  
И бронзовый поджарый сеттер.  
И ты сидишь. И как кастеты  
Желтеют зубы. На косых  
Бровях висят глаза, тускнея  
Зеленоватым холодком.  
И пепельный седеет ком —  
Волос шальная ахинея.

В бок опершись рукой, сидишь,  
Как памятник. Ты сиплым взглядом  
Раздвинул стены, где руладам  
Недавно отдавалась тишь.  
Там в девяти костлявых клетках,  
Нахохлившись, сидят, как ты,  
Чижи, синицы и клесты  
В своих характерных жилетках.

Два изумрудных попугая  
Носами въелись в грудь себе.  
Они молчат. И лишь в волшбе  
Какой-то, невзначай пугая,  
Постанывает нежным горлом,  
Не смея даже и мечтать  
О родине, где — благодать,  
А не табачным пахнет спёрлом...

О Эдуард, тюремщик птиц!  
Что если бы тебя увидел  
Веселый и свободный Дидель,  
Смеющийся из-под ресниц!..  
«Буржуйкой» комната нагрета,  
И ты бушуешь бурей слов.  
Гремит лихое ремесло,  
И птицы слушают поэта.

И в полуночные глаза  
Твои смотрю я с горькой грустью  
И слышу, как клокочет в устье  
Дыханье астмой. Тормоза  
Трещат под мышцами бродяги.  
И стены валятся. И сын  
Поймал твой голос и в отваге  
Звенит,— и на бровях косых  
Трепещет звонкогорлый трагик.

## Александр Кочетков

(1900—1953)

### Капитан

Средь погребального тумана  
Корабль застыл в тревожном сне,  
Когда останки Капитана  
Мы жадной предали волне.

Над водяным зыбучим склепом  
Орудий долго вой не молк...  
Мы окаймили черным крепом  
Своих знамен пурпурный шелк.

Когда ж настала ночь и буря  
Дыханьем взрыла океан,  
Свой зоркий глаз привычно щуря,  
На вахте вырос Капитан.

В водовороте тьмы кипящей,  
Быстрее, чем молнии стрела,  
Его рука на риф грозящий  
Не раз прожектор навела.

И в гулкой бездне урагана  
Не раз, сквозь ночь, и смерч, и шквал,  
Знакомый рупор Капитана  
Пловцов к бесстрашью призывал.

И каждый знал: рукой упорной,  
Родной рукой ведет к земле  
Он сам, чей прах — в пустыне черной,  
Чей дух — на славном корабле!..

1924



## Ксения Некрасова

(1912—1958)

### Раздумья



Почему это так?  
На башни  
на Кремлевские —  
Гляди и гляди,  
И не устанешь глядеть  
Миг за мигом —  
подряд...  
Вот и цветок полевой...  
Но разве цветок и башню  
Поставишь рядом?  
И отчего это так —  
Ты глядишь и глядишь  
И не устанешь глядеть  
Миг за мигом подряд на цветок,  
Средь нежнейших его лепестков,  
Как и в линиях башен,  
Обретая мысли свои,  
И сердце свое,  
И себя самого.



О, мой талант,  
Дай силу мне  
Мой тяжкий труд  
Окончить до предела.  
Не отнимай всепокоряющую кисть,  
Дай искренность в словах,  
Дай правду жесткую в чертах  
людей, и подвигов,  
Что выну из души.

### **Крупской Надежде Константиновне**

Седая, как Русь,  
А по сердцу ровесница моя,  
Вы, Надежда Константиновна,  
Родились очень давно,  
А я рождена в Октябре.  
Ну, так что?  
Все равно, одинаково.  
Это не беда, что жизнь  
Вспахала лицо,  
И, право, совсем ничего,  
Что на Вашей спине  
Дни кирпичами уложены;  
Лишь бы сердце  
Осталось упругим,  
Не легли бы морщины на мысль.  
Жить бы еще хоть двести,  
Вечно, как разум, жить.  
Да и как немножко  
не сутулиться,—

На руках у Вас  
Революция девчонкой  
Говорить училась,  
Марсельезы петь.  
Прошное не поминайте лихом.  
Вы ведь любите  
Детей и жизнь,  
Бронзовую юность, загорелую,  
Молодость красивую и смелую,  
Птицей набирающую высь.  
Нет в моей стране  
Ни стариков, ни старых.  
Крылья за спиной  
У граждан отросли,  
И летит страна  
Огромной сильной стаей,  
Где не будет смерти  
И не будет тьмы.

Седая, как Русь,  
А по сердцу ровесница мне.

1937



## Григорий Левин

### Товарищ

Все, кто знал Владимира Львова, могли бы о нем сказать одним этим словом. Он был товарищем в прекрасном, первоначальном смысле этого слова — товарищем, другом. Внимательным и чутким ко всему, что он считал талантливым. Резким и непримиримым ко всему, что он считал бездарным.

Поэзия была его стихией, сущностью. Он буквально жил стихами. В том смысле, который выражен строкой: «Так начинают жить стихом».

В Отечественную он был солдатом. Я не знаю, можно ли назвать «военной темой» то, что он написал о войне. Это была не тема — биография, жизнь. Человек резкий и прямой, Вл. Львов боялся сфальшивить, погрешить высокопарностью в разговоре о войне. Он писал отчетливо, крупно. Некоторым могло показаться, что это — внешнее. На самом деле он сдержанно и скромно выразил главное в войне — готовность жизнь отдать за родину. Он прямо и откровенно говорил об утратах. О цене победы. И все, что он написал о войне, доставалось ему дорогой ценой. И при этом он никогда не забывал о том, что искусство есть искусство.

«Та, что ввинчивается в нарезки вороненого ствола» — так сказал он о смерти.

Он любил труд, считал его высшей ценностью жизни. И, не боясь погрешить против правды, можно сказать, что его стихи о труде могли бы украсить любую, самую взыскательную антологию этой темы.

А в самом конце короткой своей жизни он написал о любви так, что это тоже могло войти в самую взыскательную антологию «темы». Я беру слово «тема» в кавычки по той же причине — это не тема, — биография, жизнь. Стихи Вл. Львова о любви — это исповедь раскрытого сердца.

Я не сказал еще о его прекрасных переводах французских и бельгийских поэтов. О двух больших книгах прозы, переведенных им с литовского и вышедших после его смерти (переведенных не по подстрочнику). Он был тружеником.

«Без отдыха» — так назвал свою первую книгу Вл. Львов. «С начала жизни до конца» — строкой поэта названа вторая и последняя книга. Посмертная. Как верно эти два названия передают главное во Львове.

Он был товарищем.

## Владимир Львов

(1926—1961)



Не думай об этом, но если  
случится другая война, —  
нужны нам хорошие песни,  
а память о нас не нужна.  
Пускай во дворе озоруют:  
эпоха бросает балласт,

мы рухнем на землю сырую,  
никто не узнает про нас.  
И будут хорошие песни,  
которые я сочиню,  
а я буду всех неизвестней,  
идущих навстречу огню.

### Ночной огонь

Камни в воду вошли, черные исполины,  
Ярко блестит луна, зло грохочет прибой.  
Сохнет ранения след желтой полоской  
глины,  
И чую я неслышные шаги сквозь тошный вой.

Как будто молча, не рыдая,  
Туда, где мертвые тела,  
Старуха, мать моя седая,  
Меня отыскивать пришла...

Ты преодолела расстоянья,  
Ты прошла в многовековой мгле  
Силой иступленного желанья,  
Чтоб остался жить я на земле.

Пошли мне песню — песню, от которой  
Глаза блестят и сердце рвется в бой.  
И ровный шаг моей судьбы нескорой —  
О грозный век! — сравняется с тобой.

# Сергей Марков

## Омская сага

В годы «бедной юности моей» меня, как и многих других молодых писателей, неожиданно обласкал и приблизил к себе не кто иной, как знаменитый Антон Сорокин (1884—1928) — «король писателей Сибири», кандидат на премию Нобеля, корреспондент властителя Сиам и прочая и прочая и прочая.

Он потребовал, чтобы я приехал к нему в Омск.

Об Антоне Сорокине и его удивительной жизни надо говорить отдельно, но этот рассказ без него просто невозможен.

Антон Сорокин имел огромное влияние на писателей Сибири. Этого влияния не избежал и будущий поэт Евгений Забелин, который, кстати сказать, и Забелиным-то не сразу стал, а принял эту фамилию по совету Антона Семеновича.

Встретив меня на вокзале, спокойно, как будто мы с ним всю жизнь были знакомы, Антон Сорокин пригласил меня занять место на извозничьей пролетке, удобно уселся сам и стал рассказывать о знаменитых «тридцати трех скандалах», которые он в свое время устроил Колчаку.

Я спросил Антона Сорокина, что за люди окружали его плотным кольцом в то время, когда я ходил с подножки новосибирского поезда.

— Моя свита! — коротко пояснил он и прибавил: — Посмотрите назад!

Я обернулся и увидел, что вся сорокинская свита прилежно и размеренно бежит за пролеткой.

— Забелин вперед выходит! — удовлетворенно заметил Антон Сорокин так, что мне показалось, будто мы с ним находимся на трибуне городского ипподрома.

Когда мы подъехали к дому № 28 по Лермонтовской улице, Антон Семенович поманил к себе запыхавшегося Забелина и приказал ему остаться. Мы поднялись наверх в покои «короля писателей».

Забелин оказался очень молодым, довольно высоким человеком со смуглым лицом, выпуклыми глазами с большими веками и несколько отвислой нижней губой.

Казалось, что он все время как бы дремлет, погруженный в какую-то свою постоянную думу. Он был облачен в нагольный полушубок едва ли не из собачьего меха, подпоясанный ремнем, причем полы полушубка

спереди были подняты и засунуты за потрескавшийся ремень.

— Забелин! — обратился к поэту Антон Сорокин, и Забелин громко, но словно сквозь сон откликнулся на призыв «короля писателей». — Я хочу дать вам немного денег.

Антон Семенович взял в руки счета и зашелкал костяшками. Затем он отпер невьянский сундук, обитый радужной жестью, вытащил оттуда какие-то бумаги и помахал ими.

— Это поэма Забелина. У него ее пока нигде не печатают. Но он ничего не проиграл. За потерянное время я выплачиваю ему проценты. Вы можете идти, — бросил он Забелину, и тот удалился, на ходу разглядывая деньги.

Так бы он мог и навсегда уйти из моей жизни, но этого не случилось. Впоследствии мне довелось близко узнать его и его стихи.

Я провел несколько дней «при дворе» писательского короля в его стольном городе Омске и за это время наслушался столько удивительных историй, что их, наверно, хватило бы на целую книгу.

— Как вы открыли Забелина? — спросил я однажды Антона Семеновича.

— На омском кладбище. Дело маленькое! — прибавил Антон Сорокин свою любимую поговорку.

С явным наслаждением он неторопливо рассказал мне, что, гуляя по кладбищу, увидел стихотворные эпитафии, помещенные на могильных крестах и плитах. Они просто хорошо были написаны! Расспросив кладбищенских сторожей и могильщиков, неутомимый Антон Сорокин узнал, что сочинением эпитафий занимается юный Леонид Савкин, сын протоиерея. Протопоп служил, кажется, в том самом соборе, где хранилось знамя Ермака, похищенное атаманом Анненковым во время ночного налета на старинный храм.

Антон Семенович отыскал сочинителя надгробных надписей и стал терпеливо выяснять, пишет ли он что-нибудь в другом жанре. Юный Савкин показал «королю писателей» толстую тетрадь с лирическими стихами.

— Гениально! — изрек Антон Семенович. — Но только вот... — И он погрузился в раздумье.

— Дело маленькое! — воскликнул он. — Приказываю вам Савкина забыть навеки. Какой вы Савкин? Савкин звучит плебейски, Лебядкин какой-то! К тому же... Ну вы сами догадываетесь, что я имею в виду. Нужно что-то звучное, историческое. Ну, например, Тараканов. Как, а?

— Так еще хуже будет, за князя сочтут. Помните, картина «Княжна Тараканова». Нет, не годится, — мрачно ответил Савкин.

— Удивительно, — сокрушенно заметил Антон Сорокин. — Уже второй человек от Тараканова отказывается. Я Всеволоду Иванову, когда он еще клоуном был, такой псевдоним предлагал. А если Забелин? Знаменитый историк!

В конце концов собеседники поладили на Забелине и замене имени Леонид, по той причине, что среди омских поэтов один Леонид уже есть: Сорокин имел в виду Леонида Мартынова.

Так Леонид Савкин стал Евгением Забелиным...

Вскоре высокий покровитель повел нареченного Забелина в омский цирк и добился для него заказа на стихи, которые потом читали перед выступлением того или иного артиста.

Впоследствии я видел печатную программу с забелинскими стихами и помню, что она свидетельствовала о немалой начитанности недавнего сочинителя надгробных надписей. Он, например, в стихах о циркачах упоминал о братьях Земганно — героях романа Гонкуров.

От кладбищенской почвы Антон Сорокин молодого поэта оторвал, но вот главного для него долго не мог сделать. Над Забелиным тяготело проклятие его происхождения; он мучился от мысли о том, что не сможет получить образования и вообще занять место в жизни. Поэтому-то он и жил как во сне, зачастую вздрагивал, громко откликаясь на обращения к нему.

К новому имени и звучному псевдониму он постепенно привык, так сказать, разносил их, как тесную и непривычную обувь, получив известное облегчение.

И вдруг совершилось то, что в несколько мгновений перевернуло всю судьбу Забелина. И виновником этого был неистовый выдумщик Антон Сорокин.

Однажды он узнал, что в Омск должен приехать один из известных деятелей культуры. Назовем его Богуславским.

Антон Семенович взыграл! Приглаживая свои китайские усы, он долго похаживал возле высокого радужного сундука, который

иногда заменял письменный стол, и делал какие-то заметки на листке бумаги.

Потом он покатил на извозчике к Забелину и повез его в Пушкинскую библиотеку.

Удивленный Забелин пытался уклониться от изучения историко-краеведческих сборников, но Антон Семенович стоял над душой поэта. Сорокин потихоньку растолковывал Забелину, на что он должен обратить особое внимание при своих разысканиях.

Как бы то ни было, а Забелин, вытерев вспотевший лоб, облегченно вздохнул и закрыл последний по счету сборник.

Антон Семенович проверил познания, полученные Забелиным, кое-что дополнил и, потирая морщинистые руки, стал терпеливо дожидаться приезда Богуславского в Омск. А тот уже мчался в окутанном паровозном дымом маньчжурском экспрессе в загадочную для него Сибирь, страну будущего, как всюду называл ее в своих выступлениях.

Был майский день, солнце отражалось в гладких крупах вороных коней. Богуславский сидел в сверкающей колесными спицами коляске вместе с женой и своим секретарем. Когда он поворачивался, отвечая на многочисленные приветствия, на его пенсне вспыхивали стремительные лучи.

Писатели, сопровождавшие Богуславского в экспрессе, успели познакомиться его с поэзией Сибири, и он проникновенно не раз приносил строки из стихов Петра Драверта:

От мой юрты до твоей юрты  
Горностая следы на снегу.  
Обещала вчера навестить меня ты, —  
Я дожидаться тебя не могу.

Вот и сейчас, оборачиваясь к жене, он, возможно, снова хотел вслух вспомнить пленившие его строки. Триумфальная коляска катилась медленно мимо бывшего Сибирского корпуса, мимо собора, где когда-то было знамя Ермака; слева осталась крепость с былым Мертвым домом... И где-то, возможно у белых стен драматического театра, совершилось то, что так тщательно готовил Антон Сорокин.

Молодой человек, подняв над головой сложенную вдвое бумагу, ринулся под копыта вороных коней, и они остановились.

— Папа! — закричал Забелин. — Папа! Зачем ты нас с мамой бросил? Зачем оставил?..

— Вы нездоровы, молодой человек? — участливо спросил Богуславский, а сам, как

бы в поисках ответа, покосился на вывеску ближайшего пивного зала «Омсельпрома».

— Где же тут здоровым быть! — завопил Забелин.— Серсе кровью обливается. От мимолетных спряжений родиться — хуже быть не может. У других детей погремушки всякие, а у меня век ничего не было, страшно вспомнить! Вне закона родился!

И Забелин зарыдал, судорожно сжимая в руках бумагу.

— Вологодскую губернию, папа, помнишь? Помнишь город Тотьму? — продолжал он.— Там еще исправник кроликов разводил. Ты с мамой по Сухоне на лодке катался, а потом уехал и нас забыл. Мама красавица была, епархиалка. Мама скитаться стала, до Сибири дошла и меня к протопопу Савкину подкинула. Плохо, пап, живу: стихи мои не печатают, учиться не дают, потому что меня протопоп усыновил...

Забелин рухнул на колени.

— Встаньте, молодой человек! Стыдно так унижаться! — сказал Богуславский.— Вы стихи пишете? Не стесняйтесь, прочтите что-нибудь,— мягко добавил он, сделав широкий пригласительный жест.

Полынь, полынь, смиренная вдовица,  
Кто не пил слез от горечи твоей?  
Полынь, полынь, роняет перья птица,  
Зыбь облаков белее лебедей!

Забелин начинал неуверенно, но, убедившись, что Богуславский внимательно слушает, с подъемом дочитал всю свою «Полынь» до конца.

— «Не пой, не плачь, согбенная вдовица»,— вдруг задумчиво повторил Богуславский.— Скажите, пожалуйста, вот вы букву «ц» произносите, как «с». Это что, так сказать, ваш личный речевой дефект или какая-нибудь областная особенность?

— Ты, папа, просто забыл. У нас в Тотьме все так говорят. Будуэна де Куртене почитай! Там об этом сказано. Передай Б., что я для него говоры сибирских старообрядцев собрал,— скромно добавил Забелин, еще более удивляя Богуславского своими познаниями.

— Вам надо учиться, молодой человек,— ласково промолвил Богуславский.— Дайте вашу бумагу!

Пробежав ее, Богуславский вынул ручку и начертал на челобитной несколько строк. Забелин прочел их и, заплакав от радости, пошел отыскивать Антона Сорокина.

— Будьте мужчиной, вытрите слезы,— сурово приказал Антон Сорокин.— Я вам

говорил, что так и будет. Дело маленькое...

— А я думал, что в милицию уведут,— еще всхлипывая, сказал Забелин.

...Жить Забелину стало много легче. Его уже печатали в омской газете «Рабочий путь». Редактор газеты А. Кадников, человек с широким вятским лицом и длинными волосами, старался, чтобы «Рабочий путь» никак не отставал от жизни.

Весной 1928 года Омск был потрясен страшным наводнением. Кадников сказал Забелину, чтобы он посетил места бедствия, а к утру следующего дня написал поэму. И пусть она будет омским «Медным всадником»!

Тронутый доверием и вниманием, поэт, держа свой флаг на моторной лодке яхт-клуба, несколько раз пронесился по затопленному проспекту, пробирался по протокам на месте извилистых переулков.

Посейдон и иртышские няяды были милосердны к Забелину. Приплыв к дому «Рабочего пути», он положил на стол Кадникова стихи «Наводнение». Точно в срок! Они были напечатаны без промедления.

В «Рабочем пути» появились забелинские сонеты. Оценить их по достоинству мог прежде всего Петр Драверт, «сибирский Фауст», певец и исследователь края.

Он принимал нас, молодых, у себя в Банном переулке. Там Забелин читал стихи и держался хорошо и свободно; все этому радовались. В стихах его жила Сибирь со своими свершениями и чаяниями, необъятная страна с ледяными морями, темно-зеленой тайгой и полынными степями. Он воспел приметы нового времени — корабли Карской экспедиции, рельсы великого пути, устремившиеся в сторону Туркестана, рудокопов, проникших в недра сибирских гор...

Вскоре Забелин поехал в Москву. За ним, отнюдь не на его счастье, увязался Павел Васильев.

Забелин и Васильев поселились в Кунцеве, неподалеку от пруда, возле дороги в Солдатенковский парк.

Прохожие часто останавливались возле дома, где жили поэты, удивленно разглядывая две круглые доски, покрытые белой эмалью, прибитые к дверям. Такие доски раньше обычно красовались на домах, застрахованных в обществе «Саламандра» или в качестве вывесок на зубо-врачебных кабинетах.

«Поэт»,— гласили черные выпуклые буквы в самой середине белого круга. «Евгений Забелин»,— красовалось вдоль краев эма-

левого диска. Вот она, школа великого озорника Антона Сорокина!

Но важнее другое. Только в одном 1929 году стихи Забелина появились в журналах «Новый мир», «30 дней», «Красная нива», «Прожектор», «Экран», «Журнал для всех». Несколько позже его напечатали в «Красной нови».

Евгений Забелин побывал на Печоре, в области народа коми, в Котласе, некоторое время жил и трудился в Вологде, где он обзавелся семьей. Так он неожиданно-негаданно вплотную приблизился к старинному городу Тотьме, который он когда-то, по научению Антона Сорокина, выдал за место своего рождения.

В эти годы Забелин написал поэтически очень сильную и достоверную с точки зрения историка, этнографа и любого знатока европейского Севера и Сибири поэму об «огнепальном» протопопе Аввакуме. Я знал ее в отрывках. Но рукопись поэмы затерялась; если ее найдут, она явится значительным вкладом в нашу поэзию.

Издать своей книги при жизни он не успел...

Признательные воспоминания скрашивают любую жизнь, особенно такую тяжелую и короткую, какая досталась на долю поэта. Как бы разделяя их с Евгением Забелиным, я и написал «Омскую сагу» — свое свидетельство о людях и судьбах того времени...



## Евгений Забелин

### Казахстан

Вечерний диск за тучами потух,  
дымилась синь за горизонтом мгlistым,  
вновь суслики тревожили мой слух  
своим шальным разбойным пересвистом.  
Подковы жгла осенняя руда,  
металась тень неуловимой птицы,  
и горбились степные города,  
и старились дремучие станицы.  
У столбовой, протянутой черты,  
на этом месте — сумрачном и диком —  
над падалью кричали беркуты  
гортанным заунывным перекликом.  
Теперь один... Недавно утонул,  
в волне холмов, среди усталой пыли,  
затерянный пастушеский аул,  
где жгли костры и лошадей поили.  
За далью — даль... У граней смуглых стран  
цвели пески, сквозь шелковое пламя  
хмелел кумыс, и молча Казахстан  
глядел на нас верблюжьими глазами.  
Степные дни! Мы не уйдем назад,  
в кольцо озер, на солнце загорая,  
кто выдержит окаменевший взгляд  
чужого, неразгаданного края?  
За сотни верст от кокчетавских сел,  
забыв в пути покинутые села,

наш проводник за сопками нашел  
костяк откочевавшего монгола.  
Рдел древний пыл в скитальческой крови,  
чеканилось открытое забрало,  
в глазницах копошились муравьи,  
росла полынь, тоской земля шуршала.  
Зыбь ковылей! Здесь камень головы  
черствел в пыли. Он над дорогой нашей,  
он над тобой из пасмурной травы  
желтел пустой, отпировавшей чашей.  
Плыл ветер от безродного куста,  
перелетал, взметнувшись, от бурьяна,  
дрожал на дне оскаленного рта,  
застывшего улыбкой Чингисхана.  
Проходит все, но жизнь в веках мудра,  
поджогами языческих закатов  
такие же горели вечера  
над предками раскосых азиатов.  
Перегнивает ржавчина монет,  
и череп как зазубренный осколок, —  
что из того! Солончаковый след  
отыскивай, поэт и археолог.  
Ты веришь ли бессмертию земли, —  
она легла раскинутой равниной,  
под облачным затишьем журавли  
звенят сквозной сентябрьской паутиной.

1929

## В ауле

Над костром дымный хвост повис,  
Ну, еще кизяку подбросьте...  
Джурабай, разливай кумыс,  
Я сегодня приехал в гости...

Слышишь,— ветер густой подул,  
Зазвенел по упругим скулам,  
Знаешь, старый, ведь мой аул  
Далеко-о за твоим аулом.

Видишь,— легкий ковыль цветет,  
Над плечом, от жары усталым,  
Растекается крепкий пот  
Накипевшим бараньим салом.

Джурабай, гостей не проспи,  
Голубеет сладко прохлада,  
Босоногий ветер в степи  
Прогоняет обратно стадо.

Здесь, в тугие ладони рук  
Смуглой кровью вливая жилы,  
Напои допьяна бурдюк  
Молоком молодой кобылы.

Дорогие ковры за ним  
Лягут шелковым солнцем рядом...  
Ты скажи, чтоб твоя казым  
Улыбнулась песней и взглядом.

Погляди, казым, на меня,  
Скоро юрту отца покинем,  
Обручальное золото дня  
Потускнеет в сумраке синем.

Скоро месяц своим ковшом  
Зачерпнет закат в небосклоне,  
И ночным пахнут камышом  
Тонкогривые наши кони.

За простор на том берегу,  
За ковыль родной и медовый  
Не они ль с землей на бегу  
Будут чокаться четкой подковой?

Слышишь,— ветер густой подул,  
Зазвенел по упругим скулам,  
Знаешь, старый, ведь мой аул  
Далеко-о за твоим аулом.

1929

## Николай Анциферов

(1930—1964)

«Угля не будет. Будет атом. И будут в сорок энный век читать историю ребятам, как по земле ходил когда-то шахтер — подземный человек».

Так начинается стихотворение Николая Анциферова «Обида» из последней его книги «Избранное». Вероятно, это и случится, но намного раньше, чем предполагал поэт. И в школах будущего учитель расскажет об исчезнувшем с лица земли «подземном человеке», то есть шахтере, так же, как сегодня повествуют о вымерших мамонтах.

Николай Анциферов сам был шахтером. И гордился этим. И писал об этом — с рабочей гордостью.

Бегут годы. Стучит время. Люди летают к Луне и стремятся к центру Земли. Жизнь

идет. И приходят новые поэты. Но Николая Анциферова уже нет.

Что остается, когда умирает поэт? Остаются книги. Остаются черновики, заготовки, недописанные стихи. Все эти бумаги, немые свидетели, сдаются в музей, если великий. Если нет — хранятся у родных и близких. Пылятся в папках или просто на дне шкафа.

У вдовы Николая Анциферова сохранилось несколько стихотворений, неразобранными остаются интереснейшие очерки, заметки.

Разбирая небольшой архив поэта, листая тронутые временем страницы, я вдруг ясно услышал голос Николая. Эхо его доброго сердца. И подумал: нет, хорошие, пусть и не великие, тоже не умирают. Они ходят среди нас, радуясь и печальясь вместе с нами.

ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ

## Клоун

Ю. Никулин

Я в цирке.  
Я в антракте  
У клоуна сижу  
И, забыв о такте,  
По сторонам гляжу.  
Портреты, фотографии...  
Смотрят на него  
Обрывки биографии,  
Двойники его,  
Предельно откровенны,  
Толкуют немо с ним.  
Он только что с арены,  
Он не стирает грим,  
Похожий на портреты,  
Живой их дубликат...  
Мы курим сигареты

По имени «Дукат».  
И я бряцаю лирою,  
Взяв на себя грехи,  
Не из газет цитирую  
Товарищей стихи.  
И смотрит хмуро-хмуро  
Аренный весельчак.  
Но вот: — На выход, Юра! —  
Пронзительно кричат.  
А он для мамы Юрка,  
И клоун он для всех.  
Не докурив окурка,  
Идет он делать смех.  
Идет, слегка согбенный,  
Тощий, как Христос,  
Туда, где свет арены  
Слепит глаза до слез.

## Не обижайся, хорошо?

Тете Тоне

Я из-под кефира сдал бутылки  
(Как-никак солидные гроши),  
К ним еще добавим из копилки,  
И куплю подарок для души:  
Пооригинальней, подороже.  
Но, конечно, не автомобиль.  
Ни к чему пускать в глаза проходим  
Всеми ненавидимую пыль.  
В доме есть стиральная машина,  
Телевизор есть, есть пылесос,  
Есть и домработница — дивчина.  
А чего же нету? Вот вопрос.  
Дачи? Не люблю уединенья —  
Жить в ста километрах от Москвы.

Что ж тебе купить ко дню рожденья?  
Люди! Посоветуйте хоть вы!  
По моим деньгам покупки нету.  
Нету, обойди хоть белый свет.  
Взять бы межпланетную ракету,  
Но таких ракет в продаже нет.  
Я стою, грущу, чешу затылок,  
Удрученный новою бедой:  
Как на грех киоск

«Прием бутылок»

Объявил сегодня выходной.  
Ну и ладно, плакать я не буду.  
Лишний раз, быть может, закурю,  
Да на счастье разобью посуду  
И тебе то счастье подарю.

11.2.1959 г.

## Вероника Тушнова

[1915—1965]

■ ■ ■

Как часто от себя мы правду прячем,  
мол, так и так — не знаю, что творю...  
И ты вот притворяешься незрячим,  
чтобы в ответе быть поводомьрю.  
Что ж, ладно, друг,  
спасибо за доверье,  
в пути не брошу,

в топь не заведу...  
Но все тесней смыкаются деревья,  
и вот уж скоро ночь, как на беду.  
Я и сама лукавлю, — не отважусь  
признаться, что измаялась в пути.  
А если б на двоих нам  
эту тяжесть, —  
насколько легче было бы идти.



Весь ты прост,  
как твоя рука,—  
небольшая, широкая, твердая,  
как усмешка твоя негордая,  
как письма твоего строка...  
А глаза твои —  
как вода,  
только-только  
из-подо льда:  
непрозрачна, тиха, зелена,  
вся окрестность в ней

отражена,  
не увидишь в ней  
только дна,  
глубина ее не видна.  
Весь ты прост, как твоя рука,—  
небольшая, широкая, твердая,  
как усмешка твоя негордая,  
как письма твоего строка...  
Одного не знаю пока —  
ручей ты  
или река?



А к сердцам-то не раздольные,  
не широкие и людные,—  
иногда пути окольные,  
иногда подъемы трудные,  
иногда трясины топкие,  
скалы гладкие до ужаса...  
Пусть не ходят люди робкие  
там, где требуется мужество.  
Не в погоне за известностью,  
не в расчете на признание  
я иду суровой местностью,  
не имеющей названия.  
И мои награды высшие  
вне графы о награждении,—  
чья-нибудь печаль затихшая,  
чье-нибудь сердцебиение,  
чье-нибудь раздумье долгое.

## Михаил Казмиров

(1897—1960)

Щедра природа. Щедра на птиц, зверей, деревья и на поэтов, разных и непохожих. Сколько их забыто, полузабыто, хотя, наверное, не было бы без них той большой поэзии, которую знают все.

Совсем еще недавно жил среди нас Михаил Матвеевич Казмиров. Его перо дало «русское подданство» испанским, французским, немецким поэтам и драматургам. И до сих пор с его легкой руки не покидают сцены наших театров испанские кавалеры и дамы, лукавые слуги и служанки из пьес Лопе де Вега и Кальдерона. Мы с удовольствием читаем в его переводах стихи французских поэтов: Клемана Маро, Реми Белло,

Антуана де Баиор, Иохима дю Белле. Но почти никто не знает его собственных стихов.

Он был лириком по складу поэтической души:

Какая связь в твоих речах?  
Но разве связь кого связует?  
Вот ветер, крившийся в губах,  
На колокольчик легкий дует.

Я верю ласковым губам,  
Ночам бессонным, дням жестоким,  
Я верю звездам и хлебам —  
И верю вымыслам высоким!

У Михаила Матвеевича Казмирова осталось множество стихов. Мы предлагаем читателю «Дня поэзии» некоторые из них.

ЕЛЕНА КОЛАТ



## Ломоносов

### I

Я читаю Ломоносова.  
В каждом слове громких од  
Камни первые отесывал  
Круглолицый доброхот.

Белый локон академика,  
Клочья северного мха,  
Грубоватая полемика  
Основателей стиха.

Он крутой рукой оратора  
Вздыбливает дифирамб,  
Но огнем и пеплом кратера  
Крутится полярный ямб.

Русский Марс гремит кимвалами,  
Солнце хмурый рвет туман,  
И сияет льдами алыми  
Ледовитый океан.

Пальма зыблется кокосовая  
Под арктическим пером...  
В сочиненьях Ломоносова  
Сумрак утра, ум и гром.

### II

В твоих книгах северное сияние,  
И бушующий океан,  
И улыбка мудрого знания,  
И тугой немецкий кафтан.

Аккуратные букли закручены,  
Круглоликая правда проста.  
Кобылицы наук приручены,  
И охотно поют уста.

И на ямбах ода качается,  
Как на пенистых волнах корвет,  
И, веселая, улыбается  
Краснощекая Елисавет.

## Полтавский бой

Он под палаткою солдатской  
Стоит с разгневанным лицом.  
Мешает тик ему дурацкий  
Казаться длинным мертвецом.

А там заря клубит раскаты  
Огня и пушечной пальбы.  
Идут зеленые солдаты  
В разинутую пасть судьбы.

Орлы двуглавые впервые  
Кричат — петушьим голоском!  
Им сладки перлы боевые  
И говор пушек за леском.

Они в кровавые победы  
Ширяют острое крыло...  
Смотрите, сумрачные шведы,  
Как Русьдохнула тяжело!

Полтавский бой! Орлы и пушки!  
В огонь без шляпы скачет Петр,  
И в упоеньи смуглый Пушкин  
Крутыми ямбами поет.

И в громкий Запад прозревают  
Глаза голодные вельмож,  
И в Петербург вбивают сваю,  
С которой ямбами поешь!

1925



Мелькает и колеблется  
Далекая звезда.  
В окне моем распахнутом  
Глубокая вода.

Ночь стоит без шапки  
И тополь без пальто,

Ни дуновенья в воздухе,  
И не идет никто.

Никто не разговаривает,  
Ни в небе, ни в саду,  
И каждый молча думает  
Про степь и про звезду.



Но через три минуты ровно  
От спички раскололась тьма.  
Пошла гулять по черным бревнам  
Огней веселых кутерьма.

А ты, задумавшись, сидела  
У колченогого стола  
И руки грела, ноги грела,  
А все согреться не могла.  
И ни желаний, ни надежды —  
Одна усталость и тоска.  
И пар от сохнувшей одежды  
Окутал балки потолка.

Ты так дрожала...  
Трепыханье  
Птенца с раздробленным крылом.  
Я грел тебя своим дыханьем,  
Своим горячечным теплом.

Там, за стеной, росла тревога  
Застывшей в ужасе хвои...  
Чтобы согреть хотя немного,  
Я ноги целовал твои.

Там, за стеной, от брызг и гула,  
Вся ночь ходила ходуном...  
А ты пригрелась и заснула,  
Заснула крепким детским сном.

И вот, продрогший, одинокий,  
Усталость силаясь превозмочь,

Я сторожил твой сон глубокий,  
Берег огонь и слушал ночь.

И мне почудилось:  
мелькая  
В зловещей звонкой тишине,  
Вдруг дребедень пошла такая  
(А может, это снилось мне?):  
И снег, и грязь, и дождь, и ветер,  
И ночь, и сопки, и тайга —  
Смешалось. И, в неясном свете,  
На нас пошли, как на врага,  
И ветра свист, обвала грохот,  
И хруст крошащихся камней...  
Ночь начала кряхтеть и охать,  
Кривляясь, приставать ко мне.

Но через всю неразбериху,  
Сквозь щель забытого окна,  
Сперва чуть-чуть... сначала тихо  
Была мелодия слышна.  
Такая нежная, такая  
Певучая, как скрипок сон,  
Что, этой песне потакая,  
Все с ней запело в унисон.

Во мрак слепые пляя бельма,  
Как одержимая точь-в-точь,  
Суровой песней колыбельной  
Тебя укачивала ночь...

## Иван Харабаров

[1938—1969]



Мне скоро тридцать.  
В окна бьет рассвет  
Холодными январскими лучами.  
Мне скоро тридцать,  
скоро тридцать лет;  
Все чаще спать я не могу ночами.  
И страшно открывать мне новый счет  
Грядущих лет.  
Как будто я открою  
Его —  
и сразу время потечет  
Оттуда безвозвратно рекою!  
Все чаще вспоминаю белый снег,  
Свою деревню вдоль речного дола,  
Все чаще вспоминаю санный след,  
Меня уведший из родного дома.

Все думаю:  
что я отвечу им —  
За каждый день, который зря я прожил,—  
Сибирякам, таежникам моим,  
Коль не свершу,  
что я свершить был должен!  
Что я отвечу самому себе —  
Идущему с походною котомкой  
В простор родных лугов, родных степей,—  
Юнцу на фотографии далекой.  
Мне скоро тридцать,  
скоро тридцать лет;  
Все чаще спать я не могу ночами.  
Стучит тревожно в окна мне рассвет,  
Как пальцами,—  
холодными лучами!



Где то волнение,  
пыланье?  
Лишь оглянусь я назад —  
Вижу: над Ясной Поляной  
Желтые листья летят.

Этой порою далекою,  
В юные эти года,  
Как перед дальней дорогою,  
Мы приезжали сюда.

Чтоб перед этой святынею  
Мысленно произнести:

«Нет, никогда не остынем мы,  
Нет, не устанем в пути».

Сколько несбывшихся чаяний,  
Сколько распавшихся дружб!  
Только жива изначальная  
Свежесть мальчишеских душ.

Многое в прошлое кануло  
И не вернется назад.

Только над Ясной Поляною  
Желтые листья летят.

## Пароходы

На заре, будто птицы, по Волге плывут пароходы,  
Тихо плещет вода.  
Пароходы проходят, уходят недели и годы  
Навсегда, навсегда.  
Наклоняются низко деревья над сумрачной Волгой,  
Мерен рокот реки,  
Пахнут волжские дали  
Травой свежескошенной, волглой,  
Замирают гудки.  
Я стою возле трапа, прижавшись к перилам неловко,  
И встречаю рассвет.  
Все я думал, что кончится скоро моя остановка,  
Оказалось, что нет.  
Пароходы проходят. Я вслед им кричу: до свиданья! —  
И все жду, что вот-вот,  
Отправляясь с зарею в заветное плаванье дальше,  
Мой придет пароход!



А я все жду.  
Чего я жду — не знаю  
Здесь, в городке былинном и седом,  
Где лишь метель, тревожная и злая,  
Шумит ночами под моим окном.  
В столице —  
вновь разноголосье споров...  
А здесь об этом даже вспомнить лень.  
О тишина заснеженных просторов,  
Печаль снегов, молчанье деревень!  
Заснеженные русские пространства,  
Навеки сердцу близкие места,  
Нет, никогда мне с вами не расстаться,

Не разлучиться с вами никогда!  
Я с детства околдован белизною  
Искрящихся и солнечных полей,  
Что б ни случилось —  
вы всегда со мною,  
Поля и дали Родины моей!  
Лежит страна, светла и необъятна,  
Январским ветром затуманен взор,  
Смеются солнцу и зиме ребята,  
Летя с ее заледенелых гор.  
Пусть злится вьюга, все глаза проплавав,  
Но вновь встает морозный ясный день.  
И вновь горит кумач летящих флагов  
Над ширью городов и деревень!

# СОДЕРЖАНИЕ

1

## Н. Тихонов

Герберт Уэллс в России [5].  
Говорят ленинградцы [6].  
«Лес хорош, прохладен, светел...» [6].  
«Какое уже на войне любованье!...» [6].

## С. Щипачев

Ноябрьский дождь [6].  
Да здравствует жизнь! [6].

## Я. Смеляков

Портрет В. И. Ленина [7].  
Мой учитель [7].  
Баллада Волховстроя [8].

## П. Железнов

Наш молот [8].

## Л. Татьяничева

Самолет, похожий на Икара [9].  
Враги [9].

## А. Алдан-Семенов

«Бугрился зеленый песок...» [10].  
«Надолго отбуянили метели...» [10].

## М. Алигер

«В мире, где живет глухой художник...» [11].  
«Ты обижен или недоволен!...» [11].  
Колыбельная [11].  
Ласточки [12].

## Б. Ахмадулина

Заклинание [13].  
«Весной, весной, в ее начале...» [13].  
Болезнь [14].  
«Так дурно жить, как я вчера жила...» [15].  
Зима на юге [16].

## А. Балин

Баллада о латышском стрелке [17].

## Э. Балашов

Гонец [18].  
«Потускнели чувства и светила...» [18].  
«Лес изнемог...» [18].  
«Уходит друг, и песня умолкает...» [18].  
«Отмели метели...» [19].  
«Как равнодушен снег ко мне...» [19].  
«Я не жду тебя, но ты...» [19].  
«Независимость, зависть...» [19].

## М. Беляев

«Август наливаются прохладой...» [20].  
«Друзья мои клены!...» [20].

## Е. Благинина

Постой, постой [21].  
Снегиренок [21].  
Суздаль [21].  
Памяти Владимира Комарова [22].  
Пушкин [22].

## В. Боков

Закопанская встреча:  
Зима [22].  
Снег [23].  
Прогулка [23].  
Встреча [23].

## И. Борисов

«Я гром увещевал, чтоб не внушал он страх...» [24].  
«Брожу, как в дреме, приминая луг...» [24].

## А. Брагин

Яблоки [24].  
Крановщица [24].

## Д. Бромберг

«Обычен, прост...» [25].  
Часы Ленина [25].

## В. Бурич

«Земля...» [26].  
Бессонница [26].

## Н. Бялосинская

Апрель [26].

## К. Ваншенкин

«Артист, выходя на сцену...» [27].  
На бульваре [27].  
«Редактор был так важен...» [27].  
«На том же месте много раз...» [27].  
«Монотонность колесного гуда...» [28].  
Круговорот [28].  
Рассказ за соседним столиком [28].  
Медведь [28].

## С. Васильев

Родник [29].

## Л. Васильева

«Мне полночи песни певали...» [30].  
«Восходят над туманами года...» [30].  
«То ли птица пронесится мимо...» [30].

## П. Вегин

Игры [31].  
При лучине [31].

## А. Вознесенский

Стрела в стене [32].  
Бой петухов [32].  
«Лист летящий, лист спешащий...» [33].  
Тоска [33].  
Шутливый набросок [33].

## И. Волобуева

«Когда я впервые от шкафа до стула...» [34].  
Другу поэту [34].  
Н. Глазков  
Мое отношение к болезни [35].  
Первопукот [35].  
Баллада о мозолях [35].  
Мое пятидесятилетье [36].  
Художник революции [36].

## А. Глезер

Деревня Прилуки [36].

## Т. Глушкова

Над старой тетрадью [37].  
«По вечерам трещит огонь в печи...» [37].  
«Не быть любимой...» [37].

## А. Говоров

Косой дождь [38].  
Вей, северный ветер... [38].  
«Я зимние запомнил вечера...» [39].  
«Посмотри на небо только...» [39].

## Д. Голубков

«Не отрекись от тебя и не брошу...» [40].  
Поминки [40].  
Береза [40].

## О. Грачев

Художник [41].  
Черкизово [41].

## Н. Гречаный

Кремлевская стена [41].

## Н. Грибачев

Из лирического блокнота:  
Не судите [42].  
Со мной заодно... [42].  
Одна улыбка [42].  
Пожелание на ночь [43].  
И нет другой... [43].  
Они и мы... [43].  
Тот, кто с утра... [43].

## М. Грубиян

Свеча [44].

## И. Грудев

«И в тишине...» [44].

## А. Дементьев

Торжокские золотошвей [45].

**О. Дмитриев**

Стихи, написанные в мастерской художника [45].  
Вечера в Галиче [46].  
Узкоколейка [46].

**Е. Долматовский**

Комсомольские баллады:  
Баллада о пионере из города Выксы [47].  
Баллада о мировом рекорде [48]

**О. Дриз**

В дороге [49].  
Певчие птицы [49].

**С. Дрофенко**

Воспоминания о школе [50].  
Объяснение [50].

**Ю. Друнина**

О, хмель сорок пятого года! [51].  
Доброта [51].

**Е. Евтушенко**

«Приехала старуха электричкой...» [52].

**Г. Еремеев**

Лилии [52].

**А. Жаров**

Большевик [53].

**И. Жданов**

«Я сам себе в глаза смотрю...» [53].

**А. Жигулин**

«Осень, опять начинается осень...» [54].  
«Трещит горящая берёста...» [54].

**Л. Завальнюк**

«Вислоухая лошадь телегу кусает...» [54].  
«К простым словам привержен дух земли...» [55].

**А. Заурих**

Дневной разговор [55].

**Н. Зиновьев**

«Предчувствий тысячи у чувств...» [56].

**Н. Злотников**

«Вторая декада июля...» [57].  
Часы [57].

**А. Исполюнов**

Поэзия [58].  
Унгерн [58].

**Р. Казакова**

«Дари мне цветы распрелестные...» [59].  
«Пока еще не врем...» [59].

**В. Карпеко**

«За все прекрасное земное...» [59].

**А. Кафанов**

«О чем ты!...» [60].

**И. Кашежева**

«Когда бы мил мне был верлибр...» [60].  
«Не плачь, моя осень...» [60].

**М. Квливидзе**

Песня [61].  
«Ушел отец...» [61].

**С. Кирсанов**

Больничная тетрадь:  
Сон во сне [62].  
Бог боли [62].  
Соседняя койка [62].  
Отец [63].  
Про белого ворона [63].  
Никударики [64].  
Осень [64].  
Зима [64].

**А. Кленов**

Бештау [65].  
На Чегете [65].  
Опять сирень [65].

**И. Кобзев**

«Святой колодец» [66].  
Сирота [66].

**Д. Ковалев**

Смерть и жизнь [67].  
«Извивом вопьется...» [67].  
Длинные рубли [68].

**К. Ковальджи**

Путь к Новгороду [68].

**Я. Козловский**

Фаддей Булгарин [69].  
В духане [69].

**Е. Константинов**

«Возьми меня, юность, в свою страну...» [70].

**Н. Коржавин**

Новоселье [70].  
«Твой образ обещал так много...» [71].  
Детство кончилось [71].

**Г. Корин**

«Когда я к дому подхожу...» [71].  
«Что я просил бы у жизни...» [72].

**В. Костров**

«В послевоенные года...» [72].  
«Село пересекая и станицу...» [72].

**Э. Котляр**

Чаепитие [73].

**А. Кронгауз**

Мираж [73].  
Полночный автобус [74].

**В. Кузнецов**

«Живи. Дела свои верши...» [74].  
Лисья ночь [74].

**С. Кузнецова**

«Ах, как заврались...» [75].  
Песня снежной бабы [75].

**Т. Кузовлева**

«На белом пространстве...» [75].

**С. Куняев**

«Свет полуночи...» [76].  
«Пора, я насытился югом...» [76].  
«Этот город никак не уснет...» [76].  
«Весеннее темное небо...» [76].  
«Не торопиться...» [76].

**Г. Левин**

1. «Здесь поколение мое...» [77].  
2. «Погибшие на той войне...» [77].  
3. «Возьмемся за руки, друзья...» [77].  
Начало дня [77].

**Ю. Левитанский**

Вспоминанье об оранжевых абажурах [78].  
Сон о забытой роли [78].  
Новый год у Дуная [79].  
Дети [80].

**А. Леонидов**

Баллада о каруселях [80].

**Н. Леонтьев**

«Край родной мы в самом сердце носим...» [81].

**С. Липкин**

Дым [81].

**И. Лиснянская**

«Сейчас мне тихо и светло...» [82].

**В. Лифшиц**

Памяти Гагарина [82].

**М. Лисянский**

Аплодисменты [83].  
Щукин [83].

**М. Луговская**

Шторм в Ялте [84].  
«По-бабы ссорюсь...» [84].

**М. Луконин**

Огни [85].  
Раны [85].  
Возраст [86].

**М. Львов**

Тюбетейка [87].  
Экзюпери [87].  
Наша Атлантида [87].

**А. Марков**

«Я вчера с собой покончил...» [88].

**С. Марков**

«Дочь атамана меня звала...» [88].  
Семиреченский поэт [89].  
Белая Тара [89].

**Л. Мартынов**

Крест Дидло [90].  
Как ты пишешься [91].  
Азбука [91].  
Земные блага [92].

**Н. Матвеева**

«Кудри, поднятые ветром...» [93].  
Песня свободы [93].  
«Солнце вечернее нежаще...» [94].

**А. Межиров**

«Воскресное воспоминанье...» [95].  
«Плоды унификации зловещи...» [95].  
«Нехорошо поговорил...» [95].  
Из истории балета [95].

**Ю. Мельников**

Гайда [96].

**Р. Моран**

«Заканчиваю жизнь: третью треть...» [96].

**Ю. Мориц**

«Возьму окно и передвину...» [97].  
Зимний день [97].  
«Шел дождик...» [97].  
Вьюга [98].

**Л. Наппельбаум**

Городок [98].

**А. Николаев**

Отцы и дети [99].  
Подкова [99].

**Е. Николаевская**

«Не затем, что продрогла...» [99].

**Л. Озеров**

«Уже этот день навсегда уходит...» [100].  
«Только одна ты знаешь слова...» [100].  
«До горизонта и дальше...» [100].

**И. Озерова**

«А стрелки все бегут...» [100].  
«Свободна я от нежности твоей...» [101].  
«Под шум дождя...» [101].

**Б. Окуджава**

Из путевого дневника:

1. Грузинская песня [101].
2. Осень в Царском Селе [102].
3. Из окна вагона [102].
4. Спасение [102].
5. На берегу великого океана [103].
6. Боярышник «пастушья шпора» [103].
7. Моцарт на скрипке играет [103].

**В. Павлинов**

Осень в Ясной Поляне [104].  
Холода [104].

**Н. Панченко**

Колыбельная [105].

**А. Передреев**

Дорога в Шемаху [105].  
«Еще в плену людского шума...» [106].  
«Ты как прежде...» [106].

«Зачем шумит трава глухая...» [106].

**С. Поделков**

Поездка через степь [107].  
«Отчего так грустно...» [108].  
Герб города Костромы [108].

**С. Поликарпов**

«Твердим себе...» [109].  
«Опять июль потешил грибников...» [109].  
Старые двory [110].

**В. Полторацкий**

«Журавли улетели...» [110].

**А. Поперечный**

«Шальные ливни в стекла лупят...» [111].  
Нежность [111].  
Русский язык [112].

**Э. Портнягин**

Буренка [112].  
Наводнение [113].

**А. Преловский**

Города [113].  
Боратынский [114].

**В. Проталин**

«Я все сомненья и печали...» [114].

**Б. Пуцыло**

«Под вечер от росы бело...» [115].  
Скала [115].

**В. Рабинович**

Листья [116].

**Б. Рахманин**

Саша Пушкин [116].  
Поксй [116].  
Река [117].  
Лицо [117].

**И. Ринк**

Поздний ледоход [118].  
Бой быков [118].  
«Слишком часто мы стали бывать...» [118].  
Четверо [118].

**Р. Рождественский**

«Может быть, порыв...» [119].  
У букиниста [119].  
Подражание бардам [120].

**Н. Рубцов**

На ночлеге [121].  
«В жарком тумане дня...» [121].  
Посвящение другу [122].  
Во время грозы [122].  
Последняя ночь [122].

**Ю. Ряшенцев**

«Желтая котомка...» [123].

**И. Рыжиков**

«Природа, русская природа...» [123].

**В. Сабинин**

Вьетнам [124].

**В. Савельев**

Выстрелы [125].  
Совнарком [125].  
Грязнуха [126].

**Д. Самойлов**

«Была туманная весна...» [127].  
Названья зим [127].  
Апрельский лес [127].  
Соловьи Ильдефонса Константы [128].  
Святогорский монастырь [128].

**В. Семакин**

«За Кулигой...» [129].  
«Тысяч пять или более лет...» [129].  
«Ляжешь в лесу на спину...» [129].

**В. Сергеев**

«Мне жизнь моя...» [130].

**В. Сидоров**

Светлая осень [Венок сонетов] [130].

**В. Сикорский**

«Декорации одни и те же...» [133].  
«В троллейбусе однажды...» [133].

**М. Скуратов**

Калики перехожие [134].

**Б. Слуцкий**

Десант [134].  
«Есть!» [135].  
«Охватывало странное веселье...» [135].  
Возраст авиации [135].  
«Эта женщина молода...» [136].  
«Я был молод...» [136].

**А. Смольников**

Радист [137].  
В Загорском музее [137].

**И. Снегова**

«Лежит на соснах, провисая, небо...» [138].  
«Печь вытоплена...» [138].

**В. Солоухин**

Разговор человека и ястреба [139].

**С. Сомова**

Баллада о Н. К. Крупской [141].

**М. Соболь**

«То взрослою, то маленькой...» [142].  
Дон Кихот [143].

**А. Софронов**

Поэма времени [144].

**Н. Старшинов**

«Вот камыш поднимает щетины...» [148].  
Ода ваньке-мокрому [148].

**Т. Сырыцева**

Горелки [149].  
«Сели мы в тени сарая...» [149].  
Севастопольские куранты [150].  
Пиросмани [150].

**А. Тарковский**

«Живешь — как по лесу идешь...» [151].  
Как сорок лет тому назад [151].

**Д. Терещенко**

«...А есть любители играть словами...» [152].  
«...А река подо льдом...» [152].  
«У вербы веточки набухли...» [152].

**Л. Темин**

«Я давно поверяю приятельский круг...» [153].

**Н. Тряпкин**

А на улице снег... [153].  
«Завивалась пыль из-под крыла...» [154].  
Песня о безногом солдате [154].

**В. Урин**

Остров Даманский [155].  
Карта [155].  
Баллада о колыбелях [155].

**В. Федоров**

Притча [157].  
Война и музыка [157].

Смерть поэта [158].  
Свадьба [158].  
«Мне рваные брюки...» [159].

**Н. Флеров**

«Пусть говорят, что старомодны формы...» [159].

**И. Френкель**

Подмосковная зима [160].

**Я. Хелемский**

«Какой-то парень из транзитных...» [161].

**В. Цыбин**

«В жизни немало у нас напечалено...» [161].  
«Взлетят над снами снегири...» [162].  
«Я в прошлое твое...» [162].

**Ф. Чув**

«Как нам дальше с тобою, Саша!...» [162].  
«В тиши окраинных ночей...» [163].

**Е. Шевелева**

У памятника Дзержинскому [163].

**В. Шаламов**

«По старому следу сегодня уеду...» [164].  
«Поблескивает озеро...» [164].  
«На небе, бледно-васильковом...» [164].  
«Я пришел на ржавый берег...» [165].

**И. Шклярский**

Родине [165].  
«Я жил в лесах на 107-й версте...» [165].  
Проходя мимо литейки [166].  
«Детдомовцы и колонисты...» [166].  
«Я пил вино со школьными друзьями...» [166].

**Н. Эскович**

Алая березка [167].

**ПАРОДИИ****Ю. Левитанский**

Вышел зайчик погулять... Испытание на преодоление (Михаил Луконин) [168].  
Арфа, Марфа и Заяц (Давид Самойлов) [168].  
Ключик (Владимир Соколов) [169].  
Маленький Гулливер (Михаил Львов) [170].  
Не в соли — соль. Сонет (Новелла Матвеева) [170].  
Полезные советы (Станислав Куныев) [171].  
Прощание с Ленкой Зайцевым (Булат Окуджава) [171].

**А. Иванов**

Для того ли! [172].  
Медведь (Анатолий Жигулин) [172].

**2.**

Анкета «Дня поэзии — 69»,  
Нам отвечают: Л. Аннинский, Д. Голубков, И. Гринберг, Ю. Идашкин, Л. Лазарев, А. Ланщиков, С. Лесневский, А. Михайлов, С. Рассадин, Е. Сидоров, М. Си-

нелиников, Д. Стариков, В. Чалмаев, В. Кожин [176—208].

**З. Паперный**

Старый парус и новая волна [209].

**В. Огнев**

«Отыми соловья от зарослей...» [212].

**А. Киреева**

«Счастливыцы нас бедней...» [215].

**3.**

К 170-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

**Г. Шенгели**

Рукописи Пушкина [221].

**Л. Гроссман**

Пушкин [221].

**П. Палиевский**

Пушкин как человеческая задача русской литературы [222].

**С. Рассадин**

«Путь истины» и «стега правды» [225].

**Д. Самойлов**

О рифме Пушкина [227].

**А. Передреэв**

Мир поэта [230].



**В. Куйбышев**

[Вступление Г. В. Куйбышевой] (234).

**В городе** (235).

«Тянулась нить дней сумрачных,  
пустых...» (235).

«На разведке» (236).

«Великий труд...» (236).

**Н. Харджиев**

Заметки о Маяковском (237).

**Б. Шиперович**

«И искра есть в лучах — моя...»

(Страницы из жизни В. Я. Брюсова) (242).

**В. Луговской**

Непряда (246).

Одиссея (246).

«Звенит земля...» (247).

«Встанешь рано...» (247).

«Легкая осенняя прохлада...» (248).

«В каменной, древней пещере...» (248).

Поэтам Крыма (248).

«Любимая...» (249).

«Неужто можно полюбить...» (249).

**Н. Сидоренко**

Одним осенним утром... (250).

**Г. Левин**

Многогранность поэта [К 70-летию со дня рождения И. Л. Сельвинского] (251).

Неопубликованное письмо Ильи Сельвинского (253).

**А. Коваленков**

Из воспоминаний (255).

**Н. Заболоцкий**

После работы (258).

Песня дождя (258).

Детство Лутони (259).

Две встречи (260).

**А. Архангельский**

Лубок (260).

**Ю. Милонов**

Об Иване Приблудном (261).

**И. Приблудный**

Последний извозчик (262).

«Певучий сад, пахучий гай...» (262).

Заключение (263).

Про бороду (263).

**К. Симонов**

Рядом с прозой (264).

**Б. Лапин**

О, поле, поле (265).

Подлец (266).

«Опять земля уходит...» (266).

Песенка пассажира 3-го класса (267).

«О ты, душой похожий на овцу...» (267).

Бакалея (267).

**А. Квятковский**

[Вступ. статья Ирины Роднянской]

«Трещат дрова...» (268).

«...Смотреть, смотреть...» (268).

Стихи об Э. Багрицком (269).

**А. Кочетков**

Капитан (270).

**К. Некрасова**

Раздумья:

«Почему это так!...» (270).

«О, мой талант...» (271).

Крупской Надежде Константиновне (271).

**Г. Левин**

Товарищ (272).

**В. Львов**

«Не думай об этом...» (272).

Ночной огонь (272).

**С. Марков**

Омская сага (273).

**Е. Забелин**

Казахстан (276).

В ауле (277).

**Н. Анциферов**

[Вступ. статья Валентина Кузнецова].

Клоун (278).

Не обижайся, хорошо! (278).

**В. Тушнова**

«Как часто от себя мы правду прячем...» (278).

«Весь ты прост...» (279).

«А к сердцам-то не раздольные...» (279).

**М. Казмиров**

[Вступ. статья Елены Колат]

Ломоносов (280).

Полтавский бой (280).

«Мелькает и колеблется...» (280).

Памяти Валентина Португалова

**В. Португалов**

«И хлынул дождь...» (281).

**И. Харабаров**

«Мне скоро тридцать...» (282).

«Где-то волнение...» (283).

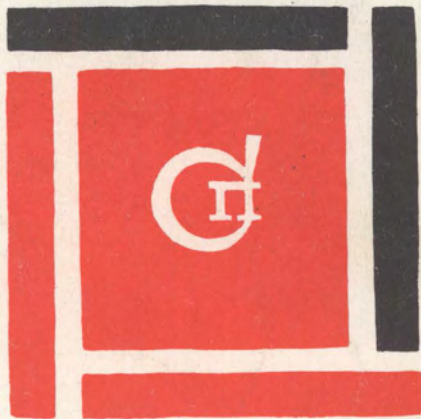
Пароходы (283).

«А я все жду...» (283).

**ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1969**

М., «Советский писатель», 1969, 288 стр. Тем. план вып. 1969 г. № 148. Художник А. Коноплев. Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор В. В. Медведев. Техн. редактор И. М. Минская. Корректоры: С. Б. Блаштейн, Л. И. Жиронкина и Н. П. Задорнова. Сдано в набор 21.VII 1969 г. Подписано к печати 13.X 1969 г. А10820. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

№ 2. Печ. л. 18(30.24). Уч.-пзд. л. 24.91. Тираж 75 000 экз. Заказ № 134. Цена 1 р. 95 коп. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва М-54, Вальная, 28.



Цена 1 р. 95 к.